# КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2

ФЕВРАЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

# СОДЕРЖАНИЕ



---

★
ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА,
МОСКВА, Пятницкая, 71.
Главл. А-31906. П. 13. Гиз. 30627.
Заказ 173. ★ Тираж 15000.

# Барабанщики и фокусник Матцуками.

(Рассказ.)

**Всеволод Иванов.**

Услышав голос нищего, я внезапно понял, почему меня раздражила его жирная грязная рука и закрученные кверху усы. Легкий страх, — подобный тому, когда в книге прочтешь те мысли, которые взволновали тебя перед чтением и которые вслух сказать невозможно, — страх охватил меня. На лице моем нищий увидал и понял сострадание. Сострадание это относилось более ко мне, чем к нищему, и оттого-то оно было более заметно и более выгодно! Нищий думал приблизительно так: «Страдая над прошлым, своим или чужим — не важно, сострадая своим мыслям, этот человек, идущий мимо закоптелой кузницы, переделанной из старого царева кабака, мимо кладбища и мимо меня, страстно желает остаться один! Он верит в свои силы, и ему кажется, что он разорвет ледяное кольцо, день и ночь лежащее у него в груди. Каждую минуту человеку кажется, что он нашел или вот-вот найдет мысль или совершит поступок, который уничтожит его холодные страдания! Если ж с ним заговорить, то как бы ни был он скуп, он купит мое молчание!» Я с утомленной боязнью следил за нищим. Он же следил за моими глазами: на чем я их остановлю? «Пусть он мне рассказывает об умерших, — подумал я. — Мне не нужно будет утомляться и ждать развязки истории. Развязка известна, если я стою подле могилы». Нищий направился к холмику, украшенному двумя бурыми крестами и черной доской, по которой вился длинный белый иероглиф. Трава подле холмика била сильно утоптана, должно быть много любопытных посещало это место. Многие размышляли здесь над смертью. Возможно, что мне суждено выслушать областную историю мести, или гнева, или революционного подвига! А жирный нищий с рыжими закрученными усами вдруг рассказал мне о любви двух барабанщиков и фокусника Матцуками — чудесных и веселых людей, работавших некогда со мной в цирке «Братьев Азгарц».

---

— Ваше благородь, ваше благородь, товарищ рыцарь. Ты сначала туда вон посмотри, за овраг. Там, за оврагом туман, а в тумане, верь моему слову, есть деревня Вяземы, а в деревне той рукодельничал по сапожному делу мужичок-старичок по фамилии Николай Осипыч. И выра-

стил мужичок дочь: красивую, здоровую, поповского роста одним словом. Характер у нее только неизвестный, а кроме — от нее счастье: вот он рукодельничает, скажем, и рукомесло у него не лучше, чем у других сапожников, а подойдет к ботинку Варвара Николавна, по гвоздям ногтем проведет — и сразу люди платят вдвое дороже за ботинок. Шить бы да шить, каждый день по три пары, а только кожи тогда было еще меньше, чем сейчас, и времена были широкие: от деревни Вяземы до Москвы езды полдня, лес у нас — кошка заблудиться не сможет, а получалось тогда до Москвы езды пять суток, а если на шоссе, так при каждом шаге из-за каждого куста по пять черно-бандистов! Пока ходили эти бандисты толпами, без атаманов, терпеть было можно, но не увидели они в том выгоды, и тут явилось у них три властителя: барабанщики Митя да Саша и японец такой, ласковый глазами, — православный по имени... по имени своему Вол.

— Забыл, дядя. Звали его Матцуками! Матцуками этот был...

— Нет, то тебе другую историю рассказывали, про другого японца, а этого я сам видал, и зову я его правильно: Вол. Так! Вот и воюют эти бандисты, и промеж советской власти, и промеж себя, и стало бандистским властителям скучно: убивают много, а ни почету, ни денег... Сучит раз сапожник Николай Осипыч дратву особого состава, так как, вишь, подгонял он подметку под милицейский сапог. Дочь Варвара Николавна самовар раздувает, карасину, как и сейчас, нету, — и в окне и в ограде луна да от самовара искры. Посмотрел на эту луну Николай Осипыч, а она пологая какая-то, как чугунок, — и стало сапожнику тревожно! Обернулся сапожник на дочернью красоту, а у ней брови тоньше и черней дратвы: совсем заныла у него душа. Смотрит Николай Осипыч на сапог, а сапог страшный, на подметку чуть ли не аршин кожи требуется, такой сапог, кажись, и через болота и через моря поведет тебя невредимым, а милицейский, сказывают, сам у бандистов служит. Что же это такое,—думает Николай Осипыч, — жили-жили, крошили-крошили, а тут даже у сапога вид тревожный. И только подумал так, а за оградой уж бандистские телеги поют. У бандистских телег тогда пенье было особое, легкое, бандисты дегтю не жалели, а мужицкие телеги выли в ту пору голодно. Бежит Николай Осипыч к воротам, почет оказывать. Сидят в телеге Митя-барабанщик в розовой гимнастерке, Саша-барабанщик в голубой, а православный японец Вол — при сюртуке и галстухе, а лицо у него добрей всех русских лиц. Говорит японец Вол так ласково Николаю Осипычу: «Ты, старая карга, моментально чтоб четверть самогона на стол!» Прежде бы в деревне самогону в долг Николаю Осипычу не поверили, — водка, она твердый расчет любит, — а тут вся деревня поняла: по тяжелому де у приехали бандистские атаманы, и сразу три четверти получил старик. А на столе у него уже скатерть праздничная синяя, а над ней три рожи: две малиновых, а одна ласковая желтая. А под рожами стаканье сияет, а перед стаканами наганы. Ну, — думает старичок,— вся надежда на Варвару, какой у ней при таком событии характер скажется и как отве-

тят ей разбойники. А Варвара ходит одинаковой походкой для каждого и каждому одинаково приятные слова говорит. Упало, замерло сердце у старика, когда заговорила ласково желтая рожа, отставляя от себя стакан и переставляя к себе наган:

— Мы, старик, не для самогона приехали! Нам на любой деревне и на любой поляне бочки самогона приготовлены! Приехали мы за славой.

— Какая ж у сапожника слава, господа черно-бандисты? Убивайте старика, если в нем приготовлена вам слава.

— Дочь у тебя приготовлена для славы и для счастья! Вот воевали мы, воевали, вот убивали мы, убивали, а вдруг подумали: Митька убивает оттого, что всем завидует, Саша потому, что радостно ему быть таким сильным и храбрым и людей крошить, а мне людей жалко, люди плохо живут, зачем им страдать лишнее, а умирать все равно придется, раз родились.

— Это ты правильно, — отвечает ласковому японцу Николай Осипыч.

— Правильно, конечно. И стало нам сразу веселей от таких мыслей! А потом начали мы думать — своим характером, мол, мало утешаться: надо и жену себе такого же характера подобрать. И помирает тут один человек и говорит нам: «Жалко мне вас, идите к сапожнику Николаю Осиповичу, есть у него дочь, и найдете вы с ней славу и счастье». Вот мы и пришли.

— Правильно, — говорит им старик: — вот перед вами ходит моя дочь: пускай кого она хочет, того и выбирает.

Скосила Варвара глаза, лицо смиренное, рот дура-дурой, говорит: «Ваш выбор, мой выбор, Николай Осипыч! Вы — отец, я привыкла вам подчиняться». Ну, тут старик напугался совсем: бандисты сидят широкоплечие: Митя неизвестно чему завидует, Саша неизвестно чему радуется, а японец Вол ласково и страшно на всю землю смотрит. Барабанщика Митю выберешь, — Саша убьет; Сашу выберешь, — Митя убьет; а про японца лучше не думать! Заскучал старик Николай Осипыч. Сидит, плачет, а бандисты смотрят на него с сочувствием и даже не улыбнутся, а ждут. Встал старик, к дверям, а японец ему вслед: «Ты особенно не беги, на улице наши телеги милицейский стережет. По пути и тебя ему приказано постеречь да к тому же ты на ухо слаб, а милиционер громко кричать не любит, — вот и не услышишь ты солдатского окрику и пальнет в тебя верный часовой». А старик им разъясняет, что, мол, и с милицейским у него несчастье — нету в комнатах второго милицейского сапога. И тут даже бандисты подивовались размеру милицейского сапога! А старику не столько милицейский сапог нужен, сколько помолиться перед смертью, и не то чтоб он очень в бога верил, но коли умирать — так умирать по обычаю, а то треснут тебя как собаку и человеческой души показать не успеешь. Стоит Николай Осипыч во дворе, луна сияет еще больше, а сама мокрая вся, в слезах, — и жалко старику и на луну смотреть и на себя. Подле крыльца сапог милицейский валяется, а за воротами сам милицей-

ский с ружьем ходит, босиком! Гвозди в сапоге как слезы, а подметка будто шелковая, и думает старик: «Вот шил я сапоги людям на свое горе, без сапог бы они меньше по земле ходили, сидели бы они на одном месте и думали бы да заботились о своем счастьи; а не занимались бы устройством чужого». Думает он так и смотрит на сапог с укоризной, и вдруг зашевелился сапог и говорит ему басом: «Ты, старик, не сердись на себя, что меня починил, я тебе за хорошую починку совет могу благодарный дать». Стыдно старику от сапога советы слушать, но все-таки тихо спрашивает: «Говори, если путное что можешь». — «Возьми ты, старик, — говорит ему сапог торопливо: — возьми ты дочь и запри ее на ночь в сарай». — «Да как же я запру дочь в сарай, если там свинья и кобыла стоят?» — «Вот и запирай их всех вместе», — отвечает старику сапог. Вернулся старик к бандистам и попросил у них милости подумать до утра: за которого ж из троих выдать Варвару. Бандисты от спору устали, спать им хотелось, легли они в перины, а старик повел дочь свою в хлев. Варвара больно не удивилась, — полагала, надо думать, что от свалки ее бережет, — расстелила она тулуп и легла на сено подле кобылы. А кобыленка была молоденькая, поплясывает, а свинья была из свиней грязнущая, — грязью брызжет, и вонь и шум в сарае. Варвара как легла, так и заснула, старик даже и посоветоваться и вместе поплакать не успел!

Будят бандисты утром старика, наганы ему под усы суют: «Куда спровадил дочь?» Идет старик с бандистами к сараю и про себя решает так: вот распахну дверь, — который из бандистов будет ближе к девке стоять, за того и отдам. Да к тому же утро, помирать не так страшно! Открывает старик замок, тянет дверь, и выходят тут, ваше благородие, товарищ рыцарь, сразу три Варвары, одна с другой — как икона в точности списаны! На всех троих шегреневые ботинки одинаковые; на плечах тулупы с заплатой у локтей синими нитками; и даже в бровях у всех по одинаковой соломинке застряло. И напугался и обрадовался старик: бандистов, действительно, утешил, а самому — сплошной убыток, потому что в сарае ни кобылки, ни свиньи нету, и опять же обидно, не разберешь: которая Варвара, а которая свинья Хаврониха. А тут дождь пошел, бандистам удивляться некогда, забрали они трех Варвар и от радости, не говоря ни слова, уехали в дождь. Милицейский взял сапоги, и остался Николай Осипыч один. Был сначала ему большой почет в деревне: как же, три зятя и все бандисты, а попозже, когда слава бандистская за леса да горы укатилась и тише стала грохотать, а потом и совсем замолкла, — начали со стариком об цене за починку торговаться, в кооператив членом правления не выбрали, и самовар новый, за пятнадцать рублей купленный, потускнел, — затосковал старик Николай Осипыч и об Варваре-дочери стал все чаще и чаще думать. А мысли невеселые, нечеловеческие какие-то! Думает, как Варварушка живет, — а вдруг хорошо не Варварушка живет, а кобылка или свинья, и разозлится старик в конце своих мыслей. Разозлился он так раз крепко, слез с лавки, забрал кошель и пошел.

Времени прошло много, а на шоссе все такая же грязь и даже как будто больше: около каждой деревни — как ни остановишься, все рассказывают, что пастух Ермила или Афанасий в грязи утонул. Ну долго ли, коротко ли, подходит старик к Рязани, город собой большой, красивый, а народ все какой-то хилый и смутный и все страх как друг друга хоронить любят. Живет человек ничего, никто на него не смотрит, а как помер, тут и начнут: и музыку, и книжки пишут, и как в могилу несут — на каждом перекрестке плачут и на каждом перекрестке памятники обещают поставить и каждую улицу, по которой несут, тут же в честь покойника переименовывают. Идет тут мимо Николая Осипыча человек с портфелем, собой хмурый и тощий. Гимнастерка на нем выцветшая, а на лице что-то барабанное есть. Спрашивает его старик: «Не вы ли Митя-барабанщик будете?» — «Я, — отвечает, — Митя-барабанщик». Спрашивает его старик: «А не помните ли вы, не отдавал ли я за вас дочь свою Варвару?» Отвечает ему Митя слабым голосом: «Отдавали, верно, а вон и ваша дочь на лугу веселится перед домом». И смотрит старик — выстроен новый дом, и перед домом луг разбит с сосеночками. Окна у дома такие широкие, как будто людям некогда и на солнышко выйти посидеть. Варвара — дочь по лугу бегает: юбка до пупа, глаза шальные, грива подстрижена. Перед ней мяч катится, и рожа у мяча тоже шальная. Побегает-побегает Варвара, да как захохочет! Вокруг нее парни, один другого плечистей и мясистей, посмотрят на нее, да как загрохочат тоже. А барабанщик Митя тощий, глаза уставил на нее и завидует: и мясу чужому, и хохоту, и самому себе, что от Варвары оторваться не может. А вокруг Мити рязанские жители ходят и смотрят на него, — скоро ли хоронить его можно, и вспоминают, какие он подвиги совершил. Спрашивает барабанщик Митя:

— Как, Николай Осипыч, изменилась ли ваша дочь Варвара?

— Не моя это дочь Варвара, — отвечает старик: — кобылка эта из сарая, а пойду я дальше, в Саратов, погибайте около нее одни.

И пошел старик, верно, в Саратов!

Саратов — город большой, красивый, а народ в нем тревожный и занятой. У каждого в руке карандаш, и каждый на заседанье спешит, а на заседаньях тех буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга доносят. Если не работает: буржуй. Удивляются и заседают! А если работает — тоже удивляются и тоже заседают! А посредине города площадь, и на площади заседает нищий, грязнее всех и радостнее всех. Нищий тот еле ноги передвигает потому, что никто ему не подает, — да и кому радость такому счастливому человеку подавать: сам с собой заседает и сам на себя доносит. Обрадовался нищий, увидав Николая Осипыча, тут же на него донос написал, и кричит радостным голосом: «Здравствуй, дорогой тестюшка, сапожник! Жена у меня хорошая, преданная, не то что мои сотоварищи. Все на места поступили. Прихожу я к ним, еле добрался и рассказываю им: вот, мол, вели Ваньку Каина на казнь его бывшие разбойнички, которые в полицейские ушли, ведут мимо рощи,

а среди кустов соловей поет, и говорит им Ванька Каин: «А не уйти ли нам, разбойнички-полицейские, в лес соловья послушать», и скинули полицейские мундиры и ушли с Ванькой Каином в лес! Сотоварищи из учрежденья мне и отвечают: «Зачем же нам, мол, в лес уходить, когда у нас грамофон есть, который и исполняет соловья гораздо натуральнее. Покличьте, дорогой тестюшка, тележку, так как сам на своих ногах я передвигаться не могу». — «Отчего же ты не можешь передвигаться на ногах? — спрашивает старик. — За грехи у тебя отняты ноги что ли?» — «Какие ж мои грехи, — отвечает барабанщик Саша: — а не передвигаюсь я оттого, чтоб меня буржуем не сосчитали и заседанье насчет меня соседи не сделали. Соседям моим скучно. Картины, говорят, в кинематографе идут героические, им тоже героических подвигов хочется, а какие в Саратове героические подвиги: разве что посудишься да об знакомых заседание устроишь?» Торопится старик к дочери, себя не чувствует, и все-таки вдруг как-то тяжело ему стало итти, а барабанщик Саша радостно говорит: «Ничего, шагай, это моим домом пахнет. Жена у меня опрятная, аккуратная, а вонь — это все соседи ко мне накидали, со злобы». Смотрит старик: Варвара растолстела, грудастая, глаза заплыли, в избе вонь, грязь, к мужу подскочила, бабах его по морде: «Когда же тебе будут подавать милостыню, не хочешь ли ты, чтоб я работала?» А барабанщик Саша смотрит весело и говорит старику: «Редкая у тебя дочь, теплая у тебя дочь, радуюсь я человеческому мясу и теплу, благодарю тебя, сапожник». Отвечает ему Николай Осипыч:

— Умирай, барабанщик Саша, рядом со своей свиньей, так тебе и надо, а я пойду в Астрахань.

И пошел старик, верно, в Астрахань.

Астрахань — город большой, красивый, а народ там прямой по росту и гордый по голосу. Народ там любит праздники устраивать! Наводнение — они праздник устраивают. Десятое, — говорят, — по счету наводнение! Человек пятьдесят лет за столом сидит, бумажки подписывает, — они праздник устраивают, и речи говорят, и венки плетут: такой редкий случай. Посреди города зданья для торжеств приготовлены и сад разбит с памятниками, народу в саду том — тьма. Спрашивает старик: «По какому случаю празднование?» — «А вот, — отвечают ему, — помер японец Вол, и оказалось, что пятидесятый японец у нас помер в городе, и к гробу того японца пятисотый посетитель подошел, — вот мы и устроили общенародное гулянье. А кроме того жена на него донесла, что бандист он и предатель. И донос тот у нас по счету милліонный!» Отвечает сапожник Николай Осипыч: «Не могла жена донести! Жена у него — моя дочь Варвара, и спешил я к ней с большой радостью. Не спала она, как другая Варвара, как только с мужем». Отвечает ему сосед: «Этому я верю, хотя и был у ней случай со мной». — «И со мной!», — говорит какой-то рядом. И еще голоса раздались. Тут старик и закричал: «Была она здоровая баба, почему ей с мужиком не поспать, зато чистая, опрятная...» Захохотали злорадно все и указали старику пальцами на Варвару

и на лицо японца Вола. А было у японца лицо такое, что вот, мол, удрал я, извините; к вам я отношусь ласково, но жену с собой не возьму — вот в этом и заключается мой последний фокус. И была у него еще на лице ласковость такая, что жители Астрахани, вглядевшись, решили японский праздник в честь японца Вола устроить. Ищут предлога, чтобы речи предпраздничные начать говорить, и так заговорились, что про японца и забыли, а он лежит и ласково улыбается. Вот он лежит день, лежит другой, а жена его Варвара уже нового мужа нашла, а за мужем возлюбленного выглядела, и муж ей уже не нравится, и написала она на него заявление, а в доме и грязь и жир... И сказал тут старик Николай Осипыч: «А дочь-то моя сказалась подлей свиньи и глупей кобылы! Пойду я, братцы-товарищи, в город...». И вспомнил старик, что нет уже зятьев, нет у него городов, в которые пойти можно! Жалко ему стало бандистов, забрал он японца Вола и направился к городу Саратову, а там над Волгой крики и беспокойства: «Умер, — кричат, — нищий Саша, — не посетивший ни одного заседания, умер и не успел кару получить». Забрал старик нищего Сашу и направился к городу Рязани...

---

...Я поднял голову. Шоссе и кладбище были пустынны. Жирный и пьяный рассказчик давно ушел. Где я прервал его? С какого места я сменил рассказчика? Где сейчас старик Николай Осипыч? И не сам ли он подошел ко мне и, обидевшись на то, что я прервал его (иначе почему ж нищему не спросить у меня милостыни?), Николай Осипыч покинул кладбище, покинул меня, не досказав истории о двух барабанщиках и фокуснике Матцуками.

---

# Причины происхождения туманностей.

(Любительское исследование беспокойного человека.)

**Андрей Новиков.**

*Е. Жарковой.*

## I. Родословная Бричкиных.

Дело было то во Россеюшке,
Да во дурацкой нашей стороне.

*Ив. Жамкин — забытый поэт.*

По метрическим записям турчаниновской церкви (переданным ныне сельсовету) родословная Бричкиных шла по восходящей линии на протяжении больше четырехсот лет и имеет свое историческое начало: будто бы Иван Грозный, проездом под Казань на битву с татарами, совершив самолично богослужение в турчаниновской церкви, убоялся отбывать в дальнейший путь в царской колымаге — не подпилили ли осей верные слуги — и потребовал простую телегу. Дальнему предку нынешних потомков якобы и посчастливилось, впряженным в собственную рыдвань, предстать пред светлые очи грозного царя. Царь, уважавший покорность, взамен рыдвани приказал выдать мужику колымагу из-под самого знатного вельможи. Опричник, выполнявший царскую волю, предварительно высек предка розгами, — чтобы и впредь имел уважение к порядкам, — в даре же царском не отказал.

Приходской дьяк посчитал нужным отметить сей исторический факт на бумаге, в родословные метрики. Но, умея изъясняться письменно только на церковно-славянском языке и не найдя точного корня в переводе на церковно-славянский язык слова «колымага», дьячек изобразил сей предмет фигурально и будто бы под титлами.

Позднейший турчаниновский причт, пересоставляя метрики, обнаружил то фигуральное изображение. Но, не разобравшись в титлах, причт присвоил колымаге новое название: «бричка». Отсюда, как от опорной точки, и исходит родословная Бричкиных.

Турчаниново, в своем наименовании и причислении к населенным пунктам, имеет позднейшее начало: некий княжич, володевший той вотчиной, по младости и слабоумию забавлялся дудками-турчалками, а поставщиками тех дудок были вотчинные люди — те же предки Бричкиных.

Почти каждый из предков в родословной оставил неизгладимый след: Стратон Бричкин, современник слабоумного княжича, пребывая у последнего в должности скалозуба, съедал за раз двух индеек и выпивал боченок квасу, — чем и забавлял княжича. Сам княжич, по дробности роста и кволости груди, съедал всего лишь пупочек индейки. Княжич благоволил к Стратону, вознаграждая его за утехи. Сын Стратона Евлампий — современник отечественной войны, — унаследовав от отца прожорливость, но не имея возможности питаться индейками, съедал за присед меру картошки, непомерно пучившей живот. После еды он ложился на спину, предоставляя право каждому за два алтына ударять молотком по пузу. Молоток отпрыгивал как от удара по резине, а Евлампий сопел и отдувался. Только однажды отпрыск княжича ударил Евлампия за рубль ассигнациями, потрафил повыше пупа, ближе к сердцу, — Евлампий закашлял кровью и зачах.

Род Бричкиных множился и разветвлялся и имел, подобно тысячелетнему древу, прочный корень: листья осыпались, сучья ломались, а корень врастал в почву, питаясь подпочвенной влагой. Старинная усадьба Бричкиных являлась площадью для разветвления родовых корней.

По воле предков усадьба передавалась более надежным потомкам, поддерживающим родовые традиции. Потомков же, менее склонных к поддержанию родовой традиции, осуждали на семейных советах, наделяли маломерным паем и выдворяли за черту отчуждения.

Сложившийся благонравный уклад быта способствовал прочности рода, как и прочности материального благосостояния: в хозяйстве отдушины не было, и потомки предков, хотя и не употребляли повседневно жирных харчей, однако ели хлеб вдосталь.

Дубовая изба на усадьбе Бричкиных простояла более трехсот лет. В избе родилось свыше тысячи душ, и сотни людей, отходящие на веки-вечные в несуществующий мир, лежали в ее переднем углу.

Триста лет изба отоплялась по-курному, и позднейший потомок Парфен, предполагая, что сруб уже не имеет прочности, решил дать ему капитальный ремонт, а заодно — вывести за крышу трубу. Сруб не потребовал ремонта: бревна, прокоптившиеся дымом и пропитавшиеся потом, не поддались не только гниению, но и топору плотника.

Ремонт, затеянный Парфеном, не принес хозяйству существенного ущерба, а наоборот — из него была извлечена выгода, окупившая с лихвой плотника и печника. Под углами избы были найдены четыре медных монеты — неизвестных достоинств, но громадных размеров. Монеты были куплены неизвестным горожанином, как-то себя назвавшим. За каждую монету горожанин заплатил по золотой монете пятирублевого достоинства, а плотник с печником сообща взяли всего семь рублей сорок копеек.

Через двадцать лет, когда Парфену уже перевалило за девяносто, изба горела, причем сгорели соломенная крыша да стропила, а бревна только слегка обуглились, — оказывается, и огонь не изничтожил прочной бричкинской древесины. Страховка, полученная Парфеном, покрыла

полностью убытки, причиненные пожаром, и даже принесла некий прибыток: на остатки денежных средств купили бычка, оплодотворившего в ту же зиму десяток чужих коров. За каждый припуск было получено натурой по мере ржи да по живой курице. Рожью всю зиму кормили скот, а куры весной вывели сто тридцать цыплят, восполняя хозяйственный уровень.

Парфен умер на сто третьем году от роду. Хотя он и не болел лютой хворобой, но смерть пришла по весьма уважительной причине. За десять годов до смерти он сколотил себе гроб из прочных досок и привесил его на потолке. В гроб были положены сорок два пятака со строгим расчетом посмертного расходования: двумя пятаками закрыть старческие глаза, а сорок пятаков — на сорок просфор при сорокоустных бдениях. За полчаса до смерти Парфен полез на потолок, чтобы взглянуть, прочен ли попрежнему гроб, и проверить целость пятаков. К великому горю, тридцать девять пятаков показались ему маломерными, а натуральными только три. Предполагая, что пятаки усохли, как дар, неприемлемый господом богом, Парфен спустился с потолка и, рассказав обо всем старухе-жене, умер без покаяния.

Три дня все семейство пребывало в посте и молитве, дабы скорбящая душа Парфена покинула на веки-вечные грешные телеса. Больше других трепетал десятилетний Егор — правнук Парфена: он ждал ниспослания божьей кары, так как прадедовские пятаки были снесены им к лавочнику Митричу — на подсолнухи. Взамен пятаков Егор клал в гроб по две копейки, получаемые сдачи с пятаков.

## II. Четкая линия.

Непостижима моему разуму душа мужицкая: много тайников и извилин в глубине ее.

*П. Анцышкин—мыслитель конца XIX в.*

На площади трех вокзалов, опутанной паутиной проволок и линиями змеевитых трамвайных путей, стоял мужик, занявший просторное место на одной из площадок трамвайных остановок.

Одна немаловажная причина потревожила мужика, когда еще он только что вышел из жесткого вагона пассажирского поезда дальнего следования: подошвы сапог, в прошлом имевшие назначение следовать грунтовыми дорогами, коснувшись асфальта, казалось, потеряли свою прочность. И еще он разглядел: его сапоги, для сдобности промазанные густым слоем дегтя, померкли перед блеском маломерных башмаков, сшитых из хрупкой кожи. В маломерные башмаки были обуты горожане, ожидавшие, как и он, соответствующего нумера трамвая. Маломерность башмаков горожан и рассеяла сомнение: сапоги снова показались прочными, и на асфальт он наступил твердо.

Мужик степенно разгладил рукой густую рыжую, слегка посеребренную сединой бороду, предоставляя ее горожанам на обозрение. Он был

заметно обеспокоен, что горожане, торопящиеся садиться в вагоны, не уделяют должного внимания ни его бороде, ни его могучему росту.

Окинув хитрым взором торопившихся горожан, он улыбнулся мужицкой усмешкой, придавая усмешке многозначащий ехидный смысл. Затем он внятно, ровным, слегка басистым голосом, после отхода трамвайных вагонов, стал произносить в порядке очередной нумерации слова подсчета, прокричав первоотходящему вагону — «раз», второму — «два», чем ясно желал обратить на себя внимание. Но горожане попрежнему торопились, и слова мужика, слитые со свистом и визгом трамвайных проволок, были для них пустым местом. Лишь на выкрике «четырнадцать» на мужика обратила внимание словоохотливая продавщица папирос, стоявшая позади со своей коробкой. Она толкнула мужика в спину и спросила о причине его выкриков.

— Не знаешь нешто? — оборвал он ее злобно и грубо. — Мне трамвай двадцать первый нужен, вот и отсчитываю.

Усевшись в трамвай и долго роясь в карманах, — отыскивая медяки для уплаты за проезд, — он непрерывно злорадствовал по адресу папиросницы, упрекая ее за ненужное вмешательство. Ему казалось, что разъяснение, сделанное им папиросница о том, зачем и на какую должность он приехал в столицу, принято ею безо всякого недоумения. «Благородные люди могут только позавидовать. А она — дура» — заключил мужик по адресу папиросницы.

Но почему же «благородные» люди, неизвестно куда торопящиеся, не обратили внимания на его выкрики, когда им он главным образом хотел поведать причины своего прибытия в столицу: пускай они бы знали, что ныне и мужик имеет государственный ум, хотя и ведет счет по пальцам. В трамвае рядом с мужиком сидел неизвестный горожанин, одетый поприличному. Мужик всячески старался вызвать его на беседу, но горожанин, отвернув голову в сторону, упорно молчал. Мужик легонько наступил ему на ногу подошвой сапога. Горожанин вздрогнул и, извинившись из вежливости, встал, направляясь к выходу.

Мужика удручила нечувствительность тонкого разума горожанина, и он вздохнул. Затем мужик стал расспрашивать подошедшего кондуктора, выведывая цифры годовой доходности трамвая, проникаясь тайной государственной мудрости. Но беседа была слишком короткой; кондуктор на очередной остановке отошел к двери и прокричал:

— Возьмите билеты!

Огорченный поступком кондуктора, не сделавшего полного отчета о доходности трамвая, мужик наметил четкую линию — ехать до тех пор, пока трамвай дойдет до конца. Там он решил поведать кондуктору о целях своего прибытия во столицу, а заодно высказаться о простолюдинах, хотя и не знающих месторасположения столицы, однако обладающих разумом людей, мыслящих в общегосударственном масштабе.

Но трамвайный кондуктор не предоставил возможности мужику осуществить намеченной четкой линии.

— Ильинские ворота! — крикнул он. — Кто имел билеты до центра — кончились! Вам, гражданин, выходить надо! — обратился он непосредственно к мужику...

... Если бы Парфену Бричкину суждено было встать из гроба, он по обличию узнал бы в мужике правнука, преждевременно вогнавшего его, старика, в гроб, — даром, что правнук из юного мальчонки превратился в рослого мужика средних лет. Парфен забыл бы обиду, невольно нанесенную правнуком, и порадовался бы, что род Бричкиных попрежнему, как и четыреста лет тому назад, имеет крепкие корни к дальнейшему росту и размножению.

Мужик, только что вышедший из трамвая нумер двадцать первый, и был правнук Парфена — Егор Петрович Бричкин, некогда выкравший из прадедовского гроба тридцать девять пятаков. Время смерти прадеда отделено тридцатью тремя годами, и понятно, почему нам вначале трудно было признать в мужике юного и робкого Егора Бричкина, проживающего и поныне в Турчаниновке на той же бричкинской родовой усадьбе.

Но внешний вид усадьбы неким образом изменился за минувшие тридцать три года: на месте прежней долговечной дубовой избы сложена «каменка», крытая железом, а родовая изба, снесенная под гору и сложенная на глину, служит одновременно двум целям: по субботам исполняет обязанности бани, а в прочие зимние дни является убежищем для мелкого скота и яйценосной птицы.

«Каменку» сложил Егор Петрович, прибывши с военной службы, где, будучи в денщиках, каким-то образом прикопил двести рублей чистоганом. Из последующего бричкинского рода Егор Петрович является яркой фигурой, достойной исторической отметки в родословных метриках: напугавшись смерти прадеда — не покарает ли его бог, — он тайно дал перед богом обет научиться чтению псалтыря, чтобы замолить грехи прадеда, а также и свои. Но так как в селе не было школы, то грамоту Егор Петрович постиг у приходского дьячка Лукича — известного пьяницы и любителя петушиной драки. За обучение грамоте Егор Петрович пообещал дьячку лучшего петуха-драчуна. Дьячок, польщенный обещанным петухом-драчуном, приступил к обучению в спешном порядке. За неимением бумаги и грифельной доски он писал буквы пальцем на пыльной дороге и заставлял то же делать Егора Петровича. Суточная норма букв, кои должен был познать Егор Петрович, равнялась восьми. Таким образом он почти в четыре дня усвоил весь алфавит. Затем произошел непосредственный переход на часослов — единственную книгу из библиотеки дьячка. Вышло некое затруднение с изучением слов под титлами, что крайне удручало Егора Петровича. Но дьячок пояснил, что в титлах не есть суть понимания, а лишь произношение, а в произношениях хотя и различается слово «отца» от слова «овца», однако смысл остается тот же.

Дьячок поторопился с обучением весьма невыгодно для себя: к прадедовскому сорокоусту псалтырь читал Егор Петрович, чем лишил дьячка рублевой заработки, а впредь — монопольного чтения по покойникам,

Во-вторых, мать Егора, весьма практичная женщина, отказала дьяку в петухе-драчуне. По поводу отказа последовало весьма разумное объяснение: петух, дескать, птица божья, а петушиная драка — вожделение сатаны. Дьячок согласился и ответил:

— Постыдно мне, лицу духовному, тешить прихоти сатаны.

И мать Егора Петровича налила для дьяка чайный стакан водки в счет устного поминовения Парфена, чем расчет за обучение и был закончен.

До десятилетнего возраста Егор Петрович был скромным парнем и уже читал псалтырь по двадцати двум покойникам, получив за чтение в общем итоге девятнадцать рублей сорок копеек деньгами и сто пять аршин холста в натуре.

Женитьба Егора Петровича, последовавшая на девятнадцатом году от роду, не принесла хозяйству существенного разорения: в жены он взял Прасковью, дочь богача Тараса, девицу, имевшую некий физический порок — немного картавила, — однако этот малый порок искупался избытком привезенного ею в дом Бричкиных добра: по выражению турчаниновских баб, людей весьма словоохотливых, в сундуках Прасковьи «дна чорт не достанет крюком». Кроме того Тарас в приданое дочери положил три овцы и подтелка, чем заметным образом пополнил бричкинский середняцкий двор.

Со дня женитьбы в жизни Егора наступила резкая перемена: он с каждым месяцем делался крепче телосложением и проявлял некую веселость нрава. Завершился и окреп его голос — густой бас. Только теперь Егор Петрович понял, к чему со времени женитьбы направлены его стремления, если эти стремления надо определить краткими словами. Слова эти вычитал он несколько дней тому назад в газете, и назывались они — «четкая линия».

Правда, «линии» этой он умственно ощутить не мог, ибо она не представлялась какой-то протянутой ниточкой, однако как-то эта линия чувствовалась. «Четкая линия», имевшая много извилин, в сущности сводилась к одному знаменателю: он старался подчеркнуть, что он есть — Егор Петрович Бричкин, и каждый должен был знать это и четко отделять его от других. Этого Егор Петрович достигал с большим успехом. Будучи на действительной военной службе, после присяги он попал в денщики к ротному офицеру. Эта должность не угнетала его, а наоборот — радовала. Жена офицера, будучи доброй женщиной, занялась с Егором Петровичем письменностью, что он превзошел, в год научившись писать письма на родину. Навещая знакомых солдат в казармах, он чувствовал свое превосходство и внешнее отличие от них: он носил фуражку с козырьком (подаренную за изношенностью офицером), которая говорила о его нестроевом разряде; строевые солдаты носили фуражки без козырька. Ботинки его были всегда ярко начищены, показывая, что офицер держит ваксу высокого качества. Довольствуясь продуктами питания с офицерского стола, он, по совету офицерской жены, получая провиантные деньги

из роты по три рубля шестьдесят копеек в месяц, откладывал их на сберегательную книжку, и за два с половиной года пребывания в денщиках на книжке накопилось сто восемь рублей да процентов к ним девять рублей двадцать четыре копейки.

Проникнув вниманием к наставлениям офицерской жены и благодарностью за обучение грамоте, Егор Петрович, ведая покупками, ходил на рынок, выгадывая от покупок на недовесках по гривеннику в день. Гривенники он откладывал, а в конце месяца обменивал их на бумажные трешницы, зашивая бумажки в пояс брюк, скопив таким образом к концу службы вторую сотню рублей.

Прекращая на сем жизнеописание Егора Петровича, мы оставляем его у Ильинских ворот, справляющимся уже у сотого человека о местонахождении центрального учреждения, нужного ему.

## III. Планомерное усложнение.

> И был человек дерзновенен в помыслах своих. Да не отлучи его, владыко, священнодействовать: богобоязнью и кротостью внемлет он велению твоему.
>
> *Из записок иерея Сивцева.*

Центральное управление по рационализации маломощных хозяйств и по распределению предметов массового потребления, а сокращенно — Центроколмасс, разместилось со своими многочисленными отделами за Китайгородской стеной, по Большому Черкасскому. Центроколмассовский дом имел пять этажей и легко поглощал две тысячи служилых людей. Третий этаж был целиком занят многолюдным отделом рационализации, имевшим в своей структуре шесть самостоятельных подотделов, как то: подотдел по учету учета учетных форм; по систематизации местных систем; по выработке деловых бумах; по составлению форм местного значения; по рационализации рационализаторских сил и подотдел рационализаторской подготовки рационализаторов.

В учреждении шли споры: который из отделов является главенствующим. На главенствующую роль в учреждении претендовали два отдела: организационный, связавшийся с местами нитью нервов, и отдел рационализации, стремившийся придать всей периферии равномерное биение пульса. Рационализаторы могли бы признать орготдел сердцем учреждения, если бы сам отдел рационализации был признан его мозгом. Но беда оказалась в том, что на это почетное звание вполне законно претендовал президиум правления Центроколмасса. Президиум ясно намекал, что оба отдела он считает нервными возбудителями периферийной системы, но точно не определил, который же из отделов является главным? Воспользовавшись сим обстоятельством, молчавший доселе торговый отдел стал претендовать на роль главенствующего отдела. Торговый отдел резонно доказывал, что средства для пропитания отделов добывает он, распределяя

их по отделам так, как сердце — добываемую кровь по артериям. Молчал лишь плановый отдел: там сидели скромные люди, составлявшие план ровно на двадцать пять лет, и, усердно потрудившись один раз, могли беззаботно отдыхать четверть века.

Трения между отделами прекратились по независящим обстоятельствам: в Центроколмасс прибыла комиссия рабоче-крестьянской инспекции, в составе двадцати человек, под председательством товарища Крученых. Крученых пользовался дурной славой — жестокого сократителя штатов, — потому-то так и затрепетал и засуетился центроколмассовский служилый народ.

Сто пятнадцать инструкторов орготдела, чтобы оправдать свое служебное назначение, срочно составляли отчет «О методах работы на периферии и о значении низовой сети и срединного связывающего звена». Общий доклад предполагалось написать на тысяче девятистах печатных на машинке страницах увеличенного формата бумаги.

Отдел рационализации подошел к составлению отчета по-разумному: он написал доклад всего на ста двадцати страницах с приложением девяносто семи схем. Доклад трактовал о том, что рационализация будет проведена полностью лишь тогда, когда в отделе будет сто пять секций вместо существующих сорока двух.

Стенная газета «Центроколмассовец» по оценке работы комиссии придерживалась средней линии: она только информировала об этой работе, а не высказывалась принципиально. Секретарь орготдела Петр Иванович Шамшин писал статьи под общей рубрикой «Поможем комиссии». В статьях рекомендовалось служащим помогать комиссии, но и самой комиссии советовалось разбираться пунктуально, чтобы не вызвать несвоевременного сокращения штатов. Однако статьи Шамшина не приносили успокоения, и служилый народ передавал друг другу весьма не утешительные сведения, будто бы произойдет сокращение на тридцать процентов. Поэтому Петр Иванович из предосторожности, на всякий случай, написал очередную статью под сомневающимся заголовком: «Нужен ли подотдел по учету учета учетных форм?» Статья, правда, приводила доводы и за и против в равномерной пропорции, однако Петр Иванович счел нужным подписаться псевдонином: «Курий глаз».

Рационализаторы, прочитав заметку, потребовали точной расшифровки псевдонима и, несмотря на то, что редколлегия разъяснила, что статья «Курьего глаза» была помещена как дискуссионная, прислали ответную статью с конкретным заголовком: «Подотдел учета местного опыта при орготделе — не нужен».

Таким образом между отделами началась полная перебранка, а товарищ Крученых, изучая спокойно накопившийся материал, брал все факты на особую заметку, пользуясь еще и устной информацией секретаря ячейки.

Рабоче-крестьянская инспекция прислала в Центроколмасс комиссию вне плановости по следующим обстоятельствам: около года тому назад правление Центроколмасса предприняло меры обследовательного порядка,

чтобы выявить лицо низовых звеньев и всесторонне освидетельствовать состояние товаропроводящих каналов. Сто двадцать четыре инструктора выехали одновременно на места, неся свой центральный опыт во все концы Советской страны. Инструктора распределились по группам — в три-четыре человека каждая группа — в зависимости от объективных условий данного района и практических познаний того или иного инструктора.

Газеты посвятили обследованию ряд статей и заметок, называя предпринятые мероприятия благим начинанием.

Свыше трех месяцев работали инструктора на местах и привезли в столицу груды бумаги, разработка которых потребовала еще около полугода. К концу хозяйственного года разновидные доклады удалось обобщить и сделать соответствующие выводы. Оказалось, что развитие работы на периферии в общем и целом происходит успешно, однако имелись и недочеты, своевременно предусмотренные общими тезисами. Из общего доклада выяснилось, что местные работники в своем культурном росте отстают от организационного роста и торгового развития. Например отчетные формы, разработанные отделом рационализации, заключавшие в себе до трехсот вопросов, не поддались умозрению местных работников; по случаю малокультурности работники мест не могли дать ответов на все вопросы отчетной формы. Книги, издаваемые Центроколмассом, которыми заполнены полки девяноста обследованных библиотек низовых звеньев, лежат еще в неразрезанном виде, хотя давность издания некоторых книг равнялась восьми годам. Итак, было последовательно доказано, что в общем и целом руководство центра было надлежащее, а работники мест — малокультурны.

Все же, несмотря на малокультурность работников низовых звеньев, было решено экстренным порядком вызвать в центр работников мест, дабы приблизить аппарат центра к массам. По сему случаю Егор Петрович Бричкин и прибыл в столицу. Инструкторское заключение по докладу попало в рабоче-крестьянскую инспекцию, которая и решила во внеплановом порядке командировать комиссию под председательством Авенира Евстигнеевича Крученых.

Комиссия углубилась в изучение архивных документов, предполагая провести всю работу в течение ближайших трех месяцев.

## IV. Целевая установка.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползающиеся части народа, прошила их твердой волей к однообразному пониманию усложненных вещей.

*Ив. Шмаков, Записки государственного человека.*

Три недели имел Егор Петрович для ознакомления с бумагами большой важности, перечитывая каждый циркуляр от первого пункта до последнего параграфа. Вначале само слово «циркуляр» раздражало

Егора Петровича чужеземным наименованием, а затем, научившись правильному произношению, не понимая точного значения этого слова, он проникся к нему уважением.

Бумаги он читал по порядку и, чтобы перевернуть лист, предварительно лизал языком указательный палец, оставляя на бумаге крупные следы. Загибавшиеся углы листов старательно выпрямлял, а следы пальцев вытирал рукавом пиджака.

Он перечитал по нескольку раз циркулярные распоряжения «о реорганизации товаропроводящих каналов», «о завозе на периферию кенафа и отгрузке клещевины», «о полезности разведения на местах донника», просмотрел «инструкцию для руководства низовой работой» и нашел, что бумаги составлены бойко.

— Лихо строчат, сукины дети! — засвидетельствовал он вслух.

Егора Петровича не обеспокоило непонимание бумаг государственной важности, перечитанных им по нескольку раз.

Обстановка учреждения придавила его мужицкую обособленность: служилый люд давно ко всему притерпелся и, проникнутый покорностью, благоволил к воле начальника, независимо от его социального положения и внешнего вида. Видоизменение внешнего вида начальника не нарушает установившегося чинопочитания: на начальника устремляют взоры даже в бане, где все люди в костюмах первородного человека. И там начальник отделим от всех.

Но Егор Петрович не был начальником, хотя и не состоял в соподчинении: он имел назначение стать связующим звеном между центром и местами. Потому-то и уяснил он, что его внешнее видоизменение было бы вредным: если внешность его была придавлена обстановкой учреждения, все же она представляла особый вид и была замечаемой. Именно этой целевой установки и придерживался Егор Петрович. Он сидел над циркулярами, и ему, как и гоголевскому Петрушке, нравился процесс чтения, а не суть содержания. Содержание циркуляров было туманно не только для него, но зачастую и для самих авторов. Что бумаги туманны по содержанию, Егор Петрович постиг это в первый же день и одобрил. Как и каждый мужик, он любил нечто туманное и неясное.

«В ясную погоду не заплутаешься, — думал он. — А мы, мужики, ой, какой блудливый народ! Евангелие, как говаривал покойный дьячок — мой первый учитель, — потому и написано туманно, чтобы народу мороку задать. Не будь мороки, над чем бы думал православный народ».

По истечении трех недель Егор Петрович спросил Петра Ивановича о своей дальнейшей работе. Озадаченный Петр Иванович открыл от удивления рот:

— Да ведь вы уже работаете! — воскликнул он.

Егор Петрович ответил, что все бумаги им перечитаны, и, нужно думать, курс ознакомления с работой превзойден. Петр Иванович кивнул головой и, исчезнувши из кабинета, незамедлительно вернулся обратно с тремя завязанными папками, туго набитыми бумагами.

— Очередные распоряжения, Егор Петрович. В строгом хронологическом и систематическом порядке. Читайте пожалуйста. Я сейчас же прикажу, чтобы все бумаги поступали к вам по мере их выпуска...

Распоряжение Петра Ивановича не замедлило сказаться: на другой день в комнату Егора Петровича стремительно влетел невзрачный человек с кипой бумаг подмышкой. Он кинул на стол Егору Петровичу стопу бумаги.

— На, проглоти белиберду с хреном, — сказал он, бесцеремонно обращаясь на ты. — Ишь, идол бородатый, прикатил сюда: будто бы без тебя мало тут разных усложнителей.

Беспокойный человек ушел так же стремительно, как и пришел, оставляя Егора Петровича в большом раздумьи: ругательные слова незнакомца его обеспокоили, но он не нашел ключа к их точной расшифровке. За расшифровкой Егор Петрович обратился к помощи Петра Ивановича, а Петр Иванович разъяснил, что беспокойный человек — Автоном Пересветов, младший информатор и составитель «Еженедельного информационного бюллетеня для внутреннего обращения», очередной нумер которого он и доставил.

— Автоном — малый веселого нрава, — пояснил Петр Иванович,— но элемент безвредный. Его веселость нрава забавой для нас служит. Слова же его — ветер в поле: шумит ветер, но пользы никакой.

Автоном Пересветов попал на службу в Центроколмасс случайно,— был безработным и принял должность младшего информатора по предложению и рекомендации знакомых. Эта должность ни к чему особенному не обязывала и больших трудностей не представляла: по мере накопления и надобности он перекладывал учрежденские циркуляры на приемлемый литературный язык, чтобы информировать прессу о действиях Центроколмасса. Должность была принята без охоты — ради харчей, а механика усвоена в первый же день службы. И в первый же день службы он понял, что слова циркуляров ложатся мертвым грузом на сознание, а спрессованное мертвым грузом сознание требует безотлагательного разжижения.

Служилые люди были крайне изумлены, когда Пересветов выразил неудовольствие по поводу существования «Еженедельника внутреннего обращения». Его шуточный тон по этому вопросу был безапелляционен и нашел лишь одного возражавшего. Возразивший, собственно говоря, не высказал своих доводов, а лишь указал, что «Еженедельник» издается по инициативе председателя правления и является как бы его детищем. Пересветов вступил в пререкания и подчеркнул, что и большие люди могут быть творцами немалых глупостей.

Выходя в коридор для курения, служилые люди перебрасывались некоторыми замечаниями по поводу смелого новичка, подрубающего сук, на который только что сел.

— Чудак! — восклицали они.

Через неделю все служащие Центроколмасса знали, что Автоном — человек веселого нрава и легкомысленного поведения. Веселость нрава

заключалась в его насмешливых экивоках, а легкомыслие — в отрицании полезности циркулярных изъяснений.

В течение недели по своему служебному положению Автоном перезнакомился со всеми секретарями отделов и подотделов, инструкторами и заведующими: в отделах он брал циркуляры, чтобы большой циркуляр переварить в заметку для хроники столичной прессы.

— Есть ли на сегодня очередная глупость, изложенная на бумаге?— справлялся он в отделах.

Заведующие и секретари улыбались, понимая в чем дело. Они часто задерживали Автонома, чтобы выслушать какую-нибудь нелепейшую новость. А выдуманных новостей, приближавшихся к действительности и касавшихся учреждения, у Автонома действительно было много: он информировал о том, что в некоем «низовом звене» покончил самоубийством счетовод и что счетовод оставил предсмертную записку, которая гласила: «В смерти моей прошу винить статистику». Люди, склонные к серьезному образу мыслей, принимали эту информацию спокойно, обвиняя самоубийцу в упадочничестве, а легкомысленные — смеялись, превращали сообщение в ходячий анекдот и, соглашаясь, что в формах статистики действительно чорт сломает голову, садились за разработку еще более усложненных форм.

На Егора Петровича Автоном произвел удручающее впечатление: ему казалось, что этот человек пронизал его взглядом и рассмотрел все потроха, скрытые от простого взора. Он почувствовал, что Автоном будто бы нечаянно угадал его помыслы, хитрые, скрытые и честолюбивые. Но время шло, Автоном больше в его кабинет не заглядывал, и Егор Петрович снова углубился в бумаги.

Между Петром Ивановичем Шамшиным и Егором Петровичем незаметно завязались как бы дружеские взаимоотношения: не объяснившись, они как-то понимали полезность обоюдного содружества. Помыслы их, правда, были затаены друг от друга, и слова, которыми они перебрасывались, были взаимной внешней любезностью. Петр Иванович признавал за Егором Петровичем крепкий разум, что высказывал полунамеками, а Егор Петрович приметил у Петра Ивановича гибкость мысли, вкладываемой в тексты форменных бумаг.

Петр Иванович дружески излагал Егору Петровичу программу его прямых обязанностей, хотя Егор Петрович и не просил его об этом. Оказалось, что Егор Петрович имел право читать циркуляры в проектах и иметь о них свои суждения. Предварительные замечания можно было делать на полях текста. После предварительных замечаний проекты циркуляров шли на инструкторское совещание, затем на коллегию орготдела.

И Егор Петрович приглашался на все эти предварительные совещания. Почти по каждому пункту он имел возможность выступать и добросовестно пользовался этой возможностью. Но не обладая даром красноречия, он говорил кратко и весьма вразумительно.

Сказанные им два-три слова, мало имеющие какой-либо смысл, подхватывал Петр Иванович, превращал их в систематическую и логическую мысль и часто вопрошал:

— Ведь так я вас, Егор Петрович, понимаю?

Егор Петрович одобрительно кивал головой в знак согласия. Петр Иванович удовлетворялся тем, что только он может непосредственно понимать с полуслова представителей народной гущи и излагать их туманные мысли по существу.

Петр Иванович был дробен, сух и вертляв, как и его предки, достоинство которых он унаследовал. Предки в продолжение столетий задней частью тела стирали прочные сиденья кресел, квалифицируясь на делопроизводстве.

Все умственное накопление предков вылилось в разум этого достойного потомка. Петр Иванович превзошел предков и по квалификации: если дальний предок писал гусиным пером, то ныне Петр Иванович не пишет, а лишь диктует. Он вполне справедливо мог гордиться тем, что на нем — и только на нем — держится все.

— Петр Иванович-то, — говорили с завистью сослуживцы,— центральная движущая ось орготдела.

Да и сам Петр Иванович не скрывал этого. На дружеских вечеринках избранных людей хотя и старался из скромности умалчивать о своей неоценимой деятельности, но все же не упускал случая сообщить во-время, что это им разработан проект циркуляра «о завозе кенафа и отгрузке клещевины».

Один раз, когда кто-то из приближенных робко справился, что сии предметы означают, Петр Иванович не смутился, — прочитал целую лекцию, называя «кенаф» принадлежностью туалета невесты, а «клещевину» составной частью хомута.

## V. Витающий «идеологический дух».

Я в помыслах своих здесь одинок,
И потому, знать, сердце гложет так тревога,
Что в деревушке нашей, как и в волостном селе,
У каждого двора—своя особая дорога.

*Прохор Родных—современный поэт-упадочник.*

За трехмесячное пребывание в Центроколмассе Егор Петрович приобрел некоторый учрежденский навык: ему поручались разработки различных проектов и разбор документов для испещрения их соответствующими резолюциями, что и выполнял он при помощи Петра Ивановича. Резолюции, накладываемые Егором Петровичем на деловых бумагах, поражали находчивостью их автора и яркими ответами по существу.

Ему было поручено рассмотреть доклад инженера Коровина — начальника изыскательных партий на Алтае, испрашивающего сметных ассигнований на орошение сухостойких полей. Перечитав тексты всех по этому делу материалов, Егор Петрович нашел опорный пункт для возражения: в докладе косвенно упоминалось, что на обширных алтайских степях, которые предположено оросить, между прочим, могут оказаться золотоносные пласты. Потому-то Егором Петровичем и было по докладу написано заключение, уничтожающее личность инженера Коровина.

«Анжанер, а дурак, — писал Егор Петрович. — Раз в тех местах родится золото, зачем же просить денег? Накопай золота и вали — работай».

После заключения по докладу инженера Коровина Егор Петрович изучил письмо народной учительницы, приславшей каким-то образом это письмо в адрес правления Центроколмасса. Письмо на четыре страницы, вырванных из тетради, было испещрено мелким почерком, и Егор Петрович потратил целый день, чтобы уловить его смысл. Учительница, собственно говоря, ничего не просила, а лишь изливала обиду на злодейку-судьбу, мало давшую в ее личной жизни отрады. Она жаловалась на то, что прожила в деревне пятнадцать лет — все лучшие годы молодости — и не была в замужестве, досепе сохранивши девственность. В конце письма она испрашивала совета: «как быть?»

Так как письмо было душевного порядка, а не практического свойства, Егор Петрович не решился класть резолюции, а направился за разъяснением к Родиону Степановичу. Родион Степанович выслушал и тут же на уголке письма начертал: «Издательскому отделу. Послать подбадривающей к жизни литературы». Егор Петрович подивился мудрости Родиона Степановича и восприял ее.

Не ограничившись канцелярской деятельностью, Егор Петрович занялся писанием стихов, и одно из его стихотворений под названием «красные штрихи» было помещено в ведомственном журнале «На стыке»:

На земле привольной
Мужик — гражданин...
Как в поле былинка,
Засох дворянин.

Засох и завял он
Мужицким зерном...
И грустную песню
Поет он: «лин бом».

И призраком черным
Все кануло вниз...
С советскою властью,
Буржуй, примирись...

А поле терзает
«Фордзон» середняка...
И с красной звездою
Плывут облака...

Буржуй сковырнулся,
Как старый забор...
Выдвиженец красный
Петрович Егор

Писал эту песню,
Скрипело перо...
«Звено низовое»
Село завело.

На другой день по выходе журнала правленцы прочли и одобрили:
— Побольше бы таких стихов с идеологией, — заключили они.
Петр Иванович тоже был немного поражен и проникнут завистью.

«Вот чорт, — подумал он, — циркуляра даже в черновом теле не произведет, а вот в стихах — да... поди как»... И удрученный Петр Иванович направился в буфет пить чай и завтракать.

За завтраком он еще раз перечитал стихотворение и, обуянный любознательностью, пошел к Егору Петровичу, чтобы распознать: все ли было выдумано из собственной головы или же воспроизведено понаслышке.

Егор Петрович был в хорошем расположении духа и объяснил, что к стихотворному изложению мысли его разум склонялся еще в детстве: обучаясь грамотности у дьячка, он сам о себе сочинил стихотворение, и дьячок это стихотворение одобрил. Егор Петрович часто вспоминал то стихотворение. Оно, правда, на бумагу никогда не заносилось, но еще и теперь не выветрились из памяти первые две строчки:

Егор парень есть таков...
Сами знаете каков...

Петр Иванович выслушал Егора Петровича внимательно, окутал его пронизывающим взглядом, как бы испытывая, правду ли говорит человек, или ложь, вздохнул и еще раз позавидовал. Отправляясь в свое канцелярское убежище, он в коридоре проворчал недовольно:

— Хитер, стервец мужичонко. Не токмо в облака, к себе в бороду, идол возьми, красную звезду вплетет.

У себя в кабинете он долго думал над вопросом, могут ли «с красной звездою плыть облака», чтобы уязвить из зависти Егора Петровича, — но, вспомнив, что один из поэтов писал про «облако в штанах», порешил, что Егор Петрович прав.

«А нельзя ли все небушко красными шпалерами оклеить», — лезла навязчивая мысль в голову. Петр Иванович рисовал себе план, что им изобретен химический способ перекрашивания небесного цвета в алый. Но обдумав все как следует, махнул рукой: «Не поверят, черти, искренности моего убеждения. Интеллигент, скажут, примазывается».

... Вечером Егор Петрович пришел к себе на квартиру — в комнату в общежитии Центроколмасса — и подвел итоги своей трехмесячной работы. Оказалось, что дела текли в общем порядке и без перебоев: прочитано сорок два циркуляра-проекта, куда было внесено четыре существенных поправки да устранены две неправильные принципиальные установки, о чем сообщил ему Петр Иванович. Вынесено семь резолюций по существу и изучен по пунктам нормальный устав «низового звена».

Покончив с думами об учрежденских делах, Егор Петрович подвел личные хозяйственные итоги, старательно записывая приход и расход на бумаге в строго хронологическом порядке. Эта сторона успеха была гораздо практичнее и выгоднее: проживание в столице оказалось весьма дешевым. Он платил за комнату три рубля четыре копейки в месяц, обед в учрежденской столовой за тот же срок стоил всего двенадцать рублей,— не включая праздничных дней, когда столовая не функционировала. В праздничные дни он питался дешевой колбасой и чаем. За завтраком

он съедал два соленых огурца и булку, что в общем стоило девять копеек. Ужинал зачастую даром, ибо на заседаниях всевозможных комиссий, где принимал участие и Егор Петрович, подавались бесплатные бутерброды и чай с сахаром — по два куска на стакан. Егор Петрович пил чай вприкуску, а потому в сахаре получалась экономия. Сэкономленные куски сахара Егор Петрович завертывал в бумажку и клал в карман и, следовательно, дома пил чай со сэкономленным сахаром, не покупая его. Петр Иванович, страдавший катаром желудка и употреблявший с чаем только сухарики, иногда отдавал свой бутерброд Егору Петровичу, чем количественно увеличивал калорийность питания последнего.

Таким образом оказалось, что в первый месяц пребывания в столице Егором Петровичем было израсходовано тридцать один рубль сорок три копейки, во второй — тридцать рублей девяносто копеек, а в третий — всего двадцать шесть рублей, ибо в этом месяце он получил из дому посылку — ржаные пышки, — чем и питался, сократив расход по завтраку.

На табак Егор Петрович денег не тратил, ибо получал из дому самодельную махорку. Однако служащие Центроколмасса, чтобы избавиться от дурного запаха махорочного дыма, наперебой угощали его папиросами. Папиросу он целиком не выкуривал, а заглушал на половине, чем и экономил, скопляя в день до пяти папирос.

За три месяца он выслал домой, на имя жены, пятьсот восемьдесят три рубля, израсходовав на пересылку три рубля двадцать семь копеек. С каждым денежным переводом он писал особое письмо, пунктуально расписывая, на какие хозяйственные нужды и сколько должно быть потрачено денег. Распорядок приобретения он поручал производить жене, не доверяясь старшему сыну, за неопытностью последнего в хозяйственных делах. В результате в хозяйстве увеличилось на две коровы, молоко которых перерабатывалось на приобретенном сепараторе, приносящем пользы до двенадцати рублей в месяц, что и было учтено Егором Петровичем заранее. Также приобретено два подтелка и стригунок — конь. Стригунка — по приказу Егора Петровича — приобрели для красоты, а не для поспешной пользы. Был утеплен куриный котух, отчего повысилась яйценоскость сорока пяти кур.

Двенадцать рублей непредвиденного дохода, полученные Егором Петровичем как гонорар за стихотворение, тоже были посланы домой, а вслед за ними — специальное письмо к жене. В конверте с письмом он вложил вырезку с напечатанным стихотворением и приказал, чтобы жена показала эту вырезку не только своим сельчанам, но и работникам волисполкома. Вначале он подумал вложить в конверт цельный номер журнала «На стыке», но побоялся, что почта возьмет дороже десяти копеек.

Письмо он составлял медленно, чтобы поразить сельчан разумом:

«Чай с Калининым я пью по-простому, блюдечко на пальцы ставлю и беседы при этом веду, а Бухарин здоровкается со мной за руку, как и полагается для смычки города с деревней».

Описав обстоятельно о политике, Егор Петрович перешел на более близкие темы полухозяйственного-полупрактического свойства:

«А теперь я хочу городских людей удивить еще кое-чем. Народ они хотя и не глупый, а на всякие привередия доступный. Моя борода им по нраву пришлась, и чую — сними я эту бороду, будет другой коленкор. Послал тебе двенадцать рублей — в нашем обиходе деньги не малые. Почитай, овца. Но ты семь рублей потрать на птицу. Три гусыни купи, да пять уток на племя, а на три рубля коленкору и вышивальной бумаги. Пускай дочка Агаша сошьет мне рубашку и разошьет ее. Я вздумал на своей натуре вырисовать живую идеологию. На груди рубахи пускай Агашка — она гораздая — портрет Калинина — всесоюзного старосты — вышьет, а подол разукрасит узорами скрещенных серпа и молота, а промежду их буквы: СССР».

Егор Петрович закончил письмо в одиннадцать часов ночи, но долго не спал, ворочаясь с боку на бок. Он думал о рубашке с «наружной идеологией» и уже предвкушал наслаждение от изумленных взоров Петра Ивановича, который втайне ему завидует.

## VI. Надлежащие мероприятия.

Мысль, письменно и по существу изложенная на бумаге, как фактор величайшей цивилизации сегодняшнего дня, может быть непомерной глупостью завтра.

*К. Хрущев, Мемориалия жизни любителя философии.*

Обычный темп биения учрежденского пульса был снова нарушен, и снова служащие Центроколмасса взволновались. Комиссия рабоче-крестьянской инспекции, после месячного перерыва, — по случаю очередных отпусков трем специалистам, — возобновила обследовательскую деятельность и, изучив материалы, подводила итоги и делала соответствующие выводы.

Авенир Евстигнеевич Крученых — председатель комиссии, — принимавший доселе людей, шедших самотеком, закрыл свободный доступ в свой временный кабинет и принимал лишь по особым вызовам одиночным порядком. С вызванными лицами, имевшими в учреждении персональный вес, он начинал разговор с отдаленных времен, имеющих касательство к личной жизни и бытовому укладу спрашиваемого.

Почти каждый спрашиваемый рассказывал, что уклад его бытовой обстановки перемахнул пределы довоенных устоев и постепенно приближается к закономерным нормам советизованного бытия. Если допускались некие предрассудки в виде хождения в церковь, то исключительно из-за любознательности и изучения контингентов посетителей, или же для выслушивания хора певчих.

После косвенного изучения быта Авенир Евстигнеевич задавал вопросы по существу и обыкновенно поторапливал расходившегося не в меру собеседника, высказывавшего личное мнение. На прямые вопросы спрашиваемый отвечал уклончиво, ссылаясь, что лицо, под начальством которого он находится, может быть в этом вопросе гораздо компетентнее.

Только Петр Иванович Шамшин оказался более откровенным: он прочувствованно пожалел о своей бездетности — по случаю бесплодности жены — и категорически заявил: если, паче чаяния, потомок будет произведен, то лично он пренебрежет услугами попов, а зарегистрирует ребенка в Загсе, а красные крестины отпразднует в клубе служащих Центроколмасса.

Егор Петрович вошел в кабинет Авенира Евстигнеевича не спеша, осторожно прикрыв за собою дверь. Немного постоял, обвел кабинет глазами, как бы отыскивая передний угол, где могли быть иконы. Поздоровался непринужденно за руку, с полуслова обращаясь на ты. Авенир Евстигнеевич не смутился, предложил сесть и рассказать все по порядку, по существу вопроса и, вопреки правилам, не коснулся семейно-бытовых вопросов.

Егор Петрович сел, разгладил на обе стороны бороду, откинулся корпусом на спинку кресла и выставил напоказ сапоги, обильно смазанные касторовым маслом. Егор Петрович, воспользовавшись советом Петра Ивановича, заменил деревенский деготь на городскую касторку, получая последнюю в неделю раза два из центроколмассовской амбулатории. Касторовое масло по городским условиям оказалось куда приличнее дегтя: от сапог не воняло, а кожа делалась мягче и эластичнее.

— Говоришь, людей надо поубавить, — обратился Егор Петрович к Авениру Евстигнеевичу, — дело говоришь. Только я так думаю — не сразу. Знаешь, и братья Райт, что ероплан делали, не сразу полетели, а спрохвала.

— Послушай, чорт тебя подери, — сердито перебил его Авенир, — что тебе дались эти самые братья Райт? Мне инженер-конструктор из тракторной секции жаловался, что ты на каждом заседании специалистов про этих самых братьев Райт говоришь. По-твоему, инженеры меньше твоего знают историю возникновения воздухоплавания?..

Егор Петрович спокойно выслушал Крученых и снова разгладил бороду.

— А по-твоему, Михайло Васильевич Ломоносов-то не из мужиков был? — начал он...

Но Авенир замахал руками и не дал ему закончить фразы.

Егор Петрович обиделся и часто захлопал ресницами, — Авенир выбил из его уст эти два научные козыря, которыми он щеголял во всех своих неуместных выступлениях. Однако он скоро догадался, что победить противника можно только равнодушием, и принял спокойный вид.

— Что же, коль мой разговор не по нутру, я уйду, — сказал он и поднялся со стула.

Авенир Евстигнеевич не стал его задерживать, тоже встал и прошелся по кабинету.

Последним Авенир Евстигнеевич опросил Автонома Кирилловича Пересветова. Автоном не был лицом, занимающим особое положение, и был вызван на собеседование только за задушевную простоту и веселость нрава, что заметил в нем Авенир Евстигнеевич за время четырехмесячного пребывания в недрах Центроколмасса.

— Я — элемент пассивный, товарищ Крученых, — ответил на первый же вопрос Пересветов. — От массы оторвался.

— Какие полезные замечания можете сообщить мне?

— Я же не состою на учете, как актив; сказал же, что я пассивен.

— А почему? Кажется, голова на плечах крепкая, критическая мысль имеется, а без учета.

— Моя критическая мысль вредна, а потому на учет не берется.

— Ты разве контра? — спросил Крученых, переходя на ты.

— Нет — беспартийная оппозиция.

— Интересно...

— Да уж будьте покойны...

— А чем ты занимаешься?

— Уничтожаю на корню зеленя, съедая в месяц крестьянское хозяйство, а в два месяца — заводскую трубу. Полезных продуктов не произвожу.

Авенир Евстигнеевич задумался и через минуту, обращаясь снова на вы, спросил:

— Ваши конкретные предложения по поводу реорганизации существующего аппарата?

— Если имеете власть, товарищ Крученых, угоните семьдесят пять процентов людей на производство кирпичей. Благо глина, песок да вода — предметы массового потребления и дешевого обихода.

— И тебя в том числе, — обращаясь снова на ты, сказал Авенир Евстигнеевич, засмеявшись. — Ступай!

«Анархист, сукин сын, определенно анархист, а издевается ловко», — подумал он и начал делать какие-то пометки в записной книжке.

Наконец комиссия составила общие выводы: оказалось, что бухгалтерия в общем и целом держалась системы контрольного метода учета, но не придерживалась порядка точной разноски статей по лицевым счетам согласно параграфов, предусмотренных сметой. Например расход по заграничной командировке трех сотрудников был отнесен в «счет непредвиденных расходов», когда существует специальный «счет командировок».

По этому параграфу специалист-бухгалтер из комиссии и главный бухгалтер Центроколмасса в продолжение двух дней вели соответствующие дебаты: бухгалтер из комиссии настаивал отметить этот факт как некий дефект, а главный бухгалтер Центроколмасса протестовал, ссылаясь,

что заграничные командировки сметой предусмотрены не были и, стало быть, расход этот, отнесенный в «счет непредвиденных расходов», надо признать правильным. Но это была мелочь: главным гвоздем преткновения оказался баланс.

Пассив баланса превышал актив ровно на шесть копеек, и эти шесть копеек приходилось сносить для уравнения суммы в актив. Специалист-бухгалтер предложил баланс пересоставить. Были подняты все книги и оправдательные документы. Бухгалтерия Центроколмасса, забросив текущую работу, пересоставляла баланс полтора месяца, однако разницы в шесть копеек не отыскала.

Главный бухгалтер похудел и осунулся. Не доверяя счетоводам и младшим бухгалтерам, он самолично перерыл почти все оправдательные документы и стал матерно ругаться, чего до сих пор с ним не случалось. Как-то нечаянно счетовод Курочкин обнаружил эти шесть копеек, пропущенные по записи счетовода Хлюпина. Выяснилось, что Хлюпин, выписывая расходный ордер по счету отпущенных товаров на тринадцать рублей сорок две копейки, упустил из виду неоплаченный гербовый сбор. При разноске же по книгам, когда к счету была приклеена шестикопеечная гербовая марка, в дебете значилось тринадцать рублей сорок две копейки, а в кредите — тринадцать рублей сорок восемь копеек.

Обследование орготдела ничего предосудительного не дало: принципиальная линия оказалась правильной, без искривлений, но весьма утолщенной.

— Не линия, а шоссейная дорога, проложенная грудами бумаг, — как правильно заметил кто-то.

Два члена комиссии по орготдельской линии выезжали на периферию в два «низовых звена». В одном из «низовых звеньев» не был учтен сельский актив. На вопрос члена комиссии к председателю «низового звена»: почему?, — тот ответил: «А чего учитать, коль каждый двор в моей голове напамять держится?»

Сей немаловажный случай был приведен в актах комиссии для большей убедительности, что места еще слабо воспринимают руководство центра.

В обсуждении акта, составленного комиссией, принимал участие весь центроколмассовский актив.

После долгих дебатов предложение комиссии о сокращении служащих на тридцать процентов было принято, и комиссия, закончив работу, удалилась.

Сокращение было проведено полностью — уволено окончательно было шесть курьеров (вместо коих были приобретены две мотоциклетки), два счетовода, один делопроизводитель. Остальные сокращенные механически были переведены в запасной служебный резерв, учрежденный специальным постановлением президиума Центроколмасса.

## VII. Бичева для увязывания.

Скручен, связан — по избе пляшет.
*Загадка.*

Родион Степанович Бурдаков, призванный по должности заворга руководить, некоторые проекты разрабатывал непосредственно сам. После окончания работы комиссии Родиона Степановича осенила мысль воссоздать примерную деревню, и он немедленно начал разрабатывать на сей предмет план.

Родион Степанович, будучи человеком кипучей энергии, несмотря на свой двадцативосьмилетний возраст, занимал приличествующую должность и слыл за способного администратора. Центроколмасс обязан был ему изучением разветвления «низовых звеньев». Тогда на очереди стоял вопрос: существовать ли системе однозвенной или же заменить ее системой многозвения. После всестороннего изучения вопроса по материалам, привезенным инструкторами, Родион Степанович взял принципиальную установку и сказал: пусть существуют звенья так, как им удобно.

Родион Степанович, пребывая в постоянном движении, как в орготделе, так и представительствуя от Центроколмасса для увязки в других учреждениях, совершенствовал и собственное бытие как по внешним, так и по внутренним признакам. В начале революции его настоящее имя по метрическим записям значилось Николай Павлович Пичужкин. Это имя будто бы, как говорили злые языки, было дано отцом, действительным статским советником, в честь покойного царя Николая Павловича и будто бы сам отец носил имя другого царя — назывался Павлом Петровичем.

Однажды в центральной газете появилось объявление, призывающее граждан сообщить, что они имеют против, если имя, отчество и фамилия Николая Павловича Пичужкина будут переменены на Родиона Степановича Бурдакова. Никто из граждан, конечно, против не высказывался, и переименование было узаконено надлежащим государственным актом.

С восприятием руководящего поста внешность Родиона Степановича теряла юношеский вид и постепенно приобретала солидность человека средних лет, занимающего известное общественное положение. Внушительный рост, взъерошенная шевелюра, роговые очки громадных размеров чрезмерно способствовали этому.

Проект Родиона Степановича о воссоздании примерной деревни обсуждался на предварительном совещании узкого круга орготдельских работников. Из доклада Родиона Степановича по этому вопросу было видно, что в примерной деревне должно быть не больше ста домохозяев. Там должны быть организованы четыре кооператива, комитет взаимопомощи и двадцать четыре комиссии. Комиссии разбивались на ряд секций и подсекций, что и обозначалось начерченной предварительной схемой в виде всевозможных кружков и квадратов. Платных должностей учреждалось пятьдесят две, однако по мере накопления средств платность должна расширяться, чтобы было больше материальной заинтересован-

ности. Нагрузка рассматривалась всесторонне, и на каждого человека деревни, имеющего право голоса, предполагалось возложить не более трех обязанностей.

После зачтения доклада выступил Егор Петрович. Он, конечно, одобрил предначертанный Родионом Степановичем проект и, к тому же присовокупил, что деревню давно пора разбудить от вековой спячки, дабы изгнать общую темноту.

Петр Иванович, любивший уснащать собственную речь историческими справками, назвал проект великой реформой, которую способны вводить люди, одаренные мудростью Сократа.

Затем выступали лица второстепенного значения и, не нарушая общего плана, вносили лишь некоторые словесные поправки в тексте. Инструктор Смачев предложил заменить слова «вследствие чего» словами «ввиду изложенного», считая последние слова более благозвучными, а инструктор Зернов предложил изменить наименование санитарной секции «секцией деревенской утилизации».

Перечисленные предварительные замечания были занесены в протокол как пожелания, дабы дать возможность автору проекта использовать их «по возможности». Также было признано желательным, чтобы вопрос этот был увязан с учреждениями, имеющими в своей работе соприкосновение с деревней, а на предмет увязки командировать автора проекта и ему в подмогу в качестве бичевы, — Егора Петровича как лицо компетентное в деревенских делах.

После совещания Родион Степанович, дабы иметь некоторые предпосылки к организации примерной деревни, занялся разработкой материалов. Были скопированы сорок пять особо характерных инструкторских докладов в приложение к обширной «объяснительной записке». Секретную объяснительную записку Родион Степанович составлял дома по вдохновению и составил ее в один вечер.

Прочитав написанное жене, активной женработнице, и получив одобрение, Родион Степанович думал: «Примерная деревня по предначертанному мною плану должна явиться самодвижущим началом в противовес социально-опасного фактора».

Не менее Родиона Степановича думал «об увязке» и Егор Петрович. Прежде всего ему пришла мысль: не сделать ли ему родную Турчаниновку примерной деревней? Предпосылок на сей предмет много: в деревне есть «низовое звено», выдвинувшее его в центр; домов в деревне столько, сколько требует проект Родиона Степановича; Центроколмасс свое согласие изъявит.

«Раз я, такой умный человек, вышел из этой деревни, то почему же им не согласиться», — подумал он.

Затем подумал: «Не переименовать ли деревню Турчаниново в Бричкино? Навсегда бы наш род увековечился».

Эта мысль обрадовала Егора Петровича, и он пошел дальше, решая вопрос, кого из мужиков и в какой чин произвести. «К примеру, — ду-

мал он, — Максима Капустина — председателем «низового звена», — мужик стоящий, хозяйством крепок, под середняка подходит... Нет, горд, сукин сын, — раздумал Егор Петрович. — Зазнается вовсе. Жалованье хоть и небольшое, пятьдесят рублей в месяц, а за год — шестьсот, — сразу кулаком станет»...

— Будут, черти, все жалованье получать да по заседаниям таскаться, а работать отвыкнут, — добавил он вполголоса, как бы оправдывая свою зависть...

## VIII. Теневая сторона.

Тише тени прошел, да чох одолел.
*Пословица.*

Тень скользнула черной кошкой, и на светлой полосе образовалось несмываемое пятно. Пишущий эти строки много уделил внимания свету, опустив тени. Бродя по широкому полю, под знойным солнцем, охватившим просторы светом, я обрадовался одинокому чахлому дереву, стоявшему на канавке, — прилег под его тенью отдохнуть. Повеяло прохладой, охватившей истомой мои тучные, орошенные потом телеса. Я полюбил это темное пятно на прозрачном месте.

Теневым пятном на фоне светлой учрежденской жизни Егора Петровича, как и можно было полагать, оказался Автоном Кириллович Пересветов. И беда именно в том, — они поняли друг друга с первого взгляда.

Автоном редко разговаривал с Егором Петровичем, а лишь, встречаясь, хохотал. Своим хохотом он заражал других, случайно очутившихся здесь людей, и они смеялись, не зная над чем. Иногда образовывалась целая группа смеявшихся, но когда смех смолкал, один другому задавал вопрос:

— Что же тут такое было?

— Да Автоном всех потешал, — отвечал другой, не зная истинной причины.

Но Егор Петрович, понимая, что смех относится к нему, быстро проходил, краснея даже бородой...

Автоном Кириллович не вел «мемориалий собственной жизни» и даже избегал заполнять учрежденские анкеты, чтобы не сбиться в родословной предков и не усложнять истории глупостью, изложенной на бумаге.

В учетном подотделе Центроколмасса он отделался от заполнения анкеты шуткой, называя себя Автономом Татьяновичем, и ссылался на то, что родителем его было, конечно, лицо мужского пола, но неизвестное ему. Учраспредовцы улыбнулись и махнули рукой, заполнили только послужной лист со слов, обойдясь без анкетных сведений.

В родословной Автонома Кирилловича не было порочащих моментов, и скрывать ему прошлого не было бы надобности. Оно не блистало яркими красками борьбы и не было тусклым будничным фоном, преграды

на жизненном тракте встречались, но прошел он мимо них с облегченной сумой.

Пользуясь случаем, — да простит мне покойный Автоном Кириллович, — я хочу поделиться сведениями биографического свойства, относящимися к его жизни. Мне о ней рассказали люди, знавшие Автонома Кирилловича с раннего детства, да и сам я был некогда сподвижником его малых дел.

Он родился в деревне Сулейка, расположенной в низинах поценского полесья. Деревушка учреждена татарским ханом Бухарбаем в честь его младшей жены Сулейки. Сулейка, шедшая походом вместе с мужем, погибла в этих местах от укуса комара, носителя малярийной бациллы. В деревушке Бухарбаем был посажен князь, собиравший с крестьян натуральную пошлину — коней и барашков, служивших продуктами питания проходившим полчищам.

В детстве Автоном слышал, будто бы его далекий предок видел, как татарин отрубил хвост у живого барана, привезенного предком в счет пошлины, и, содрав с него шкуру, подложил мясо под седло. Затем татарин объехал карьером десять раз вокруг малой рощи, достал пропаренный хвост и стал его есть. Предка Автонома потянуло на рвоту, и он, рассердившись на татарский обычай, показал татарину подол рубашки, сложенный свиным ухом, за что будто бы и был ханом Бухарбаем повешен на дереве как лицо, поносящее законы Магомета.

Бухарбай по случаю оплакивания жены оставил командование полчищами на малолетнем сыне Бата-Бухарбае, малоопытном в военном деле, за что и поплатился жизнью: лихим набегом мордвы — кочующего по тем временам народа — полчища хана Бухарбая были разгромлены, а Бата-Бухарбай был полонен и оставлен на племенное размножение.

Таким образом деревня Сулейка соединила три народности предков, потомки которых постепенно обрусели.

Однако веселость нрава и внешность Автонома отнюдь не унаследованы путем «биологических» явлений природы: Автоном был дробен, когда предки могучи телосложением; лицо его было узкое, у предков же широкое и скуластое; глаза его были большие, а у предков узкие; предки были русы, когда цвет волос Автонома черный. В его жилах, несомненно, струилась интернациональная кровь — помесь татарско-мордовско-русской.

В революции Автоном не был героем, как и не был сквознячком, сквозящим по прогалинам. В борьбе он принял участие как рядовой боец, хотя мог бы быть руководителем. Последнего он боялся и каждого руководителя считал усложнителем обычных вещей.

На двенадцатом году от роду Автоном навсегда распрощался с родной Сулейкой по независящим от него обстоятельствам. Его мать мыла в церкви полы. Автоном, взятый матерью для помощи, подтаскивал ей ведрами воду. Имея большое пристрастие к мастерству и проходя мимо плотников, починявших верх сторожки, Автоном незаметнымобразом поло-

жил за пазуху маленький буравчик. Придя в церковь и поставив ведра возле матери, мывшей правое крыло, Автоном вытащил из-за пазухи буравчик и повертел его перед глазами. Затем он в церкви усмотрел непорядок: перед иконой Николы-чудотворца, громадной по размерам, теплилась малая лампада. Предполагая, что Николе удобнее всего было бы курить елейное благовоние, а не нюхать, он чудотворцу развернул буравчиком рот. Но так как лампада оказалась прочно привинченной и перенести ее было невозможно, Автоном свернул из листа бумаги, вырванного из «апостольских деяний», огромных размеров цыгарку и вставил ее в рот Николе-чудотворцу.

— Мамка! — крикнул он, заливаясь смехом. — Погляди-ка сюда поскорей!

У матери подломились ноги. Она приняла смех Автонома за наваждение сатаны и упала в обморок.

Автоном, посмеявшись над слабостью матери, исчез из церкви и навсегда оставил родную деревушку.

Местный причт объявил исчезновение Автонома божеским наказанием, и некоторые старики, поверив причту, обнаружив в лесу старую медвежью берлогу, приняли ее за дыру, образовавшуюся сквозь тартарары, куда провалился юный Автоном.

Но Автоном не провалился. Он шел по цновскому побережью, жарился на солнце и питался злаками. Никем не преследуемый, ни от кого не зависимый, он полюбил бродяжье житье и часто, выходя из бурьяна, думал о мировой истории, но эта история не сокрушала его. Однажды он позавидовал вольности птиц, лежа под тенью сосны, но тут же был сверху обгажен грачами и решил больше ничему и никому не завидовать. Поступком грачей он удручен не был, а со смехом пошел к речке, чтобы обмыть рубашку, а заодно и выкупаться.

Ту зиму Автоном прожил на чердаке поповского дома, забравшись туда незаметно еще с осени. Он завернулся в рваные сметухи поповских подрясников и ел печеный хлеб, складываемый попом после обильных сборов.

Однажды работник попа, снимая с чердака несколько ковриг хлеба для скота, заметил в углу проскользнувшую тень и, напугавшись, полетел вверх тормашками с чердака. Поп для видимости покропил на потолок святой водой, как бы изгоняя нечистую силу.

Весной железная крыша поповского дома прогрелась, и Автоном почуял теплоту в природе. Улучив минуту, он спрыгнул с потолка, свалив с ног очутившегося в сенях попа, и убежал. Поп упал и от испуга около трех недель лежал в постели.

На следующую зиму Автоном отбыл в город и поступил дворником, но, не имея паспорта, был уволен на другой же день. Затем, стоя на толкучке, попал по набору похоронного бюро в поводыри лошадей, запряженных в катафалк, получая за каждые похороны по полтиннику и по ложке рисовой кутьи с изюмом. Иногда он питался в обжорном ряду

в харчевне наварными щами и гречневой кашей — три копейки за миску.

Так и рос он без особого призора и неким образом прожил до двадцатилетнего возраста, работая на погрузках, на свалках и читая обрывки загрязненных бумаг. По нелепой случайности он овладел средней грамотой, научившись у бродяжки Пимена, пропойцы-семинариста. Пимен же научил Автонома и некоей житейской мудрости. Он еще тогда называл его «автономной республикой», помышляя, должно быть, о революции.

Революция не опьянила Автонома, хотя и он не оставался простым зрителем: это время манило его своей легендарностью, и стал он простым бойцом за революцию. Беда Автонома оказалась в том, что он быстро понимал обстановку и весьма ее опрощал, как бы на самом деле существовал «автономно» от всего... За революцию он не изменил своему нраву, только больше обыкновенного говорил и смеялся...

Он и породил теневую сторону Центроколмасса, пребывая в должности младшего информатора. Составляя «Бюллетень для внутренного обращения», как известно, Автоном усомнился в его надобности. Но Автоном, оставаясь верным упрощенности мышления, решил испытать на практике свои сомнения: он стал не докладывать по две страницы в каждый номер «Бюллетеня». Расчет оказался верным: никто не потребовал добавочных страниц, и, стало быть, нужда в «Бюллетене» отпадала. В последний раз он не доложил в номер «Бюллетеня» десять страниц и прямо с самого начала. Опыт дал весьма поразительные результаты: из полутораста ответственных работников, получающих «Бюллетень», только один Егор Петрович обнаружил нехватку страниц.

— А тебе зачем они? — строго спросил его Автоном.

— Мне собственно не нужно, — ответил смущенно Егор Петрович, боясь услышать злые насмешки, — я так просто, для порядка спросил...

— Для порядка! — передразнил его Автоном. — Я бы вот для порядка давно бы выпроводил тебя во-свояси...

И Егор Петрович настолько был удручен и напуган, что побоялся рассказать о случившемся Петру Ивановичу.

Таким порядком Автоном вынес окончательное решение, и «Бюллетень» прекратил свое существование. Сам Автоном попрежнему разгуливал по недрам сплошной канцелярии, пригревшей его, как на груди змею.

## IX. Тень ушедшая.

Дурная трава из поля вон.

*Пословица.*

Четырехдневное отсутствие Автонома в учреждении не породило ни тревоги, ни беспокойства: людской поток центроколмассовских работников надлежащим образом наполнял учрежденские недра, а изъятие Автонома из общего водоворота по удельному весу было равномерно ведру воды, выплеснутому из моря...

Однако на пятый день присутствие Автонома в учреждении оказалось необходимым: надо полагать, он случайно забрал ключ от шкапа, в коем хранилась сургучная печать для накладывания штампа на пакетах секретного свойства.

Петр Иванович, справившись о домашнем адресе Автонома в учетном подотделе, направил к нему на квартиру рассыльного, но рассыльный вернулся обратно, заявив, что квартира заперта.

Проходя после занятий той улицей, где квартировал Автоном, Петр Иванович надумал зайти лично, чтобы взять ключ, а заодно и навестить. «Может быть скорбь на душе человека лежит и чужая притеха нужна», — подумал Петр Иванович, шагая по ступенькам.

Остановившись у дверей комнаты Автонома, он осторожно постучался, дабы громким стуком не нарушить чужого покоя. Ответа не последовало, и Петр Иванович стукнул в дверь отрывисто три раза, размышляя, что Автоному надо стучать условно, а при условностях почти всегда бывает троекратный стук. Но и на условный стук ответа не последовало.

Из соседней комнаты высунулась женская голова — женщина, должно быть, приняла на свой счет условный знак. Она кивнула головой из вежливости и задала Петру Ивановичу вопрос:

— Вы его приятель?

— В некотором роде — да.

— Знаете? Из его комнаты какой-то запах нехороший идет. Вы не слышите?

Обостренное обоняние Петра Ивановича сразу восприняло действительно дурной запах, и он чихнул:

— Да, запах дурен, — засвидетельствовал он, зажимая нос.

Из других дверей показалась вторая женская голова, и разговор о запахе пошел в общем порядке.

— Знаете, не умер ли он? — заметила вторая соседка.

Все трое слегка напугались собственного измышления, но обсудив вопрос всесторонне, порешили взломать дверь.

Когда дверь была взломана, Петр Иванович увидел потрясающую картину: Автоном лежал вверх лицом на кровати. Его глаза, почти что вылезшие из орбит, имели мутнодымный цвет. Оскаленные зубы, стиснутые от боли и потерявшие свою блистательность, казались редко насаженными и бесцветными. Сочившаяся из ноздрей сукровица проборроздила зигзагообразные полосы и засохла на щеках. На сером одеяле ссохлось почерневшее пятно свернувшейся крови, имевшей когда-то алый цвет.

Петра Ивановича охватил ужас: он в первый раз увидел самоубийцу, разлагающийся прах которого почернел. Живая человеческая рука не отдала последнего долга этому праху — не пригладила волосы, не закрыла глаз парой медных пятаков и не одела посмертного савана, — потому он казался более безобразным.

— Автоном! — простонал Петр Иванович, и свой же голос послышался ему как замогильный звук.

•

Он выбежал из комнаты, но в дверях столкнулся с милиционером, извещенным о происшедшем досужими соседями покойного.

— Куда прешь? — крикнул милиционер, поднимая руку, будто бы осаживая толпу или останавливая автомобильное движение.

Милиционер не проявил жалости, а лишь выразил недовольство по поводу беспокойства и стал составлять служебный протокол.

— Погоди! — сказал он сердито Петру Ивановичу, желавшему ускользнуть в двери вторично. — Понятым будешь, — добавил милиционер, и Петр Иванович остался в комнате, хотя выйти он собирался по нужным делам.

Прах Автонома был отправлен в морг. Петр Иванович остался с милиционером и еще с одним понятым, чтобы составить опись имущества, скрепить подписью надлежащие акты и запечатать сургучом скарб, носимый покойным.

Только после удаления праха Автонома Петр Иванович как следует рассмотрел внешний вид комнаты и ее скудную обстановку. На стене, над письменным столом Автонома висел плакат, с четкой, сделанной от руки надписью: «Председатель общества любителей легендарного времени».

На другой стене висели широкие склеенные листы бумаги с крупной надписью: Домашняя стенгазета «Пролетарское благо». Полюбопытствовавши, Петр Иванович подошел ближе и прочитал передовую статью:

«Я хочу усложнить свою жизнь, чтобы она не была такой простой и не текла в общем порядке, а носила организационные формы. И, выпуская первый номер «Пролетарского блага», я приветствую себя с большим культурным завоеванием. Стенгазета поможет моей одичалой жизни и преобразует бытовое начало. Отныне мои коварные замыслы будут обнаружены совместно с замыслами разных Чемберленов и уничтожены в зародыше.

«Раньше у меня хоть и не было больших обязанностей, но все же были, — а прав не было никаких.

«Ныне открывается широкая полоса моей самодеятельности — бичевать, затрагивать, рекомендовать, устранять и доброжелательно относиться к благим начинаниям. Моя стенгазета восполнит большой культурный пробел, образовавшийся вследствие моего бытового бюрократизма».

Затем Петр Иванович пробежал заметки под общей рубрикой: «Красный сплетник» и остановил взор на одной из заметок, именуемой «Автоном, подтянись!»

«Служба твоя, брат Автоном, — отдушина, где отводишь душу смехом над схемами, именуемыми людьми. Схемы интереснее живых людей, — ты в этом убедился, побывав в кукольном театре. Не правда ли? Оказывается, кукла может произвести произвольное движение сразу обеими руками и обеими ногами, выбрасывая их вперед. Ты видишь человеческие схемы и доволен их действиями.

«Но ты приходишь домой. Отдушина закрывается. У тебя нет поля деятельности, и хохот твой смолкает. Породи, Автоном, некий прообраз

схемы в своем бытии, чем и удовлетворишься. Тормошись и что-нибудь делай. Первым долгом займись устранением всевозможных непорядков и придай внешности бытия организационное начало. Ты останешься этим доволен сам. Например ты точно не определил, для чего служит шкап. Наклей на него бумажку с четкой надписью: «Харчевое отделение». Сделай надпись у вешалки: «Раздевальня», а также и над кроватью: «Уголок отдыха». Учреди для себя ряд должностей и кого-либо выдвини для работы. Ты замечал, что по коридору бегает соседский кот хорошей сибирской породы. Приручи этого кота к общественной работе. Кот, он хоть и не обладает большим умом, однако может уничтожать мышей, если они заведутся.

«Автоном, подтянись!»

На втором столе, служившем местом, где воспринимались пища и питье, стояли две бутылки и тарелка. На одной из бутылок, наполненной жидкостью, на самодельной этикетке Петр Иванович прочитал написанное церковно-славянским шрифтом:

«Бедняцкое питье»

Ликер

«Мир хижинам»

На тарелке лежала заплесневевшая колбаса, а в колбасе воткнута на приколке надпись: «Колбаса — за что боролись».

Милиционер, оторвавшийся от писания протокола, поглядел на бутылку, затем, ототкнув пробку, понюхал.

— Надо попробовать, — сказал он, наливая жидкость в рюмку.

— Фу, настоящая водка, — заключил милиционер, сплевывая, и затем нацедил вторую рюмку. — Я думал, в самом деле какое-либо культурное питье, — проговорил он, поднося вторую рюмку ко рту.

Петра Ивановича поразило творчество Автонома. Втайне он даже позавидовал ему, думая о том, почему он не первым начал издавать домашнюю стенную газету.

«Ну, погоди, авось мы что-нибудь да придумаем», — решил Петр Иванович, представляя самого себя во множественном числе. Затем он углубился в детальное изучение автономовских немногочисленных, но любопытных архивов — разбросанных различных клочков, бумажек.

«Да. Это неизбежно. Когда ты разрушаешь дом, на месте много остается хаоса. Ты строишь новое здание, — валяются стружки, щебень, стены залиты известью».

Не зная, к чему отнести подобного рода слова, Петр Иванович отложил этот клочок бумажки, принялся за изучение других документов.

«Я говорю, когда падает гигантская стена, ты сгораешь от нетерпения: она рухнет со всей силой, и сильное дуновение воздуха отшвырнет легкие предметы».

«Будто бы не член союза строительных рабочих был Автоном, а пошел по ихней линии», — подумал Петр Иванович, откладывая и этот клок.

Начало третьего документа гласило: «Мы построили одну машину с самопроизвольным движением и неизмеримой центробежной силой. Мы пугаемся этой машины, но никак не можем остановить ее хода. Новые машины, построенные для уменьшения ее хода и бережливости пожираемых ею средств, поглощаются, развивают такой же центробежный ход, сливаясь с ней воедино».

— Не пойму ничего, — сказал вслух Петр Иванович и, свернув все бумаги, перевязал их бичевой...

Утром первым долгом Петр Иванович доложил о случившемся Родиону Степановичу.

— Ключ нашел? — задал ему вопрос Родион Степанович, считавший нужным справиться прежде всего о деле.

— Ключ? — переспросил растерявшийся Петр Иванович. — Да, ключ-то найден. Но он описан в вещах Автонома. Милиционер сказал — надо форменное заявление подать, тогда отпустят.

— Ну вот, так я и знал, — сказал недовольно Родион Степанович — Как же быть теперь?

У Петра Иaновича быстро явилась мысль заменить сургучную печать гербовой стороной медного пятака, что он немедленно и исполнил.

Родион Степанович хладнокровно выслушал информацию о смерти Автонома и заключил:

— Упадочный элемент. Это я видел давно, только не говорил.

И Родион Степанович тут же подумал написать статью об упадочничестве вообще в общую прессу, а в стенгазету — о смерти Автонома.

— Ладно, — перебил он Петра Ивановича, увлекшегося докладом о смерти Автонома, желая передать все подробности. — Давай-ка, брат, писать проект циркуляра «о полезности и целесообразности применения ветровых сил тяги в маломощных хозяйствах».

## X. Точное уточнение.

Поросла долинушка травой сорною,
Да травой сорною—чертополохом...
Загубила я млада, волю девичью,
Да волю девичью—долей бабьею...

*Народная песня.*

В недрах рабоче-крестьянской инспекции, в заднем углу, где в конце длинного коридора расположен стол с чайной посудой — с несколькими сотнями опорожненных стаканов, — уборщица Феклуша заваривала чай. И дабы чай принял темнокоричневый цвет — специально для любителей крепко-настоенного чая, — она завернула медный чайник громад-

ных размеров в шерстяной теплый платок, принесенный для этой цели из дома. Хотя и предстояло долгое заседание лиц среднего служебного качества (изрядного по количеству, правда), однако на столе не было бутербродов, о чем Феклуша, оставленная для обслуживания заседания, очень сожалела: понадеявшись на бутерброды, она не обедала. Бутерброды же неделю тому назад были отменены протокольным постановлением как предмет излишества.

Уборщица открыла малый зал заседаний, чтобы смахнуть пыль с полукольцеобразного стола, накрытого красным сукном. Но стол оказался чистым, и товарищ Родных — секретарь протокольной части — уже раскладывал перед каждым стулом листы чистой бумаги и отточенные карандаши.

— Чай подашь на тридцать персон, — сказал Родных, отдавая распоряжение уборщице. Затем он попробовал председательский колокольчик, чтобы удостовериться в чистоте звука. Звук оказался прозрачным, и товарищ Родных выразил немое удовольствие, бросив улыбку в сторону Феклуши. Уборщица, не поняв значения секретарской радости, вышла в коридор, чтобы между делом протереть привинченные на дверях хрустальные пластинки с подложенными под-испод красными пластами неизвестного ей качества. Она любила эти хрустальные пластинки и часто засматривалась на золоченые буквы, обозначающие малопонятные наименования. Она долго думала, зачем существуют надписи, ибо посетители, приходившие в учреждение, все равно ничего не могли отыскать и чаще справлялись у них, уборщиц, чем пользовались услугами надписей. Но со временем Феклуша узнала, что надписи существуют не для порядка, а для услады посторонних взоров, — отнеслась к ним вполне сочувственно и, улучив свободную минуту, протирала их чистой тряпкой, дабы смахнуть пыль, нанесенную в просторные коридоры сапогами всевозможных жалобщиков.

Оказывается, главными носителями пыли были жалобщики, так как элегантные люди снимали галоши в швейцарской, а перед приходом в учреждение одежду чистили у себя дома. Затем Феклуша стала сразу отличать жалобщиков и относилась к ним лишь снисходительно, по служебной обязанности.

Протирая пластинку на дверях «малой коллегии», она заметила Авенира Евстигнеевича, шедшего по коридору, нервно жестикулирующего. Зная, что он не является человеком, коему присуща печаль, Феклуша предложила ему для успокоения нервов крепкого чаю. Но Авенир Евстигнеевич махнул рукой и исчез в соответствующем его служебному положению кабинете.

Авенир Евстигнеевич был взволнован письмом неизвестного происхождения, однако отнюдь не анонимным. Он перечитал его несколько раз и не мог припомнить адресата, да и сам адресат не упоминал о случае знакомства с ним. На конверте письма значилось «Здесь. РКИ, Главному рационализатору — Авениру Крученых».

Лаконическая надпись на конверте забавляла Авенира Евстигнеевича, а звание «рационализатор», не присвоенное ему по должности, даже несколько обрадовало: «не есть ли что рационализаторское врожденное?» — подумал он о себе.

«Слушай, друг мой, начиналось письмо, — это письмо, если можно так выразиться, «с того света». Да, да. Ты не пугайся, именно с того света. Я решил покончить с собою. В моем револьвере, — права ношения которого я не имел, — случайно, после фронта гражданской войны, уцелел один патрон. И дабы не усложнить истории потомством, я решил прекратить собственное существование. Как видишь, я пишу тебе письмо без волнения, и смерть не производит тягостного удручения. Я спокойно взял револьвер, наставил дуло к виску, плавно, по правилам военной науки, нажал курок. Курок щелкнул... но я остался жив... Капсюль дал осечку, — и таким образом я получил некоторую отсрочку на право жизни.

«Но почему я тебе пишу? — Больше некому. Был у меня один близкий друг, с коим происходило содружество по бродячей жизни, но я его потерял из виду уже годов пять.

«Была ли вообще потребность кому-либо написать? Должно быть да, иначе не написал бы. Но почему потребность написать необходима, я не додумался, за малой отсрочкой на право жизни. И почему я пишу тебе, не будучи с тобой особенно знаком? Мне кажется, что ты останешься на земле продолжать меня: у нас много сходных основных черт, как я думаю. И к тебе, именно как человеку, похожему на меня, я пишу письмо. Ты, может, против этого станешь возражать, но твои возражения будут не по существу, а формально, — это я знаю. Но я не выступлю оппонентом, не беспокойся. Первым долгом ты обвинишь меня в упадочничестве — каждого самоубийцу принято называть упадочником. Я не возражаю, валяй, — ведь я от этого не перевернусь в гробу, пускай даже прах не сожгут в крематории. Пусть буду упадочным элементом. Но если ты хоть немного меня помнишь, то я был постоянно весел и смешил других. Даже сейчас у меня игривое настроение, — я пишу и смеюсь. Кстати: я хочу рассказать о причинах моего смеха. Так, чтобы ты знал, — ведь ты тоже человек веселого нрава. Мой смех понятен только самому мне, а люди, смеявшиеся со мной вместе, просто делали это по инерции, как включенные в водоворот. Много ли надо, чтобы рассмешить такой народ? В детстве я видел мужика, снявшего портки. Все хохотали тогда над мужиком, а я хохотал над всеми — и больше всех.

«Когда меня мать бичевала веревкой, я смеялся. Меня забавлял и сам процесс экзекуции и приготовление к ней матери. Но главным образом меня забавлял процесс отчуждения от матери, устанавливающей по отношению ко мне свой закон и свои права. И я, должно быть, смеялся от радости, чувствуя отчуждение как закон на обособленное существование.

«А мать побоями думала приблизить меня к себе, дескать — вразумлю, ибо я его породила. Глупая, она ведь знает, что землю, породившую

злаки питания, не возбраняется топтать ногами. Я для себя опростил это понимание и тогда же ушел из деревни.

«Я не был ленив, однако и не хотел работать. Около четырех лет я бродил по деревням, чтобы вылавливать новые факты для собственного удовлетворения — смеяться. И один, сидя где-либо на канаве, произнося слово «загуль», мог смеяться в продолжение цельного дня. Что могло означать это магическое слово? Этим словом один мужик охарактеризовал меня, мало работавшего и живущего сносно. И я тогда еще знал, что труд — не удовольствие, а трудящийся—не освободившийся: иначе зачем бы стремиться укорачивать трудовые дни, если труд — сплошное удовольствие.

«Почему я, обладая веселостью нрава, ухожу из сего мира? Когда-то курские помещики, под пьяную руку, решили одного собутыльника посредством повешения делегировать на тот свет, чтобы он узнал, доподлинно ли существует тот свет. Но я в существование того света не верил еще с детства и бросаю жить не из-за любознательности. Умираю потому, что боюсь, что и меня захватит организационное начало и что я окунусь с головой в какое-либо надлежащее руководство. И я умираю, не боясь наседающего со всех сторон бюрократизма, — я его не боюсь, ибо он мне приносит элексир жизни — смех. Мне достаточно самому себе произнести два слова: «соответствующая установка», чтобы смеяться всю ночь напролет. Я умираю потому, чтобы самому не стать бюрократом и не начать организовывать вселенную.

«Но, все же, почему же я обратился с письмом к тебе? Я уже сказал, что у тебя в характере есть несколько моих черточек. Ты мне скажешь: «но ведь я руковожу и организую». Да, это так. Но является ли твое руководство от чрезмерной чувствительности к сим условным понятиям? Не временный ли у тебя этот чужой налет? Ты не чиновник, а мысль твоя трепещет в формах, чуждых твоему классу. Не произносишь ли ты слова «надлежащие мероприятия», как попугай: «попка дурак»? Не оскорбляйся, Авенир, а думай и выходи из условных форм. Я устал писать, а сказать тебе хотелось бы многое. Кроши, крой всех бюрократов и истребляй бюрократизм, если можешь, всеми мерами. Не чеши гребенкой формы бюрократизма, ибо от этого происходит его растительность. А Центроколмасс ты только причесал гребенкой. Что это означает? Что и ты, в быстром потоке бюрократического разлива, был захвачен воронкой, вьющейся над пучиной. Бойся этой пучины. Она начала засасывать и тебя. Сейчас мне остается отнести это письмо, опустить его в почтовый ящик, а затем умереть. Но прежде напишу еще заметку в домашнюю стенгазету «Пролетарское благо». Я, видишь ли, занялся организацией внутреннего порядка ради смеха и напугался в первый раз в жизни, не всерьез ли это я делаю?

«Итак, после заметки покончу с собой. Я перережу вены на правой руке и истеку кровью. Жаль, что не могу прислать тебе второе письмо с того света. Прощай!

Автоном Пересветов».

Прочитав в первый раз письмо, Авенир Евстигнеевич отложил его в сторонку как ненужный документ, изложенный «лишним человеком», хотел подняться со стула и не смог. «Нельзя же так пренебрежительно смотреть на человеческий документ», — подумал он и потянулся за письмом, чтобы прочитать его вторично.

Прочитавши вторично, он откинулся на спинку кресла и долго думал. Авенир чувствовал, что самоубийцу он где-то видел и был склонен к личной дружбе с ним, но мешали этому обстоятельству именно формы, о которых говорил автор письма. Обратившись к собственному сознанию, он решал вопрос: автор прав «объективно» или суждения его весьма «субъективны»?

«А может быть он прав, — вспомнил Авенир, подумавши об Автономе, — когда говорил: «если можешь, выгони семьдесят пять процентов на производство кирпичей». Он в этот миг припомнил физиономию Автонома и догадался, что автор письма — он. «Что же лучше: производить кирпичи или писать ненужные бумаги», — думал Авенир. И в его воображении сразу возник ряд картин. Тысячи людей копошились в глине и воде, делали кирпичи. Другие тысячи выстраивали из этих кирпичей высокие здания, а в зданиях — работали миллионы рабочих. Ликвидировалась безработица, и от всего процесса создавались потребительные стоимости.

Перспектива оказалась заманчивой, и он порылся в своем докладе, чтобы посмотреть, сколько аппарат Центроколмасса пожирает средств, не создавая ценностей. Сумма оказалась изрядной — до семи миллионов в год.

— Гм, да! — проговорил он вслух. — Сумма изрядная. Можно уездный город построить...

И Авенир в третий раз перечитал письмо Автонома. «Ну, как его назвать? Дураком — не выходит, неглупый парень. Упадочником — тоже нет. Чудак, должно быть. Стоит ли помирать от бюрократизма, когда мы ему живо голову свернем».

Авенир Евстигнеевич старался думать о предстоящем через пятнадцать минут докладе, но в голову лезло содержание полученного письма.

«В общем и целом, обследование происходило секционно», — подбирал он слова для начала доклада.

В малом зале, где разгуливали ожидавшие открытия заседания, Авениру Евстигнеевичу бросились в глаза десятка полтора портфелей. На одном из них он увидел серебряную пластинку с надписью: «Дорогому супругу в день рождения. Прими скромный подарок — портфель делового человека». И Авенир Евстигнеевич подумал о портфеле как о признаке бюрократизма.

«Кто же не знает, что портфели носят деловые люди», — досадовал он на жену, преподнесшую мужу портфель.

И когда после звонка товарища Микусона — заведующего отделом по реформации учреждения, на коего по должности возлагалось председательство,— все уселись за стол, Феклуша подала чай, — Авенир Евстигнеевич видел, как из того портфеля — подарка в день рождения — владелец вытащил бутерброд и стал не спеша жевать его, роняя крошки на стол.

— Ваше слово, товарищ Крученых, — сказал Микусон. Но Авенир Евстигнеевич, углубившись в думу о портфеле, не услышал председательских слов.

Товарищ Родных держал наготове карандаш над бумагой, чтобы записать сущность речи, но Авенир Евстигнеевич думал, а не говорил.

— Товарищ Крученых, ваше слово для доклада, — громче повторил Микусон.

Авенир Евстигнеевич кашлянул и не спеша проглотил из стакана воды, чтобы промочить горло.

— Я не чиновник, и мысль моя не связана формами, чуждыми моему классу, — начал Авенир Евстигнеевич, припоминая что-то из письма Автонома.

— Товарищ Крученых, вам предоставлено слово. Не отвлекайтесь, а говорите по существу, — перебил его Микусон.

— В общем, работа у нас шла в общем порядке и секционно, — начал Авенир Евстигнеевич сызнова.

После этих слов некоторые из заседавших наклонились и занесли на бумагу: «Методика — секционное».

— А по существу — это было только приглаживание гребенкой, — продолжал Авенир Евстигнеевич, перемешивая по нечаянности цитаты из письма самоубийцы со словами доклада.

Заседавшие скорее вели между собой беседы, чем слушали доклад, и кто-то записал для порядка слово «гребенка», принимая его за товарный предмет, которым торгует Центроколмасс, — чтобы в выступлениях отметить нецелесообразность торговли гребенками.

— Бюрократизм надо крошить мерами военного коммунизма, — продолжал Авенир Евстигнеевич, не сознавая, что говорит. И почти все сделали пометки: «Меры воен. коммунизма».

Но Микусон опять остановил докладчика:

— Товарищ Крученых, ближе к сути, вам предоставлено всего двадцать минут.

— Двадцать минут? — вопросительно переспросил Авенир Евстигнеевич и догадался, что он плел какой-то вздор.

— Да. Позвольте, товарищи. Я не готов к докладу, — ответил он после некоей паузы. — Я не могу сделать доклада. Мне надо произвести «точное уточнение». — В этих словах он почувствовал некое созвучие бюрократизма и напугался их...

## XI. Углубленное углубление.

Тиха вода, да омуты глубоки.
*Народная поговорка.*

Кто измерял глубину работы Центроколмасса? Кто опустился на дно, чтобы исследовать ущелья омутов, поглощающих зря ценности материального накопления? В подвалах Центроколмасса я видел седовласого архивариуса, кашлявшего от непомерной подвальной сырости и терпеливо очищавшего пожелтевшие от давности архивные бумаги от плесени. Но архив — не омут, а бумажное кладбище, архивариус же — не акула, поглощающая живые существа, а лишь вурдалак, питающийся мертвечиной.

Родион Степанович Бурдаков изложил доклад «о воссоздании примерной деревни» на трехстах листах обычного канцелярского формата и, разослав его по соответствующим инстанциям, был озабочен новой, захватившей его идеей. Теперь он выдвинул новую «проблему» — расширить масштаб центроколмассовской деятельности, доведя его до пределов всесоюзного значения (Центроколмасс значился как учреждение эресефесерского масштаба). Идею, выдвинутую Родионом Степановичем, восприняло правление, а сам председатель эту идею выдал за свою собственную, против чего Родион Степанович не считал надобным возражать.

Получив директиву «проработать соответствующий план», Родион Степанович предварительно учел все могущие возникнуть препятствия в процессе предварительной работы. Моментом, усложняющим обстоятельства, могли явиться Совнарком и его планирующие органы: эти учреждения надо будет обойти маневрирующим порядком — предпосылками экономических данных и тяготением союзных республик к координированному руководству.

Родион Степанович созвал по сему вопросу инструкторское совещание. Первым выступил инструктор Сомицкий, считавшийся главным учрежденским начетчиком и уставщиком.

— Товарищи! — сказал он с возбуждением и, вынув из кармана носовой платок, вытер выступивший на лбу горячий пот. — Фактически Центроколмасс — учреждение всесоюзного значения. Республиканские учреждения имели законное тяготение к столице как к единому регулирующему центру и мощному экономическому фактору. Но чего нам не доставало? — Юриспруденции? — Нет. Откройте наш устав на странице четырнадцатой, взгляните в параграф тридцать второй и там вы, черным по белому, прочитаете. — Сомицкий открыл устав и прочитал: — «Учреждения республиканского масштаба, аналогичные Центроколмассу, могут объединяться в единый всесоюзный Центроколмасс, если они на это выявят добровольное желание».

Выступавший инструктор Семичев нашел, что параграф, прочитанный Сомицким, является в принципе правильным, однако подлежит уточнению. Семичеву возразил Прутиков.

— Де юре в нашем государстве — второстепенная вещь, — сказал он.

Однако по мнению Столбика и Прутиков был неправ.

— Де факто имеет значение, конечно, — сказал Прутиков. — Но неменьшее значение имеет и де-юре, и нельзя умалять его достоинства. Бумага, скрепленная печатью, оплаченная гербовым сбором, хотя и не является одушевленным предметом, однако имеет большое право на жизнь. Иначе почему мы добиваемся, чтобы Америка признала нас де юре?

В конце заседания выступил Егор Петрович. Он рассказал сказку об отце, предложившем сыновьям сломать веник.

— Вот, — заключил он, — целиком веника никакая сила не сломает, а по одиночке прутики — чик и готово.

Простая мудрость, высказанная Егором Петровичем, понравилась Родиону Степановичу, и его выступлением он закрыл совещание, оборвав его, как полагал, на самом сильном месте, чтобы осталось впечатление.

«Незначительный мужичонка, а всегда нужен при ударе», — думал Родион Степанович по поводу рассказа о венике, идя вечером домой.

Напившись чаю, Родион Степанович сел за письменный стол, дабы разработать «проект плана по превращению Центроколмасса из учреждения российского значения в Центроколмасс всесоюзного масштаба».

«Центральное управление по рационализации маломощных хозяйств, — начал он, титулируя учреждение, — имеет своей целью переустроить коренную индивидуализацию деревни, вплоть до подведения под нее рельс коллективизации»...

«...Углубить и расширить работу», — начал Родион Степанович с нового абзаца и приостановился, приподняв голову. «Что значит углубить? — подумал он. — Я наглядно этого углубления не представляю. Можно яму сделать глубокой, река, море могут быть глубокими, но как же в самом деле углубить работу в учреждении? Еще вширь я понимаю, — всесоюзный охват. Нет, зачеркну я слово углубить». Но припомнив, что комиссия рабоче-крестьянской инспекции предложила именно работу «углубить», Родион Степанович этих слов не вычеркнул и продолжал писать.

Значение слова «аппарат» Родион Степанович уяснил точно и сейчас же себе представил пятиэтажное здание Центроколмасса. Оно как-то вырисовывалось на чистом фоне крупным планом, и сотни нитей связывали его со срединными звеньями. Затем срединные звенья связывались со «звеньями низовыми», опутавши все пространство паутиной проволоки, как это делается на схемах.

«Но где же пунктир, обозначающий косвенное влияние?» — подумал Родион Степанович и, путаясь воображением в нитях, связывающих между собой срединные звенья с низовыми, с испуга закричал вслух:

— Боже мой! Да это не связывающие нити, а цельные проволочные заграждения.

— Что с тобой? — спросила жена, не отрываясь от работы, а Родион Степанович, опамятовавшись, продолжал писать:

«Аппарат Центроколмасса по своей структуре, подбору работников и размаху перерос ресефесерское значение и может управлять не только во всесоюзном масштабе, но и в общеевропейском, если во-время подоспеет революция».

«В чем же заключается сила аппарата?» — начал Родион Степанович писать и снова остановился, чтобы обдумать, в чем же в самом деле есть сила аппарата.

Выйдя из обычной колеи официального доклада, Родион Степанович философствовал:

«Ныне нет варварского обычая — он истреблен величайшим актом цивилизации, совершившимся в силу революционных завоеваний. Чего же проще и нагляднее: здесь, в столице, на эластичной пишущей машинке, прелестными руками пишется под диктовку или же с черновика циркуляр, разъясняющий значение и цели. Лист закладывается в конверт, относится на почту, с почты — на железную дорогу. Адресат читает и выполняет волю, предначертанную центром. Это ли не великий акт цивилизации? Но этого мало. Ныне к услугам людей появилось радио». На этом месте Родион Степанович остановился и подумал о том, является ли в самом деле радио достижением техники и целесообразно ли им пользоваться в административных целях? «Нет! — решительно отверг он. — Радио воспринимается на слух, а циркуляры должны быть не только запоминаемыми, но и зримыми. По радио нельзя передать справки, ибо к эфирному пространству печати не приложишь». И Родион Степанович вычеркнул слова, упоминающие о радио как о культурном достижении.

Оставив незаконченной философскую запись, Родион Степанович стал размышлять о практическом проведении намечаемого плана. «Всесоюзный Совнарком хотя убедить и трудно, однако некая возможность есть».

«А если Совнарком не разрешит?» — вдруг опять всплыл неожиданно вопрос.

Обмозговав все до тонкостей, каким образом обойти Совнарком и планирующие органы, Родион Степанович стал придумывать, как перехитрить украинцев.

«Предварительно наметить съезд Всеукколмасса, а на съезд выпустить тяжелую артиллерию». В качестве «тяжелой артиллерии» он выдвигал себя и Егора Петровича. Мысль о выдвижении Егора Петровича очень понравилась Родиону Степановичу. «Мужчина плотный, бородой внушительный — может простым словом убедить крепче, чем теоретическими доводами».

И вот Родиону Степановичу кажется, что Егор Петрович выступает на всеукраинском съезде. Голос его мощен и зычен. Он снова говорит об отце, повелевшем сломать завязанный веник. Родиону Степановичу уже кажется, что отец развязал веник и дает сыновьям отдельные прутики.

Прутики трещат, ломаются. Речь Егора Петровича убедительна, и зал дрожит от излишних аплодисментов.

Но он все же решил временно оставить писание проекта, дабы осветить предварительно вопрос в прессе в порядке дискуссии. И, зачеркнув весь написанный текст, Родион Степанович, желая вложить глубокий смысл, начал писать статью и вывел заголовок: «Углубленное углубление».

## XII. На подножных кормах.

Наша жизнь терпелива как дратва, ее наващивают прежде чем протащить сквозь узкую щель.

*Я. Раков—Мыслитель восьмидесятых годов.*

Что нового произошло в жизни Егора Петровича? На «новый год», когда были подведены некоторые итоги и скромный центроколмассовский журналист оргтдела, открывая новый исходящий журнал, поставил единицу как порядковый нумер, — деятельности Егора Петровича на новом поприще государственного охвата исполнилось шесть месяцев. В тот самый день он снял с себя замызганный кожух и одел черную дубленую шубу, присланную из деревни. И войдя твердой походкой в день нового летоисчисления в свой кабинет, он, как никогда, почувствовал прочность служебного положения.

Однообразные стены, длинные коридоры, вереницы спешивших куда-то людей уже не вызывали того любопытства, как это было, казалось, только вчера. Бумаги, перечитываемые им с тем же усердием, не вызывали каких-либо размышлений, — ибо туманность их содержания рассеялась, и наступил какой-то ослепительный свет, сделавший и темные пятна прозрачными. И он, как и многие, говорил о ясности, не уяснивши ее разумом.

С нового года, по утрам, к квартире Егора Петровича подавали машину. Машина, стрекоча мотором, возбуждала любопытство Егора Петровича, ибо ее сложный механизм регулировался нажимом соответствующих рычагов, а этого простого способа он и не мог постигнуть.

Когда он сидел в машине и несся по улице, встречный ветер раздувал его широкую бороду, обжигая холодом лицо. Быстрая езда опьяняла его рассудок, и он чувствовал себя пребывающим на лоне большой государственной возвышенности.

«Вот бы мужики турчаниновские увидели?» — думал он, придавая внешности горделивую осанку и проникновенный соображениями государственной важности вид.

И Егор Петрович часто, с высоты птичьего полета, рассматривал собственный пройденный жизненный путь. Его постоянные стремления были весьма узкого свойства: крепко стоять на коренных ногах, с бережливой расчетливостью и хозяйственной выгодой. «Чем был крепок наш

бричкинский корень, давший много отростков?» — задавал он не один раз себе подобный вопрос и тут же находил соответствующий ответ: «Бричкинский корень не выдернут потому, что в подпочвенность проникнут глубоко, и не впрямь, а извилинами».

И нельзя не согласиться с выводами Егора Петровича: его отдаленный предок, представший впряженным в собственную рыдвань «пред светлые очи грозного царя», как искусный актер, внешне выявил покорность и преданность, как бы с радостью отдавая собственное добро. Чем бы иначе он мог предотвратить царский гнев, обернув его на милость?

Чем же бричкинский род выделялся среди остальных турчаниновских мужиков? — Стремлением к личной обособленности и хозяйственной независимости.

Унаследовав от предков не только надворные постройки, живой и мертвый инвентарь, но и практическое мышление, Егор Петрович вступил в полосу личного хозяйствования прочной подошвой. И если почти все предки оставляли заметный след в четырехсотлетней родословной, то и на долю Егора Петровича выпала эта роль.

Соседи полагали, что Егор Петрович, прибыв с военной службы, во вновь отстроенном каменном здании откроет мелочную торговлю, как лицо, отвыкшее уже от крестьянского труда. Но они глубоко ошиблись: Егор Петрович не только не открыл торговли, но и осуждал торговый класс как некогда изгнанный Христом посредством бича из храма. На сей предмет у него с лавочником Филоном не раз происходил крупный разговор, доходящий иногда до драки.

— Христос твой был деспот, он дрался бичом, — хрипел тщедушный Филон под грузной тяжестью Егора Петровича.

Праздничными днями Егор Петрович ходил в церковь, нацепляя на грудь две начищенных до блеска бронзовых медали, полученных в честь каких-то воинских столетий, и значок за отличную стрельбу. Подходя к свечному ящику, он покупал несколько пятикопеечных свечей, опоясанных золотом, зажимал их между пальцами левой руки и, прижимая руку к груди, продирался вперед, беспрерывно крестясь, чтобы обратить на себя внимание всех.

Осенью Егор Петрович в вечернее время засел за грамоту, чтобы изучить простую арифметику, чему еще он не научился ни у дьячка, ни у офицерской жены. Дабы не подозревали соседи, что столь умный человек безграмотен, он учился у своего тринадцатилетнего племянника, сына отделенного брата, окончившего сельскую школу. И чтобы мальчик не разболтал, Егор Петрович платил ему не за уроки, а за понедельное молчание: за первую неделю — гривенник, за вторую — пятиалтынный, доводя таким образом общую сумму платежей до одного рубля.

Мальчик добросовестно выполнил возложенные на него обязанности, хотя и полного вознаграждения за труды не получил: платеж Егор Петрович довел только до сорока пяти копеек, да и то десять копеек выдал постом, когда мальчик говел, а Егор Петрович в то время был уже ктитором.

— Ты же вот сам теперь торгуешь в храме, — упрекал Егора Петровича лавочник Филон.

— Дурак, — отвечал Егор Петрович, — я не торговец, а носитель божественного благовония, как жены-мироносицы. А ты, болван, кудрон да воблу астраханскую продаешь.

Дробный и тщедушный Филон, продавший когда-то лошадь и корову и открывший мелочную торговлю, — с целью накопить денег, чтобы отправиться в землю Христофора Колумба, книжку о котором он прочитал в детстве, — боялся Егора Петровича и не высказывал мысли до конца.

— Мне что, — заискивая говорил он, — мне бы только в Новый свет добрести.

Но Новый свет, однако, отдалялся от Филона: от непривычки к торговым делам он постепенно проживался и ежегодно добавлял к торговым оборотам денежные средства, полученные от сдачи душевых наделов земли. Землю его снимал Егор Петрович за полцены и постоянно трунил:

— Что же? Твою душевую землю — старую, стало быть, — снимаю, а ты поезжай на новые земли.

— Сволочь! Гадина! — кричал ему вслед Филон, получивши уже деньги.

— Что? — вопрошал Егор Петрович, останавливаясь в дверях, сдвигая брови.

— Ась? Я ничего, — понижал тон Филон из-за боязни быть избитым.— Я ничего. Я вот говорю, — хорошо вам на подножных кормах-то.

— То есть как на подножных кормах? — вопрошал Егор Петрович уже улыбаясь.

— А так-с, как скот-с. Зимой стоит на кормах готовых-с, не работает и тощает, а летом на подножном корму, работает и жиреет.

«Прав, сукин сын! — думал Егор Петрович, уходя домой. — Подножные корма сытнее, даром что рука человеческая не касается их: луговые угодия, лесная поросль, ковыльная степь — дар природы...».

— Подножные корма! — произносил он иногда вслух и хохотал. — Хоть и мозгляк, дьявол, а умен, — добавлял он по адресу Филона.

«Что значит подножный корм? — думал он. — Это значит: я сижу на старом корне. Мой корень — землепашество. И не сойду с этого прочного корня. Но у меня есть подножный корм. Ха-ха-ха... Я — ктитор... Подножный корм... Корм». — Грехи твои, господи! — произносил Егор Петрович вслух и крестился на образа.

Но ктитором Егор Петрович пробыл только два с половиной года: подоспела русско-германская война, и он был мобилизован. Оставляя на жену хозяйство, к коему в результате ктиторства прибыло кое-что из живого и мертвого инвентаря, он давал жене строгий наказ:

— А ты, баба, веди хозяйство по-разумному: не гнушайся мелкими делами, коль крупных нет. Попадет что за бесценок — не упускай. Война много нужды людям принесет, и будут они метаться из стороны

в сторону. Тут-то, в этой суете, и можно поживиться. А хороший человек и на войне не пропадет.

Егор Петрович действительно остался невредимым: пребывая, как и на действительной службе, в денщиках, он умело угождал офицеру, доставая ему еду совершенно на голых полях.

— Много ли барскому детенышу надобно, — говорил он льстиво офицеру, доставал из походного ларца лыдку курицы, сажая его таким образом на порции, чтобы растянуть курицу на несколько дней. — А вот пупочек — настоящая господская еда, — выдавал он порцию на другой день.

Офицер был занят своими мыслями — думал об окопах, в которые ему надо завтра итти, и об оставленной дома невесте.

— Лилечка! — восклицал на стоянках офицер и в свои любовные дела посвящал денщика.

— Как можно — барская любовь, что пряник: скусна и с души не воротит, — сочувственно отвечал офицеру Егор Петрович, удивляясь в душе над тоскующим офицером, ибо сам Егор Петрович принимал любовь не как чувство, а как реальную пользу и физическое удовлетворение. — Об этом вспоминал он, сидя в автомобиле, отъезжая на какое-то совещание.

Оглушительный выстрел привел его в беспамятство. Казалось, весь разрушившийся мир обрушился на его голову. Но когда очнулся, он догадался: лопнула камера, ибо у машины суетился шофер.

## XIII. Отзвуки прошлого.

На торной дороге трава не растет
*Поговорка.*

Письмо Автонома вызвало обстоятельное беспокойство: оно волновало Авенира Евстигнеевича, стремившегося логическим мышлением погасить навязчивые думы о нем. «Рассудок обязан победить чувствительность как классовую надстройку», — решал он и снова же возвращался к думам о незнакомце, покончившем самоубийством.

«Смешно, ей-ей смешно, — утешал он себя, — самоубийством из-за бюрократизма». Авенир Евстигнеевич силился рассмеяться, но выходила лишь неестественная улыбка. Правда, через минуту он хохотал, но хохот этот относился скорее всего к собственной неестественной улыбке.

«Бюрократизм — принадлежность государственности, вернее — государственного аппарата. Аппарат должен работать с точной четкостью», — раздумывал Авенир Евстигнеевич, запоминая чьи-то ничего не говорящие разуму слова. Само слово «аппарат» — в применении этого слова к учреждению — не один раз смущало его. Будучи токарем по металлу, он привык мыслить об аппарате как о вещи механического свойства.

«Возможен ли бюрократизм в машине? — Нет, — решил он, — если загораются подшипники от недостачи масла, то машину надо остановить».

Авенир Евстигнеевич силился не задерживаться на подобных вопросах и не доводить их до логически-последовательного конца. Но стоило лишь отогнать мысль о машине, как вставал вопрос о письме Автонома. «Должно быть в самом деле этому человеку был и смешон и страшен бюрократизм», — заключил Авенир Евстигнеевич и как-то невольно вздрогнул.

— Что, стало быть, и я напугался, — проговорил он вслух, — а ведь я не был человеком трусливого десятка: не в похвальбу сказать, под грохотом снарядов стоял и имел спокойствие, сморкался в руку.

О своем детстве Авенир Евстигнеевич не любил рассказывать, ибо на его взгляд ничего замечательного в нем не было. Он рос в рабочей семье (сын литейщика), имевшей местожительство в рабочем поселке. Коксовая пыль покрыла толстым слоем поселковые площади, и растительность на улицах была чахлой. Дым заводских труб прокоптил рабочие убежища, подводя их под цвет вороненой стали. Воздух, отравленный гарью и запахом кузнечного угля, щекотал в ноздрях у проходивших по улицам, вызывая поминутно чох.

Литейщик Евстигней Семенович — отец Авенира, — любивший вечерами в праздничные дни пить черное кофе, водил с собою сына в поселковую кофейню под названием «Чары и грезы», чтобы посидеть на крылечке за столиком, на «лоне чахлой природы», как называл это крылечко сам Евстигней Семенович. Следовало Евстигнею Семеновичу подмигнуть левым глазом да приподнять мизинец правой руки, как на стол подавалась лимонадная полбутылка, наполненная водкой. Под видом прохладительного напитка Евстигней Семенович употреблял это зелье, а затем запивал его черным кофием, чтобы уничтожить запах.

Евстигней Семенович, идя в «Чары и грезы», брал с собой сына обдуманно: в трезвые места позволяла ходить жена, пилившая его деревянной пилой за открытую выпивку. Если же он шел с сыном, то жена верила в его трезвые намерения. Таким образом Авенир с двенадцати лет разделял участие в собутыльничестве в равномерной с отцом пропорции, сообразуясь с соотношением возрастов. С того же времени он научился хранить тайну и от матери, за что и был любим отцом.

Отец не пожелал, чтобы сын приобрел его специальность, — ибо, по его мнению, литейщик гнет спину троекратно: при отсевании и рыхлении почвы, на формовке, сидя на корточках, и на розливе плавленного чугуна по формам.

— Поэтому-то и нет литейщиков, статных по корпусу, — говорил он сыну, — а человек со статным корпусом дальше видит, прямее идет и быстрее побеждает...

Авенир в то время не понимал мудрости отцовских слов, а о статности корпуса думал лишь только в том направлении, чтобы нравиться девушкам.

На шестнадцатом году жизни Авенир почувствовал себя как-то по-иному: в его жилах заиграла какая-то новая кровь, согревающая

молодое тело, придавая ему бодрость и стройность. От прилива крови на работе часто кружилась голова и лицо становилось красным.

— Спустить кровь надо, Авенирка, — говорил ему токарь Лобков, весьма серьезный человек, у которого Авенир приобретал квалификацию, будучи в подручных.

В один из праздничных дней Авенира потянуло в лес, где он, оставаясь до самого вечера, впервые в жизни почувствовал огромную любовь к природе, открывшейся для него каким-то новым миром. «Люди изнывают в жалких конурах, пропахнувших плесенью, обвешанных паутиной, — думал он, — а здесь необъятный охват красоты и пространства, свежее дыхание природы и покой».

Среди недели по какой-то неважной причине он не вышел на работу и с большой радостью опять направился в лес. Но в этот день природа не казалась ему привлекательной. Его тянуло на завод, к станку, к его равномерному движению. Он подумал, что правильное в жизни только то, что движется посторонней силой и механическим свойством:

«Ну да, червячный винт не может подать вал на полмиллиметра больше: механике свойственна точность». И супорт, и его собачка и ползун — все это были вещи, движущиеся равномерно, для которых нет другого закона. «А что означает чувство человека? Вчера я здесь, на этом месте, ощущал красоту, — ныне пришла боязнь и скорбь. Стало быть чувствительность — вещь весьма не усовершенствованная».

Думал над этими вопросами Авенир долго, скрывая думы от всех, — как бы не посмеялись товарищи и старшие. Он и не догадывался, что и товарищи по возрасту и старшие с малых лет думают над теми же вопросами и не могут их разрешить.

Долгие и мучительные годы войны обнажили этот вопрос, но каждый обходил его сторонкой, чтобы не бередить и чужих и своих ран, да и не попасть под подозрение.

Авениру шел двадцать четвертый год, и он, как и многие его товарищи, заглушал в себе чувство возмущения, ожидая поры и времени.

Февральская революция принесла некоторые изменения: возмущаться была просторная возможность, изливать чувства можно было без конца.

В Октябре Авенир взял в руки винтовку. Бродя по грязным поселковым улицам, он мозговал, что применить-то винтовки и не на чем. На углу одной улицы он увидел трепавшийся от ветра клок бумаги, приклеенный одним концом к стене. На клочке Авенир прочитал: «Голосуйте за список партии народной свободы». Зло обуяло Авенира, и он штыком сорвал этот лоскут бумаги, разорвав его в мелкие клочки. Сим актом он и вступил в преддверие гражданской войны. Но в настоящую гражданскую войну он не вступил с винтовкой.

— Винтовка — оружие кустарное, — говорил он.

В гражданскую войну он был артиллеристом, предпочитая этот род оружия по весьма основательным мотивам.

— Гражданская война, — говорил он, — тоже своего рода кустарничество. С одной стороны, кустари, и с другой — кустари. И вот, когда в кустарную цепь пехоты выпустишь крупное производство — большой снаряд, кустари не выдержат конкуренции.

Авенир, будучи командиром и комиссаром дивизиона, старался как можно скорее, первым произвести по вражьей цепи артиллерийский выстрел.

— Да вы же обнаруживаете себя артиллерии противника, выбирая позицию на пригорке! — говорили ему военные спецы.

— Ничего, — отвечал он невозмутимо, — нужно первыми выстрелить, а тогда по нас стрелять будет некому. В гражданской войне не бой важен, а острастка.

В таких случаях Авенир всегда оставался правым. Теперь, припоминая слова из письма Автонома: «я горел да обуглился», Авенир думал о себе и о своей роли в борьбе с бюрократизмом: «Неужели, чорт возьми, и я уже обуглился, и больше не буду гореть, а лишь истлею?»

Уходя в прошлое, он вспоминал о начале своей работы в советском учреждении, куда пришел он после фронтов. Он перебирал факты, которые могли бы уличить его в формальностях, косности и бюрократизме. И в его воображении возникло много проходивших мимо дел.

Авенир припомнил случай: когда он работал в земельном органе губернского масштаба, к нему пришла старушка, опираясь на палку. Она просила лесу ввиду бедности и стихийного бедствия: у нее сгорела изба. Авенир посмотрел на старушку и уже принялся было писать записку о бесплатном отпуске леса, как его отозвал заведующий — Авенир был его зам.

— Удостоверение о пожаре имеешь? — спросил у старушки заведующий.

— Какое удостоверение, родимый? Пожар был, вот на мне платок, он даже обгорел, посмотри вот, — и старуха показала концы теплого платка, который действительно чудесным образом спасся от пожара: его вытащили багром через окно, когда концы его уже охватило пламя.

— Притворяется, — сказал тогда заведующий Авениру тихонько на ухо. — Хитрые, бестии, — они тебе такую белиберду наговорят...

Авенир промолчал, считая заведующего формально правым, но по существу нет.

— Нет, без удостоверения не можем выдать, — сказал заведующий.

А старухе надо было возвращаться за сто верст, чтобы принести удостоверение.

На второй день старуха пришла опять, и Авенир отрезал концы обгорелого платка старухи для приложения как оправдательного документа — лес ей отпустил.

Дело обнаружилось примерно через год. Пришла комиссия, которая нашла эти обгорелые концы среди бумаг. Комиссия посмотрела на это дело, как на курьез и, все же, сказала:

— Нет, это не законно-с, всякий хлам к бумагам государственной важности приставлять. К тому же кто поверит обгорелым кускам тряпки? Может быть, скажут, вы в печке сами эти тряпки обожгли...

## XIV. Центробежная сила.

Между моим языком и цепельником нет никакой разницы: они оба на привязи и оба болтаются.

*Кузьма Ащеулов, Встреноженный конь.*

Подготовительная работа к восприятию Центроколмассом всесоюзного масштаба протекала ускоренным темпом: каждый служащий, успокоенный за собственную судьбу (при расширенном масштабе не может быть и речи о сокращении), отдавался делу с особой любовью и нежностью. Делопроизводитель Тряпочкин, посоветовавшись с заведующей бандерольными отправлениями Таней Сверчковой — дамой положительной и доброкачественной по внешности, — решил заблаговременно приобрести «карты административного деления автономных республик», чтобы на первых же порах безошибочно рассылать новым адресатам надлежащее руководство. Но в Москве необходимых карт не оказалось, и Тряпочкин, заготовив сотню штампованных бумаг однообразного содержания, начинающихся словами: «по встретившейся надобности» и заканчивающихся: «соблаговолите выслать в наш адрес», разослал бумаги по всем столицам автономных республик, включая Кзыл-Орду и Чебоксары.

Таня Сверчкова приобрела «полное расписание почтовых пунктов с поверстным указанием отстоящих пунктов от водных и железнодорожных путей, а равно и грунтовых трактов».

Петр Иванович Шамшин, радовавшийся больше других, не расставался с телефонной трубкой. Он буквально повис на телефонном аппарате, беспрерывно созваниваясь с типографиями. К нему приходили агенты почти всех типографий, раскладывали образцы шрифтов, рекомендуя различные гарнитуры. Но к великому прискорбию Петра Ивановича ни одна из типографий не могла выполнить полностью его заказа. Петру Ивановичу были нужны новые бланки на шести языках, обусловленных всесоюзной конституцией, а типографии не имели шрифтов национальных меньшинств. По окончании занятий Петр Иванович заходил к Егору Петровичу, составлявшему уже второй месяц для убедительности правительства «особое мнение практического работника о целесообразности организаций всесоюзного охвата». Петр Иванович дружески трепал его по плечу.

— А-а! Каково? Вот тебе и фунт изюма.

— Н-да, — соглашался Егор Петрович и тут же вычитывал цитаты, собственноручно начертанные: «По моему мужицкому разуму, объединяющее начало приведет страну к благим начинаниям в деле созидания хозяйств, поставленных на правильные рельсы, во всем объеме».

— Ты побольше. Побольше про этот самый объем! — внушал Петр Иванович. И слезинку малость подпусти...

— Насчет слезы не учи, знаем, — отвечал Егор Петрович. — Слезу мы так подпустим, что одно мокрое место станет. — И Егор Петрович читал о слезинках: — «Жены и матери наши плакали, когда мужей и сыновей брали на войну. А почему они плакали? Некому было их кормить, а голодному человеку как не плакать».

— Во! — одобрял Петр Иванович. — Настоящая слеза! Только надо бы немножко пожалостливее.

Очень оживились инструктора — говорили, спорили, — но каждый держал друг от друга затаенные помыслы: зима уже была на исходе, а ведь каждый бы не прочь поехать первым в командировку на новую южную периферию, и молчаливые втайне завидовали многоговорящим. Служащие отдела рационализации разрабатывали пятьсот форм малого формата, именуемых под общей рубрикой: «формы рационализации индивидуальных умственных способностей и самопроизвольных явлений».

Инструктор-рационализатор Смычков в виде опыта разработал форму «наглядных таблиц» с разветвленными каналами товаропроводящей сети, расходящимися от центра и охватывающими радиусом всю периферию. Таблицы предполагалось приготовить из металлических пластинок с обозначением на них пунктов и механическим передвижением точек.

— Тогда вся работа будет на виду, — доказывал Смычков.

Пятьдесят две машинистки машинописного бюро единогласно записались во вновь организующийся «кружок по изучению украинского языка», чтобы при случае не оказаться профанами. И даже молчаливые курьеры потребовали запасной прозодежды, напугавшись, что теперь их будут гонять пешком по всесоюзной периферии. Лишь одни члены месткома были более-менее спокойны, так как сфера их влияния имела лишь внутрицентроколмассовское значение, хотя бы учреждение было всемирного масштаба.

Но больше всех, разумеется, был озабочен Родион Степанович: он согласовывал вопрос в Малом совнаркоме, прорабатывал материалы для госплана, писал частные письма «для нащупывания почвы», докладывал правлению о «ходе дела», «зондировал» почву в партийных кругах.

В свой кабинет он приходил к двум часам дня, бросал на стол портфель и хватался за телефонную трубку. Когда в учреждении кончались занятия, он не уходил из своего кабинета. К нему являлись два чертежника, и они общими усилиями составляли схемы будущего Всесоюзного Центроколмасса, со всеми отделениями, обозначающимися кружком или же квадратом, смотря по значимости. Когда схемы были исполнены и окончательно прикреплены к стене, рядом со схемой «примерной деревни» Родион Степанович почти целый час любовался на них как на собственное детище. Но вдруг какая-то новая мысль осенила его, и он хлопнул себя по затылку:

— Дурак! Не догадался!

Утром он вызвал двух художников и заказал им новую схему. По новой схеме каждое отделение должны изображать люди различных национальностей, которые жительством преимуществуют в том или ином районе. Причем фигуры людей в своем росте должны соблюсти численную пропорцию данной национальности.

Когда заказ был сдан и художники покинули стены кабинета, Родион Степанович упал от изнеможения в кресло и вздохнул освобожденной грудью.

— Слава аллаху, теперь все в порядке!

«Слава богу» — он не упоминал сознательно, заменив его «аллахом» как бы из уважения к религиям малых народностей.

И вот — в тот самый день, когда художники покинули кабинет Родиона Степановича, — пришел Авенир Евстигнеевич. Родион Степанович, будто бы предчувствовал какую-то беду (не зря, чорт возьми, ревизоры приходят в учреждения), слегка вздрогнул и, дабы «ревизор»,— как сокращенно называли Авенира Евстигнеевича центроколмассовцы,— не заметил смущения, он протянул Авениру руку.

— Что пригнало в наши столь отдаленные палестины?— справился Родион Степанович, стараясь придать голосу шутливый тон.

Авенир Евстигнеевич ответил не сразу: он вопросительно окинул взглядом центроколмассовского заворга, как бы стараясь проникнуть в неизвестные тайны, углубившиеся где-то в душевных тундрах. Так свойственно смотреть только «ревизорам» да лицам, постигающим одним взглядом чужие тайны, чтобы раз навсегда определить: «подлец человек этот или его душевные качества носят благонамеренный характер».

Родион Степанович ощутил этот взгляд, именно взгляд пытливого «ревизора», которому суждено прощупывать и иметь личные суждения об индивидууме на предмет его дальнейшего поведения или пребывания в той или иной должности.

«Ну, что же, — решил Родион Степанович, — ты хочешь узнать. А не угодно ли посмотреть обратную сторону медали? Мы уже знаем вас, молодой человек приятной наружности-с».

И оба они поняли друг друга, хотя и повели разговоры в благопристойных тонах, даже справившись поочередно друг у друга о здоровьи и новостях.

Родион Степанович не ошибся: Авенир Евстигнеевич прибыл проверить, в какой мере осуществлены предложения комиссии, да проработать кое-какие материалы, вызвавшие у Авенира сомнения. Родион Степанович понял, что снова весь орготдельский аппарат должен будет обслуживать «ревизора», да и сам Родион Степанович оторвется от столь насущного и спешного вопроса, как организация Центроколмасса всесоюзного масштаба. Это больше всего не понравилось Родиону Степановичу, хотя он и не подавал виду. «На глазах противника надо казаться хладнокров-

ным, — думал он, окидывая веселым взором Авенира. — Пусть-ка попробует взять нас голыми руками».

Объявив о своих намерениях, Авенир Евстигнеевич распрощался и, пообещав прибыть завтра в урочный час, обусловленный началом занятий в учреждениях, вышел.

Весенний воздух освежающе пахнул в лицо, обжигая каким-то юношеским задором, опьяняя пылкой взволнованностью горящей крови, приступавшей к голове.

Он шел по Никольской улице, решив пройтись, чтобы проветриться.

«Вот еще чудак — застрелился, — думал Авенир об Автономе, — а жизнь-то как хороша!..

Самоубийство от бюрократизма, — Авенир при этих мыслях силился улыбнуться, но улыбка не получалась. — А не стал ли бюрократом и я? — задавал он вопрос. Не чужды ли в самом деле моему классу такие слова, как «надлежащие мероприятия»? — думал Авенир. — Да. Машине чужд бюрократизм. Не потому ли меня и поныне тянет к токарному станку?»

На Никольской улице Авенир приостановился у магазина утвари. Он часто видел этот магазин, но не обращал на него внимания. Сейчас в окнах он увидел то, что видел и раньше, но это было для него чем-то потрясающим. В витрине окна была выставлена церковная утварь вместе с утварью революции. Церковная дарохранительница нашла мирное соседство с советским гербом, а церковные хоругви — с красным знаменем.

Авенир ринулся к окну, приподнял кулаки, но быстро их опустил. Проходившие люди на минутку приостановились, а затем побрели своей дорогой.

Авенир также пошел домой, но весьма удрученный. «Сколько глупостей еще впереди! — подумал он. — Торговля церковной и революционной обрядностью нашла свое совместительство. Чего только мы ни окрасили в красный цвет! Даже один завод называется «Красный Перун». А ведь Перун — идол».

## XV. О подорванном авторитете.

Языком мели, а рукам воли не давай,— ибо язык твой без костей: он не причинит физической боли.

*Ек. Холодная, Сумерки моей юности.*

В тот день, когда Авенир Евстигнеевич возобновил обследовательскую работу в Центроколмассе, с Петром Ивановичем произошел несчастный случай: узнав от сослуживца о новом, дополнительном пребывании «ревизора» в учрежденских недрах, он был охвачен каким-то непонятным ужасом. Со страха его тело как-то натужилось, и у него лопнули подтяжки. Брюки, имевшие в объеме запас на случай накопления жира, мгновенно сползли почти до колен. Оторопевший Петр Иванович не знал, что

делать, и простоял в сем неприличествующем положении несколько секунд, пока до его уха не донесся отчетливо смех сослуживцев. Час спустя рыжая делопроизводительница, к которой Петр Иванович питал сверхестественные чувства, слегка хихикая, напомнила:

— Петр Иванович, — сказала она, — каким образом вы уронили авторитет?

Петр Иванович вначале не понял этого тонкого намека, но, догадавшись, покраснел и без особой надобности ощупал пояс брюк и оправил его. Петр Иванович почему-то предчувствовал, что такие обстоятельства могут принести омрачение в будущем. Предчувствие не обмануло его: Авенир Евстигнеевич в тот же день потребовал немедленного механического сокращения лиц, которые после первого акта комиссии зачислены в служебный резерв. Родион Степанович протестовал, звонил куда-то по телефону, но Авенир Евстигнеевич показал специальное отношение, подписанное влиятельным товарищем о «немедленном проведении в жизнь всех вышеуказанных мероприятий».

Так как в предписании не было указано конкретно о «вышеуказанных мероприятиях», то Родион Степанович и на сей раз перехитрил «ревизора»: он провел сокращение только тех служащих, которые часто попадаются на глаза «ревизора». В число этих лиц попал и Петр Иванович, правая рука Родиона Степановича. Этим актом Родион Степанович хотел сказать, что распоряжение влиятельного товарища он выполняет беспрекословно, однако за дальнейший ход работы снимает с себя всякую ответственность. Родион Степанович пообещал принять Петра Ивановича вновь ровно через месяц, когда последний израсходует выходное пособие. К тому времени, — заверял Родион Степанович, — очень ощутится в оргготделе отсутствие Петра Ивановича.

Петр Иванович, хотя и ощущал некую дрожь, однако верил словам Родиона Степановича — столь авторитетного начальника, в подчинении коего он прослужил несколько лет. И, проникнутый чувством особой благодарности к заботам начальника, Петр Иванович был даже до некоторой степени обрадован: ему хотелось отдохнуть, ибо рыжая делопроизводительница напоминала каждый день об «уроненном авторитете», что угнетало его.

Таким образом из предназначенных к сокращению шестисот человек Родион Степанович сократил всего пятнадцать. Проводить постановление полностью Родион Степанович считал глупостью, полагая в ближайшие месяцы иметь всесоюзный масштаб, когда штаты могут быть увеличены на пятьдесят процентов.

Авенир Евстигнеевич углубился в изучение вопроса о росте нагрузки на одного служащего, перенося тяжесть работы в плановый отдел и бухгалтерию.

Авенир Евстигнеевич, решивший самостоятельно проверить цифры, не доверившись больше бухгалтерам-ревизорам, обнаружившим неправильную запись в шесть копеек, работал в бухгалтерии уже больше недели.

— Что он ищет? — задавали вопрос бухгалтера и удивлялись.

Через два дня Авенир Евстигнеевич, выступая на общем собрании служащих Центроколмасса по вопросу «о причинах вторичного обследования и о результатах его», старался демонстрировать результаты фигурально, якобы для большей убедительности. Приседая на-четвереньки, Авенир Евстигнеевич старался изобразить дойную корову, каковой, по его мнению, является Центроколмасс, а затем чмокал губами, как бы сося коровьи сиськи, как — он указывал — сосут центроколмассовцы.

— И не только сиськи сосут, — добавил он, — но и коровий хвост.

Центроколмассовцы, сидевшие доселе спокойно, зашевелились и задвигались на стульях, поднимали руки вверх, наперебой просили внеочередного слова. Они все считали долгом высказаться, ибо была задета личная честь каждого. Дамская часть собрания отплевывалась, как будто в самом деле каждая из дам только что оторвала крашеные губы, сложенные бантом, от коровьего хвоста.

Авенир Евстигнеевич, увлеченный фигуральным демонстрированием, не слыша председательского звонка и не замечая общего возмущения по его адресу, готов был ползать на животе, дабы наглядно показать передвижение товаров по периферии.

За поруганную честь центроколмассовских служащих и ответственных работников выступил Родион Степанович, давно ощущавший необходимость на арене словесной борьбы померяться силами с «ревизором» — человеком, по его мнению, не обладающим большим умом. Родион Степанович поднялся на трибуну, и весь набитый людьми зал ему зааплодировал, выражая таким образом полное одобрение защите коллективно-ведомственной и индивидуально-нравственной чести. Сдерживая наплыв чрезмерных чувств, Родион Степанович проглотил глоток воды для охлаждения разгорячившегося разума и только теперь ощутил присутствие центроколмассовских масс, проникнутых единой волей — устами Родиона Степановича положить «ревизора» на обе лопатки.

— Товарищи! — сказал Родион Степанович. — Что значит наше учреждение? Сложная машина, с массой шестерней и шкивов, двигающихся приводными ремнями. Центробежная сила находится здесь в центре. Эта сила развивается, шестеренки цепляются зуб за зуб и вращают различные малые аппараты, отстоящие от нас далеко на периферии. Машина наша регулярно двигается, и пульс ее биения равномерен. А кто есть вы? Вы — те маленькие винтики, необходимые в сложном механизме. Вы помните, когда на занятия по болезни два дня не выходила наша всеми уважаемая заведующая отправными бандеролями, аппараты на местах не ощущали силы и не вращались. Значит центробежная сила развивалась вхолостую — без нагрузки. Вот насколько было вредно отсутствие отдельного винтика в аппарате. А что делает наш «достопочтимый ревизор»? Он уже вынул из машины цилиндры и хочет совершенно разрушить аппарат.

Взрыв аплодисментов прервал речь оратора, и его охватило какое-то блаженное сладострастие. Родион Степанович спустился с трибуны и растворился в массе. Центроколмассовские дамы устремили на него взгляды, полные благородства, и Родион Степанович принял эти взгляды с любовью. Он уронил взгляд вниз, дабы придать внешности особый вид благородства и застенчивости.

За Родионом Степановичем для решительной схватки выступил Егор Петрович, чтобы осадить противника простыми словами, как снарядом, выпущенным из гаубицы. На этот раз он не обмолвился о венике, а рассказал некую притчу о спице, выпавшей из колеса.

— Ободок колеса не выдержал грузной тяжести — переломился, — пояснил Егор Петрович. — И вот будто бы не мудрая штука, а при своем месте нужная...

Центроколмассовцы составили дело о подрыве «ревизором» учрежденского авторитета и направили его по надлежащим инстанциям. Однако Родион Степанович потерял прежнюю энергию функционировать, считая возможным приступить вплотную к работе только после реабилитации. Родион Степанович не мог принять Петра Ивановича вновь на службу, хотя положенный месяц уже прошел.

— Не могу, Шамшин, — говорил он ему, — пока не победим наших недоброжелателей, не могу.

Прождавши еще месяц, Петр Иванович решил испытать счастье в деле частного порядка — открыть мелочную торговлю. Но продумав все до конца и чтобы не попасть в дальнейшем в разряд частников, Петр Иванович решил открыть дело под благопристойной вывеской. Вспоминая Автонома, он решил открыть столовую и дать ей наименование «Пролетарская еда».

И каково было его огорчение, когда финотдел, куда он направился за патентом, не разрешил открыть столовой под таким наименованием! Петр Иванович долго доказывал, что слова «Пролетарская еда» куда созвучнее слов «Париж» и «Прага», — однако финотдельцы были непоколебимы...

## XVI. Следование по инстанции.

Чиновники должны изъясняться письменно, дабы глупость их видна была.
*Из циркулярных изъяснений Петра Первого.*

Мой приятель — весьма талантливый писатель — в популярной форме изъяснения разложил бюрократизм по трем элементам. «Бюрократизм — это такой порядок вещей, — писал он, — когда бумага ходит, люди мучаются, а дело стоит».

Определение весьма конкретное, не требующее дальнейших пояснений, если бы дело касалось простых людей, имеющих соприкосновение только с бюрократами. Но представьте себе, если сам бюрократ

будет вести переписку по личному делу с бюрократическим учреждением?!

Правда, бумага пойдет обычным ходом, однако не совсем одиночным порядком. Через день к «основной бумаге» присовокупится «бумага вторая», а еще через день вдогонку полетят некоторые «характерные дополнения», по количеству бумаги гораздо объемистее «основного». Оно и понятно: «основная» писалась второпях, с горячим сердцем, а когда же остывает сердце, как известно, охлаждается рассудок. И бюрократ вспоминает отдельные детали, кажущиеся ему весьма характерными. Тогда уже бумаги не просто ходят, а догоняют одна другую.

Мучается ли при этом сам бюрократ?! — О! он переживает блаженные дни! Ибо ему не только нравится сам процесс писания бумаг, но и форма их изложения, уничтожающая противную сторону. Тогда бюрократ запоминает точное движение своего противника и его мелкие бытовые штришки. Каждый шаг противника резко врезывается в память и бюрократ пьет с удовольствием чашу собственного красноречия до дна. При дополнительном писании «присовокупления» он вскакивает среди ночи с постели, чтобы оттенить какой-либо штришок, только что забредший в голову. И для бюрократа наступает не мучение, а сплошное удовольствие.

«Дело» бюрократа вовсе не стоит, а разрастается и находится в беспрерывном следовании по инстанциям. Сам бюрократ заинтересован продвигаемым «делом», пользуется служебным телефоном, служебным автомобилем и личными связями».

Бюрократизм, исходящий от бюрократа, можно также разложить по основным признакам: словоблудие торжествует, бюрократ приходит в экстаз, «дело» растет и двигается.

Дело «о подрыве авторитета центроколмассовских ответработников» в спешном порядке проходило одну инстанцию за другой. Родион Степанович лично звонил по телефону, дополнял материал важными данными и требовал срочного морального воздействия по отношению к «ревизору». Он справлялся, где было возможно, о прошлом Авенира Евстигнеевича, дабы чем-либо опорочить его.

«Будто бы контрреволюционный генерал Суворов петухом пел, — острил Родион Степанович в жалобе на Авенира. — Это весьма возможно было в пору екатерининских некультурных времен. Будто бы великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, играя со своими малолетними детьми, изображал медведя. Это тоже возможно: в те одичалые времена немногим культурным людям, к коим и принадлежал Александр Сергеевич, свойственно было замыкаться и превращаться из культурного человека в добродушного зверя, каковыми бывают медведи. Но ответственному советскому работнику — «ревизору», который должен по должности иметь некую благопристойность для примера других, — можно ли изображать корову да еще чмокать губами, как бы сося сиську? Выросшая сознанием центроколмассовская масса вполне законно встретила подобное фиглярство возмущением».

После третьего опроса по делу о подрыве авторитета Авенир Евстигнеевич был не в меру обозлен и дерзок. Лицо, ведущее как бы некое следствие, принимая серьезный вид и покойный тон, на его дерзость заметило:

— Будьте вежливы, товарищ Крученых, ибо ваша дерзость дает право думать, что материал Центроколмасса более объективен, чем я думал.

Придя домой вечером, Авенир Евстигнеевич нервно прошелся по комнате. Ему не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Он ходил беспрерывно, отбивая шаги, как часовой маятник.

Ему почему-то припомнилась комната президиума Центроколмасса, вечно пустая, так как члены президиума постоянно отсутствовали и в учрежденские недра заходили раз в неделю на заседания. Остальные дни члены президиума пребывали где-то, что-то согласовывая и увязывая.

«Ну вот, — заключил он, — главные отсутствуют, второстепенные — тоже, стало быть, технический персонал двигает работу. Кто эти другие? — Другак-табак — решал он. — Срубят табак с корня, от корня отростки пойдут, другаком называются. Листья такие же, запах табачный, а крепости нет. Бурдаковы и есть другак, дающий запах, но никакого вкуса».

Но к чему подобное сравнение, когда Авенир Евстигнеевич не был обозлен на личность Бурдакова, а лишь возмущен общим порядком?

«Где же главный корень зла? Какие причины его возникновения? Уж не есть ли зло в стремлении почти каждого человека руководить общим порядком вещей?» — думал он и страшился этой мысли. Ему вспомнилось недавнее партийное собрание, где один молодой партиец, критикуя работу бюро ячейки, сказал:

«— Вот к примеру я — два года состою в ячейке, а председательствовал ли я когда на собрании? Нет, не председательствовал, товарищи!

«— Тоскуешь по руководству? — подал кто-то двусмысленную реплику.

«— Вот именно, — ответил молодой партиец, принимая слова всерьез...

Под влиянием всего передуманного Авенир Евстигнеевич уселся за стол, чтобы изложить письменно свои мысли как в отношении ревизии Центроколмасса, так равно и в отношении возникшего дела «о подрыве авторитета».

«Я полагаю, — начал он, — что дело вовсе не в подрыве авторитета. Я с собой не носил динамита, да и не являются работники Центроколмасса гранитом, чтобы «подрывать» их. Почему я заинтересовался и пошел еще раз для точного уточнения, я писал в докладной: меня смущала мнимая нагрузка. Я выяснил, и вам теперь тоже известны ее причины. Теперь я пишу не о причинах, а о следствии. Что является следствием возникновения учреждений, подобных Центроколмассу? Наша отсталая крестьянская страна. Можно ли посредством бумаг рационализировать маломощные хозяйства? — Нет. Их надо рационализировать посредством крупных экономических факторов, приносящих прежде всего цен-

ности. У нас получается нечто обратное: прежде чем что-либо построить, организуется руководство, то есть отношение, а не ценности. Что ищет страна наша? Выхода из обветшалого положения и нищеты, — пока этого весьма мало. «Деревне нужны мощные факторы экономического порядка, а не руководство бумажными отношениями. Экономический фактор сам притянет крестьянина-индивидуалиста к рационализации маломощных хозяйств и коллективизации, как некогда завод притянул моего отца из деревни. Центроколмассовский аппарат и его периферия поглощают те средства, которые бы возродили крупные экономические факторы.

«Вот где истинная причина оскорбления мною Центроколмассовских работников, а отнюдь не в подрыве авторитета работников, которые, к слову сказать, на периферии не пользуются авторитетом. Сам Центроколмасс, по-моему, есть ненужная надстройка к ряду других учреждений.

Отсюда и озлобление ко мне, высказавшему подобные мысли. А что предосудительного в том что я фигурально стремился изобразить корову, которую посасывают центроколмассовцы? Я делал это не для того, чтобы оскорбить кого-либо, а убедить».

Авенир Евстигнеевич перечитал заявление несколько раз, но не решался его подписывать. Он думал о том, насколько правильно высказал свой взгляд и приемлем ли он с марксистской точки зрения. Но так как марксизм он воспринимал только чутьем, а не постиг разумом, то размышления ни к чему не привели. И он крупными буквами подписался, делая росчерк завитушкой:

«Авенир Крученых».

## XVII. Поездка на периферию.

Если в жизни ты бредешь узкой тропинкой, да будет благословен путь твой: ибо каждая корова, возвращающаяся из стада, бредет тропою своею.

*Нина Рытова. Записки простодушной путешественницы.*

По неизвестной причине пора любви и весеннего расцвета — май месяц — омрачена народной пословицей, произносимой даже в черноземной полосе: «месяц май, коню корма дай, а сам на печь полезай». Больше того, если майская погода действительно загоняет людей на печку, то подобный порядок природы не омрачает людей: «май холодный — год хлебородный», говорят они, кутаясь в зимние полушубки.

Если дородные мужики в мае одеваются в шубы и залезают на печь в теплый уют и покой, то кволый и слабогрудый городской народ покидает душный город, раскаленный солнцем и овеянный пылью, — стремится за город, в дачные места. Май — начало распада городской жизни и разнообразная целеустремленность горожан: толстобрюхие стремятся

омывать телеса свои в морской соленой воде, чтобы соль изничтожила излишнее накопление; худосочные ищут покоя в домах отдыха, чтобы нарастить жир для последовательного его расходования; слабогрудые покупают карманные плевательницы и стремятся к санаторному режиму. Вокзалы заполняются людьми, составы поездов учащаются отправкой, и каждый отъезжающий отбывает в направлении избранного пункта.

Май всколыхнул и центроколмассовскую массу, захваченную общим весенним потоком, несмотря на «неразрешенные» еще два вопроса: о «всесоюзном масштабе» и «подрыве авторитета». В боевом порядке составлялись списки очереди отпускников и распределялись продолжительные командировки на юг.

Егор Петрович, как не страдающий недугами, присущими городским людям, получив месячный отпуск, решил использовать его двояким образом: побывать на периферии, чтобы ознакомиться с работой срединных и низовых звеньев и, следовательно, присовокупить к отпускным средствам еще и командировочные, — а затем навестить родину, которую он покинул около года тому назад.

Имея возможность следовать за счет учреждения в мягком вагоне, Егор Петрович приобрел билет жесткого вагона, чтобы в личную пользу сэкономить полтора червонца, что, не скрывая, делают почти все командированные по служебным делам.

В вагоне, думая о только что покинутой столице, Егор Петрович рассматривал тусклые лица людей, ехавших куда-то по неизвестным ему причинам.

«Куда прет простой народ?» — подумал он, рассматривая сидевшего напротив старика, прижавшего к собственной груди какой-то узел. Кто-то порекомендовал старику положить узел на верхнюю полку, чтобы не утруждать себя понапрасну, но старик еще крепче прижал узел к груди.

«Вороватый народ пошел», — подумал Егор Петрович, и тут же схватился за карман, а затем поднялся, достал с полки корзину и поставил ее на лавке возле себя. Старик, прижимавший узел к груди, давно уже сошел, породив для Егора Петровича беспокойство.

«Вороватый народ пошел», — подумал он опять, оглядывая сидевших и дремавших, так как был уже вечер. И почти в каждом дремлющем Егор Петрович почему-то видел жулика, притворяющегося дремлющим для отвода глаз. И он не мог заснуть, дабы не случилось покражи. Ему не хотелось спать, но было скучно, и храп людей раздражал его. «Спят, черти беззаботные, или притворяются?» — раздумывал он.

Человек, лежавший на верхней полке в том же отделении, где сидел Егор Петрович, зашевелился и закашлялся. На другой же полке, напротив кашлявшего человека, тоже кашлянул человек, и Егор Петрович притулился в угол, задрожав от мыслей, принимая кашель за условленный знак жуликов, стремящихся его обокрасть. Егор Петрович тоже подкашлянул, чтобы подать знак о себе, — пусть они не считают его спящим.

— Земляк, нет ли закурить? — протянул тот, что лежал на верхней полке над головой Егора Петровича. — В душе пересохло, смерть как курить хочется.

Лежавший напротив подал ему папиросу, тот чиркнул спичкой, озарив на секунду отделение вагона, слабо освещенное свечкой. Егор Петрович, приподняв голову, разглядел, что просивший папиросу — человек средних лет, а одолживший папиросу — с маленькой стриженой бородкой.

— Эх, теперь бы на печке, на голых кирпичиках брюхо погреть, вон как дюже живот разболелся, — сказал тот, коего Егор Петрович определил человеком средних лет.

— Поневоле заболит брюхо, — ответил второй, со стриженой бородкой. — Лежишь ты с самой Москвы и не встаешь. Потому и получилось скопление газа в животе.

Днем Егор Петрович сошел с поезда, чтобы заехать в «срединное звено», проверить товаропроводящие каналы и прощупать связывающую сеть.

Он взглянул на обстановку канцелярии мельком, чтобы освоиться с ее построением и сравнить, аналогично ли ее построение аппарату Центроколмасса. Сходство в схемах оказалось несомненным, только схемы были миниатюрнее. В области руководства «срединное звено» представлялось этапным пунктом, пересылающим размноженные центроколмассовские циркуляры для дальнейшего следования на периферию. Наверху каждого циркуляра обозначались местные слова: «при сем препровождается для точного руководства», а внизу — подписи центроколмассовцев заверялись делопроизводителем «срединного звена».

— Эй ты, голова, — сказал Егор Петрович председателю, — что же у тебя копии заверяет делопроизводитель? Чай бы сам столичные бумаги заверял. Весу больше на местах. Да и нам лестнее будет.

— Так и есть, товарищ Бричкин, — ответил председатель и косо посмотрел на делопроизводителя.

Но Егор Петрович приехал не для инструктирования, а для общего наблюдения, — потому и не стал в дальнейшем утруждать себя рассмотрением общей структуры.

...В Турчанинове, на родине Егора Петровича Бричкина, куда он прибыл на отдых после обследования срединного звена, за истекший год ничего особенного не случилось. Мужики пахали и сеяли в общем порядке и вне плановости, не вникая в суть государственной плановой озабоченности. И когда Егор Петрович спросил первого попавшегося турчаниновского мужика, как прошла «посевная кампания», мужик ответил, что «кампании» он не видел, а посев закончился благополучно.

Из деревенских происшествий, кроме смерти тщедушного Филона — бывшего лавочника, лишенного согласно конституции избирательных прав, — других смертей не было, но зато увеличилась рождаемость: бабы после ряда голодных годов, наевшись вдосталь хлеба, жировали

и рожали детей, с лихвой восстанавливая довоенную норму живой силы. Бабы преобладали количеством, мужики же крепли качеством: почти на каждого мужика приходилось две бабы, поэтому старики считали долгом жениться на молодых.

Смерть Филона, последовавшая по причине самоубийства, вызвала много беспокойства и озабоченности: любопытные вникали в тайны его мыслей, дабы доподлинно выяснить причины самовольного отхода в несуществующий мир, именуемый «тем светом». Филон отошел в иной мир в дни необычной радости: год тому назад у него умерла жена, развязавшая руки для осуществления давно задуманного плана — предпринять кругосветное путешествие. Девять месяцев думал Филон о маршруте и средствах передвижения, преднамечая разные варианты: по первому варианту он предполагал отправиться на аэроплане, для чего купил билеты выигрышной лотереи Осоавиахима. Но выигрыш не пал на номера его билетов, и Филон отверг этот план, как неосуществимый. Правда, этим актом он попал в разряд сознательных граждан, ибо им не только были куплены выигрышные билеты, но и была выписана ежедневная газета, чтобы следить за выигрышами. По сему случаю кто-то предложил ему подать заявление на предмет восстановления в гражданских правах, что он и сделал.

Второй вариант — поездка по железной дороге и водным транспортом — также оказался малоосуществимым: если у него хватило бы денег на билеты третьего класса, то не оставалось средств на пропитание, а насушенные сухари в количестве двенадцати пудов нельзя было забрать с собой в вагон.

По третьему варианту поездку Филон предполагал осуществить на лошади, впряженной в телегу, но и этот вариант оказался непригодным: по мнению Филона, путешествие должно совершаться по прямой линии, а не по искривленным грунтовым дорогам, так как он имел желание видеть целину природы, а не засиженные и затоптанные места. Лошадь же, имевшая привычку следовать протоптанной тропой, нуждается в управлении, а Филон не желал брать в руки вожжей, чтобы покойнее обозревать девственность природы.

Самым приемлемым оказался вариант четвертый — поездка на волах: столь спокойные и непоспешные животные в пути следуют ровным шагом и воспринимают разумом возгласы, относящиеся к управлению ими.

— Цоб, верни! — выкрикивал Филон еще до покупки волов, как бы предвкушая простоту способов управления и очаровываясь ими.

Волы были куплены на деньги, вырученные от продажи некоторых надворных построек и домашних животных. К тому же времени из губернии прибыла бумажка, извещающая о восстановлении Филона во всех правах советской гражданственности. Через три дня после прихода бумаги соседи обнаружили нечто необыкновенное: на чердаке был найден Филон, повесившийся на перекладине. Его труп, с изогнутой на правую

сторону головой, висел в пространстве вопросительным знаком, но малограмотные соседи не заметили этой сходственности. В избе, на столе, была оставлена записка, извещавшая, что Филон умер по причине восстановления его в гражданских правах, так как полноправных граждан Советского Союза, — как вычитал Филон в газетах, — Америка в свои владения не впускает. Поэтому-то Филон, думавший всю жизнь о посещении Нового света, и удавился.

Егор Петрович выслушал сообщение о смерти Филона молча, а затем, обозвав его «упадочным элементом» — словами, которые он перенял у Родиона Степановича, — решил приобрести у общества филоновское поместье и уцелевшие постройки, чем облегчить положение пугливого народа, боявшегося избы удавленника.

Были новости и второстепенного значения: поп Пафнутий самочинно снял с себя сан священника, чтобы получить земельную душевую норму: церковь уже не была источником надлежащего питания, а лишь являлась мелким подсобным предприятием. Мужики ввели строгую таксу на требы, вывесив ее на видном месте у ктиторского ящика. Пять месяцев в церкви не совершались богослужения: мужики, стосковавшись по песнопению, решили произвести выборы нового попа.

На выборах нового попа поп-саморастрига присутствовал как гражданин, имеющий все права, и не возражал, когда его выставили кандидатом в новые попы. Наоборот, он сказал, что никакой выборной должностью не пренебрегает и рад делать все, что его заставит народ. Молодым ребятам, с коими поп-саморастрига уже несколько раз участвовал в спектаклях, он разъяснил, что его новое поповство не носит контрреволюционных форм, ибо религии все равно капут, да и новых священников не будет, раз не существует духовных семинарий. Молодежь согласилась с новым попом — бывшим попом-саморастригой — и продолжала пользоваться его услугами руководителя драмкружком и незаменимого «любимца публики» в исполнении поповских ролей.

Но одно утро положило начало к прекращению деятельности попа как на культурном, так равно и на религиозном фронте: в это утро поп, проснувшись раньше обыкновенного, не обнаружил присутствия матушки, которая вечером ложилась с ним на одной постели и даже по существующему обычаю он сам перекрестил ее три раза, чем гарантировал покой и непроникновение нечистой силы. Поп смахнул одеяло, приподнял перину, но попадьи не было. И только тогда он догадался, что попадья ушла от него навсегда, «снюхавшись», как он выражался, с учителем местной школы. Поп понял, что любительские спектакли принесли ему личный вред, — ибо поцелуи попадьи с учителем на сцене по роли были прологом к настоящим поцелуям.

Таким образом произошел распад личной поповской жизни и драмкружка. Поп запил и поджег церковь.

Осведомившись о происшедших деревенских новостях, Егор Петрович выслушал хозяйственный доклад собственной супруги и, одобрив его,

предварительно обошел собственные владения. За год прибытков оказалось немало, и он подсчитал, что высланные им за год две тысячи рублей расходовались толково и с выгодой. Замечания, сделанные жене, сыновьям и дочери, носили характер лишь мелких деталей: жену он упрекнул в том, что продержала на божнице целую неделю просфору и стравила ее тараканам, позабыв разломить ее на части и раздать членам семьи для поминовения предков. Дочери указал на неправильность чистки никелевого самовара, ибо, чистя самовар песком, она сгоняла никель и оголяла желтую медь.

— Надо, дочка, кирпичной пылью чистить, а не песком. Да осторожно этак, чтобы не бередить лоска...

Старшему сыну заметил, что кузнец плохо приварил сломанный рожок к вилам, не загладив плевна, а младшему вразумил, чтобы тот не воровал с гнезд яйца, а просил у матери на покупку семечек по две копейки в неделю, так как яйца — штука экспортная, а медяки имеют хождение лишь внутри страны.

На досуге Егор Петрович много передумал о сгоревшей церкви, с историей которой было связано происхождение родовой фамилии. Он припоминал о божественных песнопениях дьячка, открывшего ему путь к начальной грамоте, и о колоколе. Колокол упал с колокольни во время пожара. Молодежь украла колокол, продала в городе и на вырученные деньги купила фисгармонию и радиоприемник.

Старики, пришедшие впервые через радио прослушать столичные звуки, возбужденные интересом и любопытством, заговорили о пропавшем колоколе, что пропал он попусту и лучше бы было давно его продать, а вырученные деньги израсходовать на покупку радио.

— Так мы же так и сделали, — ответила молодежь.

Смущенные старики сначала покачали головами, а затем сказали:

— Валяй.

Но Егор Петрович, усмотрев в этом поступке что-то нехорошее, отметил в своей тетради, где, по наставлению Родиона Степановича, он думал вести ежедневную запись (тетрадь он озаглавил: «Запись Егора Петровича Бричкина, находящегося в гуще масс, настроения народных умозрений»):

«Колокол, — начал он на первой странице, — есть вещь хотя и старого порядка, а все же вещь. Так зачем же колокол воровать? Наши советские законы охраняют порядок и никакого воровства не поощряют».

И чтобы своими записями прельстить умиленные взоры начальства, Егор Петрович продолжал запись:

«Как живет наш деревенский народ? В общем жизнь улучшилась: лавочник Филон покончил самоубийством, так как его торговлю задавил кооператив. Народ носит ситцевые рубашки, и только нехватает плисовых шаровар. Настроение у людей бодрое, и всякое государственное начало народ приветствует. Поп сам отказался от своего сана, ибо до-

гадался, что религия в самом деле — опиум для народа. Ропота на действия центра нет, но на местные власти помаленьку ворчат».

Егор Петрович думал наблюдать жизнь деревни сторонкой, как бы сознательно сторонясь масс. Однако в воскресный день он был вынужден пойти на сельский сход, как домохозяин и как человек, представляющий частицу центра. К тому же на сходе предполагалась сдача лугов, и Егор Петрович был не прочь через доверенных лиц предпринять соревнование в торгах. Масса густо столпилась вокруг председательского стола, вынесенного на улицу, и Егор Петрович проник в самую гущу. Масса раздвинулась, уступая ему дорогу к председательскому столу, однако председателем собрания его не избрала.

— Небось там замучился председательствовать! — крикнул кто-то из массы, придав голосу иронический тон.

Егор Петрович кинул в сторону крикнувшего злой взгляд, но тут же уронил его вниз, чтобы принять покойный вид. Было заслушано много докладов и столько же принято резолюций. Ни по докладу о кооперации, ни по докладу «низового звена» не происходило прений, ибо докладчики козыряли малоупотребляемыми словами, доказывая, что хотя у гидры голова сшиблена, но мировые гады еще шипят. И дабы не быть причисленным к мировому гаду, каждый молчал, чтобы не оскорбить словами государственный порядок вещей.

Когда были закончены вопросы государственного порядка, перешли к сдаче лугов. Объявив о целях этой сдачи и назначив по тридцать рублей за десятину, председательствующий задал вопрос, не желает ли кто дать больше.

Мартын, прозванный в деревне за общипанный вид и фискальничество Лахудрой, действуя по поручению Егора Петровича, соглашаясь с ценой, объявленной председателем, накинул на весь клин ведро самогона.

В соревнование с Лахудрой вступил Тимофей, по прозвищу Сигунок. Сигунок действовал по поручению другого Бричкина, дальнего родственника Егора Петровича, занимающего должность предволисполкома и прибывающего часто в праздничные дни в свое село.

— Два ведра самогона, — крикнул Сигунок и подпрыгнул: свойство, за которое он и был прозван Сигунком.

Не прочь был принять соревнование кооператор Каныгин, действующий открыто.

— Даю тридцать один рубль за десятину и без всякого самогона! — крикнул он, заранее проникнутый духом культурности, чтобы избавить людей от потребления самогона.

Два деревенских кулака, стоявшие поодаль, не решались конкурировать с Лахудрой и Сигунком: они знали, что и Сигунок и Лахудра выступают как неофициальные представители людей, имеющих касательство к власти, а кулаки, недовольные общей властью, не хотели подставлять ножки властелинам, действующим для личной пользы. Кулаки хорошо знали, что эти властелины, достигнув личного известного хозяй-

ственного уровня, перестанут быть властелинами и станут такими же кулаками, как и они. Хотя каждый кулак стремится быть в хозяйстве обособленным, все же предпочитает, чтобы кулаков было больше, тогда легче будет борьба с новым порядком вещей.

## XVIII. Вещи и отношения.

Житие и бытие человеческое уподоблено колесу, вращающемуся по колее своея: предки живут для потомства, а потомки, превратившись в предков, тоже живут для потомков и путь сей бесконечен.

*Г. Бугераков. Тихая жизнь.*

Авенир Евстигнеевич, как и другие работники, отбыв установленное время отпуска на морском побережьи, возвратился в столицу с двухдневным опозданием. Его опоздание имело уважительные причины: в подземных недрах побережья совершились сдвиги подпочвенных пластов, отчего произошло землетрясение, нарушившее нормальное движение скорых поездов.

— В природе порядок нарушен: появились бюрократические извращения, — сказал он своему соседу по купе, залезая на верхнюю полку.

Землетрясение, нарушившее основы покоя природы, показалось Авениру Евстигнеевичу смешным и забавным. От подземных толчков бежали люди, находу терявшие принадлежности туалета.

Пробудившийся инстинкт самосохранения настолько обнажился, что шарообразные упитанные люди, неподвижные в обычное время, прыгали, как резиновые мячи. Пятисекундные приступы планетной лихорадки раскрывали целые книги жизни индивидуумов, и казалось, вот сейчас насвегда закроется последняя страница. Но страница книги не закрывалась, и люди отделывались малыми неприятностями: художники кисти и слова лишились тюбетеек, соскочивших при бегстве вследствие чрезмерной приподнятости волос.

«Что такое тюбетейка? — подумал Авенир Евстигнеевич, не удержавшись от смеха, когда люди в панике разбегались. — Тюбетейка — кусок азиатчины на голове вполне европейских людей».

Привыкнув на фронтах гражданской войны к грому орудийных выстрелов и позабыв о существовании страха, Авенир Евстигнеевич мог спокойно наблюдать происходящие события. На опыте гражданской войны он убедился, что трагизм порождает комизм и моменты комизма были куда выгоднее для боевой обстановки.

Прибыв в столицу с опозданием, Авенир Евстигнеевич на другой же день отправился в учреждение, чтобы вступить в исполнение своих служебных обязанностей — засесть за неоконченный доклад по дообследованию Центроколмасса. Но в тот же день Авенира Евстигнеевича попросил

к себе член коллегии и, справившись о здоровьи, задал вопрос: не желает ли он продлить отпуск, хотя бы недели на две.

Отблагодарив члена коллегии за оказанное внимание, Авенир Евстигнеевич отказался от добавочного отпуска: он не догадывался, что предложение носит дипломатический характер.

— Видишь, Авенир, — сказал член коллегии после некоторого раздумья, придавая голосу какой-то обходно-маневрирующий тон, — мы все считаем тебя весьма хорошим малым. Твоя обследовательская работа всегда носила фундаментальный характер и обстоятельное проникновение в суть и существо дела. Последняя ревизия Центроколмасса тоже имеет ряд положительных сторон. Однако твой доклад на центроколмассовском активе до некоторой степени подорвал авторитет... Твоя объяснительная записка еще больше усугубила дело... Я не разобрался еще в полной мере в этом, однако скажу тебе, что отпуск на две недели ты должен принять...

Авенир Евстигнеевич вышел из кабинета члена коллегии весьма удрученным и взволнованным. И если там, у члена коллегии, на общее замечание не мог ответить, то теперь, когда шел по коридору, ответ созревал в мыслях, но уже отвечать было некому. Так почти постоянно бывает с каждым: тогда, когда нужно было отвечать, — не знаешь, что ответить; когда же некому отвечать, — ответ приходит сам по себе.

«Мы считаем, — подумал он о словах члена коллегии. — Значит и среди нас, работников общего порядка, существуют мы и они?.. Он, видите, еще не разобрался в моем деле. А разве я-то сам в нем не разобрался?»

В тот момент, когда Авенир Евстигнеевич был задет лично, все принципы соподчиненности казались никчемными, усложняющими общую установку и создающими тысячи преград к выявлению индивидуальности: индивидуальность затерялась в формах, и бездушные формы сдавили горло индивидуальному выявлению.

Член коллегии, кажется, принял его ласково, справившись даже о состоянии здоровья детей.

— Ах да, я спутал, — поправился член коллегии на замечание Авенира Евстигнеевича, что у него детей нет, — я спутал, я хотел спросить, как здоровье Юлии Павловны.

— Моя жена не Юлия Павловна, а Зинаида Семеновна, — вторично поправил его Авенир Евстигнеевич, и член коллегии смутился, забарабанил вечным пером по столу.

«Я же не вещь, чорт возьми! — думал Авенир Евстигнеевич. — Когда упаковывают ламповые стекла, их обкладывают соломой. Вещь берегут, чтобы не разбилась. А я разве тоже вещица, которую нужно обложить чем-то мягким, вроде справки о здоровьи несуществующих детей? Нет, я не вещь, я — человек, коему свойственны все человеческие переживания».

«Да. Вещи берегут, — продолжал он думать. — Все, что творится руками человека, то берегут. А вот самого человека — нет. Впрочем

следует ли беречь человека, не производящего вещей? Ведь он только усложняет процесс бытия».

Авенир Евстигнеевич долго думал над этим вопросом и не мог разрешить его. «Ну, предположим, я творю отношения. А люди, производящие вещи? Как себя они чувствуют?»

Он часто бывал на рабочих собраниях, и кусочек одной картины собрания припомнился ему.

К шести часам он пришел в заводской клуб, не запоздав ни на минуту, и клуб оказался пустым. С полчаса Авенир Евстигнеевич осматривал клуб, проникая в суть содержания лозунгов. Лозунги были весьма разнообразны. Все ведомства считали своим долгом внедрять в массы знания, относящиеся к тому или иному ведомству. В красном уголке висели плакаты: «Покупайте выигрышный заем», «Вносите полный пай в кооператив». Проникли в клуб и плакаты земорганов, где трактор давил кулаков, а кулаки силились пищать. Последним Авенир Евстигнеевич обозрел плакат: «Мойте руки перед едой» и, посмотрев на свои руки и найдя, что они грязные, отправился искать умывальник. Однако умывальника не оказалось, и Авенир Евстигнеевич немного поплевал на ладони рук и вытер их носовым платком.

Через полчаса стали появляться одиночками люди. Они, как и Авенир Евстигнеевич, водили глазами по стенам, хотя плакаты и лозунги были давно им знакомы. Вопреки мнению составителей, стремящихся в чем-то убедить массы, массы были убежденнее составителей, а потому плакаты не действовали, а надоедали.

Рабочие, приходившие на собрание, здоровались друг с другом, что-то друг другу говорили и смеялись запросто. На Авенира Евстигнеевича они бросали косые взгляды, как бы из любопытства, а он в этих взглядах видел если не озлобленность, то какое-то недоумение. Он чувствовал, что своим появлением, как чужой человек, мешает индивидуальной независимости каждого, и немного волновался.

— Ну что, не начинали еще? — спросил вошедший человек и приподнял кепи, чтобы проветрить наметившуюся небольшую лысину.

— Тебя ждали! — ответил кто-то.

— Ах, конек вас задави, — весело ответил лысый. — Я так и знал, что еще не начинали.

— А ты что, пришел, чтобы расписаться да уйти?

— Вот именно, милый человек. Чтобы показать свою рожу.

— А вот запрягем мы тебя нынче председательствовать, тогда не улизнешь.

— Ради бога, ребята, не нужно, — взмолился лысый. — Потому как я алимент несознательный и не люблю две вещи одного порядка: бывать в церкви и на собраниях.

— А вот мы тебя и выбираем нонче красным попом. Посмотрим, как ты службу растянешь.

— О! Ментом отслужу, конек вас задави, ментом, — разгорячился лысый...

— А, стало быть, хочется попредседательствовать?

— Ах, конек вас задави, — вы еще мне упрек становите, да я для вашего же облегчения, чтобы время сократить да веселости нагнать.

Звонок рассыпал трель, и разговоры постепенно стали смолкать.

— Кого мы нонче в председатели посадим? — спросил открывший собрание предзавкома.

— Кислова! Его, лысого чорта! — раздалось несколько голосов, и Кислов, посылая аудитории несколько «коньков», поплелся к сцене.

— Регламент утверждать будем али без него обойдемся? — спросил Кислов, взявшись для порядка за пуговку звонка. — Голоснем, что ли?

— Ты, Павлуха, не дури особенно, — заметил близ сидящий человек. — Веди дела по всем правилам, и голосовать тут нечего.

— По правилам! — передразнил его Кислов. — А какие тут могут быть правила?

— Веди собрание, а не пререкайся с индивидуальными личностями, — заметил Кислову предзавкома.

— А ты, товарищ Глотов, помолчи, потому как я сейчас руковожу, а не ты, — хоть ты и предзавкома, а я лишаю тебя права голоса. Во!

Глотов смутился и понял, что сейчас его руководство неуместно. Но он успокоился тем, что будет лишь наблюдать и делать выводы.

— Кто выскажется по мотивам голосования? — начал опять Кислов. — Ладно, у вас мотивов нет. Валяй, докладчик, да особой растяжки не имей.

Докладчик начал плавно и минуты через две промочил глотку водой. Когда докладчик вошел в раж и был увлечен собственными словами, его приостановил Кислов:

— Погоди, товарищ докладчик.

Докладчик приостановился, наступила пауза, и Кислов чего-то выжидал.

— Ну, скоро? — крикнул он.

Никто не понял, к кому относятся слова председательствовавшего, и снова наступило молчание.

— Да чего ты? — снова вмешался Глотов, задавая вопрос председателю.

— Да вот выжидаю, когда там ребята закончат шахматную партию, — ответил Кислов.

Двое рабочих, игравшие в заднем углу в шахматы, оторвались от игры и покраснели.

— Закончили? — спросил Кислов.

— Закончили, чорт тебя подери, а ты видишь какой, руководить любишь.

— Нет, пробуждаю от спячки.

После заключительного слова докладчика взял слово Глотов, чтобы ответить что-то по личному вопросу. Он был обижен докладчиком, что тот коснулся вопроса общего слабого руководства, а частицей этого руководства считал себя и Глотов.

— Товарищ Глотов, — заметил ему Кислов. — Докладчик ни одной персональной личности не задел. А каким же порядком вы приняли слова докладчика на свой счет?

Зал опять захохотал, довольствуясь, что слова Глотова, взятые по личному вопросу, совершенно уничтожены.

Авенир Евстигнеевич сидел позади президиума. Он думал над тем, что что-то разделяет его с рабочими, а что — не мог додуматься. «Откуда столько независимости в этих простых словах? Откуда столько задора и зоркости? Да, они в праве презирать людей, строящих отношения, ибо сами они делают вещи».

Когда кончилось собрание, он как-то помимо собственной воли потянулся следом за Кисловым, и этот человек чем-то привлекал его.

«Да. Они делают вещи, — решал он, идя позади. — Вещи для общества более необходимы, чем что другое». Авенир Евстигнеевич уже причислял себя к служилым людям и искал разницы между служилым народом и рабочими. «Рабочий независим, потому что чувствует за собой силу. Продукты производства нужны для каждого народа, независимо от классовости общества. Кто может производить вещи, тот горд и независим».

— Кислов! — окликнул он и напугался своих слов. Кислов оглянулся, и у него как-то пропала улыбка.

— Что? — спросил он, недоверчиво оглядывая внешность Авенира Евстигнеевича.

— О чем ты сейчас думаешь, Кислов? — неожиданно спросил вдруг Авенир Евстигнеевич, не находя более подходящего вопроса.

— О сковороде! — ответил непринужденно Кислов.

— О сковороде? — переспросил Авенир Евстигнеевич и улыбнулся.

— Да, милый мой, о сковороде, конек ее задави. И думаю я об ней и денно и нощно...

И Авенир Евстигнеевич понял: Кислов думал о той сковороде, которая сделана его руками и имела одну цену, и о той же сковороде, имевшей другую стоимость, когда она придет к Кислову как к потребителю.

Вспоминая этот клочок рабочего собрания, Авенир Евстигнеевич твердо решил уйти на производство. Вдруг как-то сразу пришло облегчение, и он вышел на улицу с облегченным сердцем.

## XIX. Последняя инстанция.

... Наша жизнь—как льдинка под знойным солнцем. Не спеши ее сосать: растает сама.

*Андрей Платонов. Из письма к автору.*

«Дело о подрыве авторитета» приобрело самостоятельную жизнь: оно следовало по инстанциям, произвольно развивая самодвижущиеся силы. По отношению к Авениру Евстигнеевичу попрежнему проявлялась начальническая озабоченность в виде отсрочек на двухнедельные отпуска. Авенир Евстигнеевич от отпуска отказывался и уже в пятый раз требовал решительного слова, но решительного слова не было. Да и как сказать решительное слово, если «дело», исходившее по ряду инстанций, не завершило узаконенного круга? В недрах учреждений на бумагах ставили порядковую номерацию, клали резолюции, чтобы передать для дальнейшей аналогичной процедуры следующему лицу. Авенир был оторван не только от масс, но и от дела, от собственной жены и быта, впавши в глубокий индивидуализм. Иногда он в глубине души презирал Автонома, натолкнувшего его письмом на какой-то образ мышления, неуясненный еще и неосознанный до конца.

Два месяца Авенир Евстигнеевич просился на производство, но в учреждении к этой просьбе относились с улыбочкой.

— На производстве есть без тебя люди, производить не мудрено, а вот управлять — труднее, — отвечали ему.

Да едва ли была искренней просьба Авенира Евстигнеевича: он мог бы пойти на производство в самом деле, как и на другую работу, поручаемую ему.

«Да, я пошел бы на производство. По крайней мере создавал бы вещи».

«А что такое вещи, Авенир? — задавал он себе не один раз вопрос. — Вот что такое вещь: она, созданная человеческими руками, переживает самих людей».

Вечерним временем он вел беседы с женой, ставя те же не разрешенные вопросы. Жена так же, как он, была согласна, что человек, производящий ценности, полезнее для общества, однако не оправдывала стремления Авенира Евстигнеевича к возвращению на производство.

Авенир Евстигнеевич багровел и возражал, но возражения носили не логический, а громовой и угрожающий характер: он уже не работал около десяти лет на производстве и, верно, уже потерял квалификацию. Требовалось ее восстановление.. А чтобы восстановить утраченную квалификацию, надо целый год состоять на шестом разряде. Авенир Евстигнеевич не был шкурником, однако снизить материальное благосостояние едва ли желал.

И Авенир Евстигнеевич решил не уходить на производство, ибо этим совершенно не достигаешь цели.

«Я складываю оружие и хочу итти по линии наименьшего сопротивления. А разве это метод борьбы? Нет, борьба должна быть до конца и до победы. Я же хотел забиться в щель, чтобы оттуда иногда делать выкрики. Я напугался бумаги, захлестнувшей своим потоком мою личность. Правда, бумага — опаснее открытой борьбы. В открытой борьбе идешь грудь на грудь, а здесь все на изворотах, логических последовательностях и узаконениях. Бюрократизм — это некое семиглавое чудовище в виде Змея Горыныча, которого в детстве я видел изображенным на картине. А я не есть богатырь, обезглавивший это чудовище. Я только частица массы и только малую толику пользы принесу в борьбе с ним. Это чудовище будет побеждено тогда, когда вся гуща массы принесет в дело борьбы свою малую толику».

«Вот и я то же самое, — думал он. — Раньше, когда только что шел в учрежденский аппарат, полагал, что вся работа окажется простой — лишь бы бюрократизма не было. А чем больше общая нищета процветает, тем крепче корни, порождающие бюрократизм. Если надо распределить тысячу рублей, то предварительно создается аппарат, пожирающий три тысячи рублей. И все аппаратчики бывают озабоченными, будто в действительности они приносят пользу обществу, не замечая того, что становятся самоедами».

Авенир Евстигнеевич подумал о том, как лично он, пришедши в учреждение яростным противником бюрократизма, постепенно обволакивался бюрократической оболочкой.

«Я пришел в учреждение, чтобы с прямотою рабочего изгонять отсюда всяческую гнусь. Я в первые дни наделал будто бы много хорошего, на мой взгляд, но учрежденские люди смеялись; я в их глазах казался пешкой. Я отпустил лес инвалиду Климову без обследования его имущественного состояния, а Климов продал этот лес на месте. Все учрежденцы были рады моей благоглупости, а я был удручен: оказывается, надо было верить бумажке, а не словам. Меня обвинили лишь потому, что я сделал промах — на десять рублей отпустил лесу. Но что мне надо было бы сделать? Послать комиссию для обследования имущественного состояния Климова? Комиссия из трех лиц проработала бы, скажем, день, — содержание ее стоило бы двадцать рублей. Да. Тогда бы все было законно, нормально, и я не видел бы усмешек, посылаемых мне в продолжение двух недель служащими. Вот и теперь я говорю: Центроколмасс не нужен как учреждение; содержание его стоит очень дорого для весьма нищей страны. А что же отвечают мне? Три месяца издеваются надо мной. Да еще как: сочувствуют и издеваются. А ведь теперь я уже не так прост: я подхожу к вопросу не опрометью, а как-то совершенно по-другому: я, где это нужно, бываю дипломатом, замыкаюсь в себя и не пороню зря слова, хотя сказать бы очень хотелось. Я в полной мере бюрократ».

Авенир Евстигнеевич решился на самое крайнее — пойти к наркому. До сих пор он избегал этого — и не потому, как многие думают, что

нарком весьма занят и ему некогда говорить с людьми средней руки. Нет, Авенир Евстигнеевич был обратного мнения. Нарком в его глазах являлся скрепой учреждения, его главной вершиной, и, как вершина или скрепа, он проникает во все детали учрежденской жизни. «Дело о подрыве авторитета» должно быть известно ему. Авенир Евстигнеевич позабыл, что учреждение не есть органическое существо и что у неорганического существа голова только приклеена, а все сочлены живут и работают самостоятельно. Нарком является не главой, а только возглавляющим. Чтобы построить водопровод, нужна водонапорная башня. Из водонапорной башни проходит только давление, отчего вода бежит по трубам. Так и нарком: он производит давление на аппарат, — в зависимости от проводимых мероприятий это давление чувствует аппарат и приходит в движение, как вода по трубам. И не только нарком — каждый простой смертный знает, что проводимая политика не имеет абсолютной прямоты, а дает неизбежные искривления.

Второе обстоятельство, смущавшее до некоторой степени Авенира Евстигнеевича, — это то, что к наркому надо попасть через установленный институт секретарей с кратким изъяснением, по какому поводу, с записью в очередь. Нарком, если и примет, может спросить предварительно лиц, ведущих это дело, а в каком изложении могут представить это дело — неизвестно. Нарком может уделить только пять минут, а в эти пять минут надо столько сосредоточить фактов, чтобы они были весьма просты и убедительны.

Авенир Евстигнеевич встретил наркома в коридоре, и тот кивнул ему головой, слегка улыбаясь. Наркомовская улыбка не казалась улыбкой загадочного свойства, как и не была улыбкой простой. Она была улыбкой человека, желающего выразить и бодрящую радость и человеческое умиление. Авениру Евстигнеевичу показалось, что нарком улыбался так же, как улыбался он сам. И нарком показался ему простым.

— Товарищ нарком, — сказал Авенир Евстигнеевич, — мне надо бы иметь пять минут для беседы.

— Пожалуйста, товарищ Крученых, зайдемте ко мне.

Авенир Евстигнеевич несколько раз бывал в наркомовском кабинете, и тогда он не казался ему величавым, как сейчас: нарком, среднего роста человек, утонувший в кожаном кресле, казался придавленным этой обстановкой. «Человек — раб вещей», — подумал Авенир Евстигнеевич и улыбнулся. Однако эта улыбка не ускользнула от наркомовского взора, и сам нарком заулыбался.

— Я вот думаю, — сказал Авенир Евстигнеевич, — что все эти условности, как величавый вид вашего кабинета, и есть обстановка, сдавливающая разум...

Нарком провел рукой по кудрявым волосам.

— Видишь, товарищ Крученых, — величавый вид вещей придает то, чего недостает самому человеку. Я войду в толпу людей, — никто не скажет, что я нарком, когда сольюсь я с этой толпой. Я должен чем-то

себя выявить, чтобы быть выделенным. Я должен стать оратором, чтобы увлечь толпу словами. Здесь же, когда слов должно быть меньше всего, обстановка должна помочь мне: пусть каждый, побывавший в этом кабинете, почувствует, что сидит он у наркома. И тогда, когда величавая обстановка делает давление на присутствующего, то сам нарком становится проще для него: он же человек, нарком. Нарком не может быть сдавлен обстановкой: свой кабинет он видит каждый день, и он для него является простой комнатой, в которой, кажется, он прожил много лет.

— А я, товарищ нарком, — съехидничал Авенир Евстигнеевич, — не знал, что кабинет является средством, самодовлеющим на психику.

Нарком усмехнулся и погрозил пальцем.

— Крученых! Я полагаю, что мы с тобой люди, приспособленные ко всяким обстоятельствам: ныне мы можем жить в хороминах, завтра— в подвалах. Дело касается не личностей: эффектность — неизбежная потребность людей. Мы полагаем построить величавые дворцы. Мы не будем рабами вещей, а сами вещи станут усладой нашей жизни. Однако я тоже хорош: на какие темы загнул разговор. Выкладывай-ка, о чем хотел ты сказать.

Двадцать минут говорил Авенир Евстигнеевич, а нарком, постукивая ручкой по столу, слушал. Было видно, что рассказ Авенира Евстигнеевича его увлекал, ибо входившим секретарям он подавал однообразный знак рукой, после чего они удалялись.

Когда Авенир Евстигнеевич закончил рассказ, нарком под его впечатлением минуты две молчал, как бы собираясь с мыслями.

— Ты прав, Крученых, — сказал нарком. — Учрежденский аппарат, пожалуй, не может быть усовершенствован, ибо не производит вещей. Лучшая форма его усовершенствования — постепенное свертывание его. Я, возглавляющий орган, не знал о том, что ты мне рассказал. Сейчас иди и работай. Сдай мне краткий конспект твоих предложений, а там мы посмотрим.

Авенир Евстигнеевич вышел. Он уже знал, что это была последняя инстанция.

Через долгие два месяца соответствующими органами было вынесено решение:

«Центроколмасс, как излишнюю надстройку, расформировать: присвоенные им торговые функции передать Центросоюзу. Его «низовые звенья» передать органам сельскохозяйственной кооперации, комитетам взаимопомощи и колхозам».

Произведение закончено. Кажется, должна восторжествовать добродетель. Но у жизни нет законченных сюжетов. Индивидуумы являются только точками на полотне общественной жизни и обстановки: видоизменяется обстановка, и к новой обстановке приспосабливаются люди. Тысячи старых чиновников ныне приспособились к советской власти, пересмотрели свои взаимоотношения с ней и честно едят свой хлеб.

Что же случилось с героями моего произведения?

Центроколмасс ликвидирован. Обстановка для работы изменилась. Но ведь сами люди имеют возможность приспосабливаться к новой обстановке!

Родион Степанович Бурдаков остался во главе ликвидационной комиссии Центроколмасса и с аппаратом в триста человек уже два года «ликвидирует». Структура ликвидкома уподоблена бывшему аппарату и имеет аналогичную схему, связывающую отделы линиями и пунктиром. Втайне Родион Степанович весьма сожалеет, что царизм «ликвидирован» революционным путем. «Создать бы комиссию по ликвидации старого режима, — она по крайней мере бы годов сто работала», — думал он. Он сознательно задерживает «ликвидацию», надеясь, что правительство исправит допущенную ошибку — восстановит Центроколмасс во всесоюзном масштабе.

Второй мой герой — Петр Иванович Шамшин — пошел по торговой стезе, организовав артель безработных. Наконец-то его мечта осуществилась: торговое предприятие именуется «Пролетарским подспорьем».

Ничего особенного не случилось и с Егором Петровичем Бричкиным. Он живет в деревне. Удостоверения, свидетельствующие о его прошлом, не раз помогали ему: на-днях он привлекался по сто седьмой статье, грозившей конфискацией некоего имущества, но бумажки, полученные по службе в Центроколмассе, смягчили обстоятельства. Теперь он стремится в деревне организовать коллектив — благо обладает центральным организаторским опытом.

Итак, в жизни не бывает законченных сюжетов: меняется обстановка, но не меняется громадное большинство людей: они только изворачиваются.

...А в селе Турчанинове открыта изба-читальня...

# Тринадцатая повесть.

(Повесть.)

П. Павленко.

За истекший год в печати появилось двенадцать произведений о Лермонтове. (Из газет.)

## I

...Была поздняя ночь в гордых лесах Чечни. Наощупь, шевеля листву, шел из-за гор рассвет, и впереди, за долиной, на дальних холмах, уже обозначалось утро. Язык утр различен, самые шумные утра в долинных лесах, в широкошумных дубравах, у дымных и суетливых деревень. Полевые утра покойнее, их голос пронзительно-речист и плавен, но напряженно тихи и бесшумны горные рассветы.

Тихо взвизгивают недоспавшие птицы — это единственный шорох.

Внизу, в узких теплых долинах, просыпающиеся движения рождают бойкую солнечную кутерьму, она доносится в горы неясным шумовым эхом, но оно только сильнее отражает безголосую сосредоточенность гор.

Взвод конных охотников отдыхал на опушке, у перевала. Ночь была суматошной и напряженной, когда нервы, казалось, вылезли наружу, защищая тело тысячами тоненьких быстрых лапок от опасностей ночной передряги. Сейчас, в тишине рассвета, нервы сжались внутри, как утомленные белки в глухой норе, и тело было норою с сухой и бесчувственной коркой.

Кони почувствовали утро вместе с птицами и устало зевали теперь, задирая верхние губы. Ночью они долго бродили за кострами, ища самое ночное место, но всюду была разлита беспокойная бледность — густая ночь отстоялась внизу, в долинах, а вверху был всего лишь ее некрепкий и мутный настой. Бледные ночи не крепки и должны бы тянуться долго-долго, до боли в ногах и в печонке.

Люди спали гораздо дольше, короткий отдых был несладок и им, они спали до самого солнца, до того, как побежали по ним студеные судороги предсолнечного ветра.

При первом солнце всегда становится чуть-чуть холоднее, лучи его гонят перед собой легкую зыбь сквозников, как ветер гонит перед собою

пыль, как шторм — морскую пену. Сидя на теплом пне, дозорный Сирота жевал соломинку. Ближе к лесу копошились в ломкой сухой траве стреноженные кони. Поручиков жеребец баловно визжал, задирая других коней.

— Правда, что Имбессиль, — покачал головою Сирота и встал, виляя ногами. Он прошел к лошадям, похлопал их по бокам, поправил путы, поручиков жеребец запутался в поводу, и он стал распутывать его повод. Боясь упасть, конь перестал переминаться.

— Ну, па-а-рдон... дай леву... па-а-рдон... леву...

— Je vous écoute. Вы правы,— сказал сквозь сон поручик. Он был распростерт на пленной бурке, другая, служившая одеялом, сползла с него и закрывала только ноги. Рейтузы спустились до пупка, и красная канаусовая рубаха, вся в пятнах, выбилась из-под пояса. С минуту он полежал еще, уткнувшись лицом в бурку, потом быстро повернулся, зевнул, почесал рукою место, откуда растут ноги, подержал на нем руку и сказал негромко, но очень слышно:

— Какого чорта не будишь?

— Пардон, ваше благородие, — отвечал Сирота. — До Имбессиля маленечко задержался.

Поручик скривил грязные губы, потер свалявшуюся бороду и сказал строго:

— Нечего разговаривать, оправились — да на коней.

В лагере все зашевелилось, люди, потягиваясь, вставали, тарахтели вещами, сплевывали со сна, потянуло густой вонью облегчающихся тел и дымком махорки. Часам к десяти поручик должен был дойти до Шилинского леса, туда же с востока долиной подходили и охотники Дорохова. Обе партии имели задачей охватить лес дугой и пройти его до первых аулов. Неотдохнувшие кони шли путлявой рысцой. Ночью пришлось долго гнать горцев, и кони натрудили ноги.

— Дозвольте сказать, ваше благородие, — и фельдфебель Терещен выскочил вперед на золотом грудастом Карабахе. — Кабы лошадя не пристали, ваше благородие, — сказал он.

— Дурака валяешь, — пронзительно сказал поручик. — Давно, я вижу, зубы у тебя не болели.

В строю негромко фыркнули.

— Бить вас, сукиных сынов, надо почаще, — добавил поручик.

Фельдфебель отъехал назад. Никак нельзя было понять, когда следовало заговорить с начальством. То он любил длинные разговоры, и тогда вся команда гудела смехом и говором, то затыкал всем глотки и сам часами молчал, огрызаясь на каждое покашливание.

— Чиц! — обернулся и крикнул в строй фельдфебель, — береги коней, ребята!

Всадники приумолкли, а потом загудели в треть голосов о своем. Отряд был составлен из казанских татар, кубинских лезгин и хохлов. Голоса были разные, и разными были языки, пестрыми были рассказы.

Всадники ехали, горбатясь на седлах. Так ездят степные хищники в ногайских равнинах, — в небрежных, но напряженных позах.

Лес мельчал, гнилье пней часто устилало тропу, кони растопыривали ноги и приседали, спотыкаясь. Но вот лес быстро раздался, дорога, вильнув круто, пошла книзу, чувствовалось по траве, что внизу долина.

— Тихо, матери вашей чорт, — пронзительно сказал чернявый поручик и заплясал на коне. Конь засуетился под ним как курица с перевязанными ногами.

— Оправьсь, — сказал он тише.

Охотники послезали с коней, подтянули подпруги, оправились. Кое-кто проверил шашку, застегнул покрепче тулупчик. Притихли.

И вот, далеко-далеко, за дырявой стеной последнего леса, всплыл легонький треск. Он длился долго, как треск отсыревшей лучины, не уменьшаясь и не становясь громче. Кони перебрали ногами и навострили уши в его сторону. Поручик помял пальцами черные, грязные баки свои, лохмами свисавшие к подбородку, помочился на ногу жеребца и, влезая в седло, сказал:

— Ну, стервы, смотри у меня. Как выскочим на татар — все в голос. Голосом орать — злей будем.

И тогда треск раздался еще ближе, и свинцовый дятел заработал по деревьям. Чернявый поручик с горбатеньким лбом, по росту мальчик, с легкими и кривыми ножками и с шеей, до ушей вбитой в плечи, вертлявый в седле, молча тронул коня. Опытный жеребец пошел размашистым наметом. На краю долины показались горцы.

— Айда, ребятишки! Нажми на коней!

И, сбросив повод, чернявый поручик прилег к луке и, буравя вокруг головы своей шашкой, нырнул в невысокую заросль, за которой уже открывалась рябая поляна. С криками, плотным комком бросились за ним охотники. Только казанский татарин Шамсудинов взял в сторону, придержал коня, спустил с папахи на лицо платок и, закрыв лицо платком, чтоб не видеть ни позора, ни страха, в одиночку кинулся следом на поляну, норовя попасть туда, где посвободнее было бы рубить.

Горцы на чумазых конях вертелись под самыми шашками, и несколько раненых с той и другой стороны скоблили землю разгоряченными и млеющими руками. Горцы и наши прыгали, поднимали коней на дыбы, наскакивали кучей и расходились в стороны, будто загоняя какого-то ошалевшего зверька в невидимую со стороны, но где-то между ними реально существующую норку.

Охотники рубили плотно, глубоко замахиваясь шашками, как топорами, рубили с кряком, придерживая дыхание, и все же почему-то не подвигались вперед, а продолжали кружить у ежевиковой поросли. Горцы, сталкиваясь конями, вертелись ловчей и свободней, но быстрее теряли своих всадников, и свободные кони, тарахтя полуобрубленными седлами, в возбужденности носились возле дерущихся. Чернявый поручик елозил на скользком, большом седле. Он высоко подпрыгивал вместе с зано-

симой за плечо шашкой, мотаясь из стороны в сторону, как большой, глупо привязанный к шашке темляк. Кряхтя, вопя, брызгая слюной, цеплявшейся за бороду, он пробирался на своем снегурчатом жеребце на край поляны, откуда шли выстрелы. Он, по всему видно, был храбр, но какою-то нерусской суетливой храбростью, очень сознательной, все держащей в памяти. Должно быть после боя ему всегда казалось, что он многое делал не так, как надо, и может быть даже совсем не то, что надо. Больше всего он боялся бы представить, что он похож на труса, и когда начинал он держаться покойнее, его забирал страх, что со стороны спокойствие понимается трусостью, и он, забыв все правила, старался сделать как можно больше движений, больше людей убить, чаще подвергнуться опасности. Рубил он плохо, должно быть из-за малого роста и коротких рук, и потому старался не рубить, а самому навлекать на себя врага и быть вырученным бойцами, шашкой же махал больше для управления боем, а не для защиты.

Но его суетливость была настолько безумной, что походила скорее на сумасшествие, чем на обычную трусость. Даже перед глазами смерти не хотел бы он видеть себя смешным при неловком ударе своей шашки.

Перестрелку за лесом покрыл разноголосый вой, и показались пешие горцы. Отбегая от ската, они вцеплялись на-ходу в коней и на гривах уходили прочь. За ними, волоча коней в поводу, поднимались охотники Дорохова.

— Здорово, Мишель, — закричал издали сам Дорохов, подтягиваясь вверх по тропинке за сучья кустарника.

— Смотри-ка, как мы делаем войну, — сказал он по-французски чернявому, — как кухонные мужики, дорогой. Ни красоты, ни удали. А я еще и мозоль себе натер с яблоко. Здравствуй. Благодарствую за подмогу.

Чернявый поручик скатился с жеребца и, прихрамывая, — он еще юнкером сломал себе ногу, — поздоровался.

— Я тебе завидую, Дорохов, — сказал он. — Ты открыл бой с восьми утра.

Он скривил губы и потер грязную бороду.

— Мне, понимаешь, не повезло, — продолжал он, — я крутился по лесу, как Виргилий в аду. Мои ребята — бравый народ, mais un peu trop moujiks.

— Чем мужикастее, тем лучше. Не на балу, — ответил Дорохов. — Ты зря про мужика не говори, повоюй с мое — узнаешь.

И повернулся к субалтерну.

— Вы уж присмотрите за всем, Жоржик. А мы пойдем с поручиком да выкурим по трубочке.

Чернявый поручик молчал. Небрежность слов Дорохова о мужиках немножко кольнула его. Выходило, что он получил по носу, как фат и мальчишка. Правда Дорохов был старый кавказский офицер испытанной воли, но в отряде Галафеева давно уж поговаривали, что чернявый

Мишель трижды переплюнул его в храбрости. Фразу же Дорохова «повоюй с мое — узнаешь» тоже можно было понять очень обидно, как обращенную к юнцу.

— Что, устал, Мишель? — спросил чернявого поручика, под руку, Дорохов. — А что это ты своих людей держишь? — кивнул он. — Ты бы приказал им привал.

— Ничего-с, подождут, — почти что не разжимая губ, ответил чернявый, — не на балу. Вот девок насиловать они у меня будут первыми.

Дорохов усмехнулся. Он отвел вверх левую бровь и сказал безразлично:

— Я не вмешиваюсь. Дело твое, Мишель. Но вот, брат, не думал, что ты горазд девок насиловать.

Чернявый поручик покраснел. Грязные щеки сразу отсырели от пота. Чернявый, несмотря на то, что был ругателем, в душе оказывался очень застенчивым человеком. Он мог смутиться от чего угодно. И чтобы реже окунаться в смущение, он перебивал его наглостью. Но наглость хорошо выходила, когда речь шла о чужом и выдуманном, — о своем же — не всегда. Он был спокоен за себя, остроумен и добр, когда его считали подлецом и саврасом, но как только чувствовал он, что кто-то насмешливо заглядывает в его нутро, он свертывался, как ежик, вверх колючками, и сам начинал поносить всякого и каждого, не стесняясь словами. И чем больше он поносил, тем чаще заглядывали ему в душу, и тем чаще он краснел.

Он был сентиментален, как мальчик, а жить хотел бреттером и мужчиной в соку. Но помимо всего прочего он был некрасив. Большая голова, низко вбитая в плечи, спина, крутая у лопаток, будто пригорбая, тонкие выгнутые наружу ноги, голос пронзительный, как у выпи, глаза маленькие, мышиные, лоб горбатенький, как у умных, но калечных детей, и, главное, — рост, маленький, незаметный рост.

Дорохов разостлал бурку и лег на нее животом. Чернявый поручик сел возле на камень. Разговор не клеился. Горы вокруг вспотели на солнце и парили легкими туманами. На головищах гор багровели рубцы и парши от русских топоров, и туман сползал по ним в долины серой прогнившей сукровицей. От солнца хотелось спать. Шилинский лес бесновался нутряными гулами. Треск подходящей по лесу русской пехоты доносился гудящей волной.

— Ты как хочешь, — сказал Дорохов, — а я посплю. Ты вот мне завидовал, что я начал бой с восьми утра, а я, знаешь, ни жив, ни мертв. Прости, родной.

Чернявый скривил губы и ответил, как на уроке:

— Будь покоен. Прикажу постеречь твой сон.

И покраснел, сам не зная отчего.

Чувствуя, что краснеет и стараясь удержать набегающую на лицо краску, он стискивал зубы, и тогда его мгновенно охватывала какая-то быстрая злость. Заряд ее рождал такой сумасшедший жест или такое

решительное слово, которые невольно заставляли побледнеть вмиг лицо. Потом, сдерживая волнующееся, как после рискованного прыжка, дыхание и чувствуя с радостью, как скрылась краска застенчивости, он мог долго, до нового приступа покраснения, быть добрым и ласковым малым. Вот и сейчас ему нужно было найти такое слово, но оно не подвертывалось, и злость не рассасывалась, а плескалась в сердце густой мокротой.

Над обрывом, откуда были видны запястья дальних гор, охотники развели костры. Дороховские — поближе к обрыву, чернявого поручика — ближе к лесу. Люди обоих отрядов шумно беседовали и делились провиантом, но держались как люди разных племен. Далеко в стороне вспархивали одинокие выстрелы. Их эхо раздраженно стрекотало меж утесов, никого не пугая.

— Наш-то чернявый заткнул вашего, — говорил в кругу дороховских охотников горнист Охрименко. — Ей богу, заткнул. Из арапов он, знаешь, визгливый пороховой парень.

— Вон он, до ваших коней пошел, — поглядел через головы говоривших старый дороховец. — Не, какой же он офицер, поглядите. Один горб, исусе христе.

В кругу засмеялись. Чернявый дошел до коноводов. Четверо дежурных валялись на траве, шепчась над медным пятаком. Увидев поручика, они вскочили.

— Чисто замучились с девкой, ваше благородие, — предупредительно сказал один из них.

— Пымали девку, — сказал другой, — чытыри нас, девк один. Пиатак бросали — каму придиот.

— Какую девку? — спросил поручик. — Откуда?

Старший татарин объяснил ему, что в перестрелке с коня упал раненый в ногу горец, с ним вместе свалилась девка, сидевшая за его спиной. И показал в сторону. У орешника, по горло в зелени, спутанная по рукам и ногам, лежала девочка лет двенадцати. Лицо ее было бы красиво, если бы не было страшно испуганно. Она дышала хрипло, и живот ее громко бурчал.

— Может, развязать вам ее, ваше благородие? — спросил подошедший фельдфебель. — Девка, видать, чистая, махонькая.

Поручик махнул рукой.

— Смотри, как бы кого не сглазила, — пронзительно крикнул он и улыбнулся.

Солдаты попервоначалу голоса испугались, но по улыбке поняли, что это шутка, и загрохотали довольно.

— Ничяво, ничяво, — замигал татарин, тот, что бросал пятак, — я всякий девка люблю.

Вечером, в крепости, у майора Гнедича, дороховский субалтерн, чиркая красными, обветренными глазами, пил водку, как большой, и ввязывался в общий разговор со своими впечатлениями о последнем побеге.

— Ну, так как же, вы говорите, как? — подзадоривал его отрядный казначей. — Как это они, ну-ка?

И субалтерн, трудно выковыривая слова языком, в пятый раз рассказывал о стычке Дорохова с Мишелем. Сначала будто бы встретились очень мило, потом Дорохов лег спать, а Мишель взялся держать посты, но постов не расставил, а ловил в лесу со своими татарами белок, потом нараспев читал им французские стихи, а они грустно тянули припев из своих монгольских мелодий без слов. Наконец он завалился спать, сняв сапоги. Дорохов проснулся злой, разбудил Мишеля, и они о чем-то долго говорили между собой, пыхтя друг на друга. Субалтерн мог схватить лишь одно, как сказал Дорохов: «Ты слишком на меня похож, Мишель. Играй-ка лучше кого другого».

— Ах, отцы мои, неужто так прямо и сказал? — захлебнулся от удовольствия казначей.

— Именно, — подтвердил с пьяной серьезностью субалтерн.

— Этот Лермонтов хочет быть покойником на всех похоронах, — перебил субалтерн-офицер, сидящий в углу.

— Ну, и Дорохов тоже, — сказал небрежно субалтерн. — Только у Дорохова это естественно, а у Мишеля глупо.

— Вот уже полгода я их обоих знаю, — сказал казначей, — и все не могут угомониться. Так один в одного и играют.

— В Грушницкого играют, — сказал доктор, — вот в кого. Помните Грушницкого? Тоже хромой был, как Лермонтов. Помните, он был еще разжалован в юнкеры?

— А ведь верно, — обежал всех глазами казначей. — И скажите, что такое было в этом Грушницком? Верно, верно, — кивнул он доктору.— Совершенно правильно подметили. Даже внешностью схож. Юнкеришко, фат, завистник. Ох, я его по одному случаю помню.

— Это с помадой-то? — захохотал майор. — Да, уж действительно, вмазались вы тогда в историю.

— С помадой? — субалтерн ткнул глазами в пространство, поверх лиц, и спросил, ни к кому не обращаясь: — Как это с помадой?.. Не могу себе представить.

Случай, должно быть бывший когда-то очень смешным, рассказался быстро.

— Забегаю я как-то к Полихрони, — обратился казначей к тем из присутствующих, которые не знали происшествия, — спрашиваю розовой помадки на полтину. — Нету, — отвечает. — Как так нету? — Да, вот, — говорит, — только что один из ваших офицеров всю дюжину банок забрал.

— А Максим Максимыч и пустись тут в расспросы, — вставил майор, — что за офицер, да каков собою, да то, да се.

— Совершенно верно, — чтобы не молчать и не пустить майора в разговор, вставил казначей, — что, — говорю, — за офицер? — Да, так, молоденький, — говорит, — чернявый, невысокого роста, на ногу

легонько припадает... — Ах, — говорю, — на ногу? И со спины, может быть, говорю, — сутул, а? — Сутул, — отвечает. — Даже как бы горбатенек, говорю, а? — Именно так, — отвечает, — чуть-чуть есть. — А мундир, — спрашиваю, — на нем какой? — Да новый, — говорит, — совсем новенький, так эполетки, — говорит, — и торчат крылышками. — А зачем, — спрашиваю, — помады-то ему столько? Ничего не говорил? — Да на бал, — отвечает, — собирались что ли — Ну, тут я, понятно, сразу догадался: Грушницкий, никто больше. После производства, думаю... Выхожу в парк, а темнело уже, смотрю — есть такой, и в новом мундире, и эполетки крылышками, и спина та самая. Я его хлоп по спине.—С производством,—говорю,—Грушницкий. С помадкой. Поздравляю.

— А тот оборачивается... Вот потеха, — и майор обвел глазами присутствующих, как бы приглашая их вспомнить и оценить потеху.

— Ан не Грушницкий, а Лермонтов. Сам собою!

— Ну, с Мишелем... — начал было говорить молодой и красивый юнкер, но казначей перебил его:

— Нет, погодите, что потом было-то. Ай, ай, ай!

— С Мишелем такую штуку сыграть опасно, — сказал юнкер. — Чем же кончилось?

— Помирили, — торжествующе сказал майор. — Дня три возились, а помирили. Что же, умысла тут никакого не было.

— Да обознался же, ей-богу, — миролюбиво сказал казначей. — Видели вы когда-нибудь Грушницкого? Ну, вот, близнецы — и все тут.

— А с Грушницким-то он с тех пор... ни-ни, — заметил доктор. — Враги-и. Заклятые враги-с.

— Понятно, — кивнул непослушной головой пьяный субалтерн. — Все очень понятно и обидно... господа.

За столом рассмеялись, и разговор распался. Стали расходиться.

— А вот, доктор, возьмите в резон, — не унимался казначей, выходя вместе с врачом, — отчего это так? Дорохов-то наш тоже Грушницкого не жалует. Ну, фат и мальчишка, только и всего. А у Дорохова с Мишелем какая-то прямо вражда к нему.

— Бамбошеры, — не отвечая на вопрос, сказал доктор. — Худо кончится эта игра. Особенно для Мишеля. Ему бы все шуточки. Стихи списывать у Дмитриева... Не знаете? Фу, еще как!.. Стихи — у Дмитриева, повадки перенимать у Дорохова, романтические кундштюки — у Грушницкого...

— Рубаху красную чего-то таскает, — поддакнул казначей.

— Должно быть в память покойника, Александра Сергеевича Пушкина, — ответил доктор, — не иначе.

И, помолчав, продолжал:

— Entre nous, soit dit [1]), я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят. В сущности, он препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В свои годы и мы все писали такие стихи.

[1]) Между нами будь сказано.

— Граф Соллогуб, говорят, отменно изобразил его в своей повести «Большой свет», — ехидно заметил опять казначей. — Как жалкого спутника великосветского дэнди и личность весьма ничтожную.

* * *

От чеченских аулов до Пятигорска рукой подать, но в Пятигорске — столица. Мирные горцы здесь пахли русским тютюном и развозили по домам молоко и козий сыр в переметных сумках, за седлами, как боевые припасы. Из Пятигорска на войну ездили как на кабанов, а возвращаясь, плясали на балах, писали в тетрадки стихи и дулись в карты или исправно лечились углекислыми водами — от болезней, которыми страдали их дамы. В грязном белье, в грязной канаусовой рубахе, которая бог знает когда стиралась, Мишель прискакал с тремя татарами в Пятигорск.

Ночью Соколов с Крептюковым, свои крепостные, вымыли барина в хозяйском корыте. В воде развели столовой соли — от пота. Часто краснел Михаил Юрьевич Лермонтов и, краснея, потел горьким лошадиным потком. Той же ночью, в «казенной» гостинице Найтаки праздновали его приезд. Собрались тарумовский помещик Пряничников, двое лабинцев-офицеров, Тенгинского полка капитан Королев да поручик Лермонтов. Наскоро побаловавшись дивчатами, ложившимися на кровати в шагреневых башмаках и в ярких кофтах, офицеры сели за стол с картами, пили виноградную водку с душком и разговаривали все сразу. За стеной вечерили девушки, тихонько хихикая. Мишель играл, не садясь, то у одного, то у другого стола, много пил, чертыхался и выдумывал анекдоты. Девушки за стеной смеялись, и он то и дело выходил их проведывать, поднимая за стеною возню.

— Я пасс... Мишель, — обернулся к стене Королев, — перестань доить девочек. Поди-ка сюда.

— Я и так слышу, — заглушенно ответил тот. — Ну?

— К нам, брат, сюда знатная гостья пожаловала. Французского консула жена.

— Чистая ягодка, — сказал тарумовский помещик, — необыкновенной привлекательности дама.

— А вы чего же смотрите? — отозвался поручик. — Все на вас, чертей, работай.

— Не очень-то поработаешь с ней, — пробурчал Королев. — Вистую.

— Я пасс. Да, не очень-то, — сказал помещик. — Горда. Заметно горда.

— С гордыми только и спать, — сказал из-за стены поручик. — Правда, Маша? — девушки засмеялись.

— Вы завсегда мёня так, — кротко, одним вздохом, ответила Марья.

— Хочешь, я ее на твоих глазах?

— Не, они у нас молоко беруть.

— Она у твоей Ребровой живет, — сказал, помолчав за картами, Королев. — Меня ей представили у Верзилиных. Слышишь что ли, граф Диарбекир?

— Слышу, — ответил чернявый и загромыхал сапогами.

— Тем лучше. Реброва мне и подведет ее, — сказал он, выходя к играющим и осматривая костюм свой. — Давайте пить что ли. А ну, красивицы...

Девушки, ковыляя в тесных башмаках, показались кучкой.

— Занимайте чужие колени.

Столики сдвинулись. Найтаки принес в кувшинах кизлярского.

— Шашлыки готовы? — крикнул чернявый поручик.

— Сичас, душка-джан, — закричал из темноты за окном Элиадзе, лакей чернявого. — Возми шампур — командовал он там по-грузински.

Запахло щекотно кровавой гарью молодого барашка.

Кизлярку пили большими стаканами. Говорили о сражениях и о горцах, об очередных наградах, сплетничали о дамах.

— Споем-ка, друзья, — предложил чернявый и запел истерическим голосом «Аллаверды», кунацкую песню.

Девушки выпили и, расстегнув кофты, говорили тяжелые слова и просились по кроватям.

Выходили блевать. И опять пили. Допытывались друг у друга о любви и, смеясь мокрыми и пьяными губами, рассказывали, как они любили впервые.

— Так ты... слушай, — хлопнул поручика по плечу Королев.

— Граф Диарбекир... Ты француженку-то прибери, а?.. Чтобы знала, какова есть наша русская хлеб-соль, а?

Степной помещик ласково уставился на поручика.

— Армянин? — спросил он. — Ты-то, граф, армянин что ли?

— Мишка? — все загрохотали.

— Вот уморил, право, — плевался от смеха Королев. — С чего вы это взяли, папаша?

Смеялся и сам чернявый.

— Да имя у него какое-то армянское, — смущенно объяснил помещик.

— А это, знаешь, в школе еще он так себя назвал, — объяснял Пряничников Королеву. — Псевдоним. Он, брат, какие стихи писал тогда! О-о! Что твой Барков.

— Барков? — помещик подавился собственным удивлением и машинально рукою накрыл стакан с вином.

— Это граф-то ваш? Господи, а я думал, он может только колыбельные... Ей-богу, я же не знал.

Он икнул и вымолвил грустно:

— А я и не читал Баркова-то. Вот срам! — И он поднял лапу со стаканом, долго оглядывал содержимое и выпил его, клокоча горлом.

Девки визжали сердобольными голосами и, закатываясь от опьянения, тоски и грустной казацкой песни, громко и часто сморкались, лезли целоваться и орали во всю бескрайность ночи о постыдных делах своих.

Ночь, как застигнутая любовница, металась из стороны в сторону, шарахаясь от частых молний. С Машука бесшумно скатывались тучи. Отстоявшись над городом, они стремительно уходили в степь, покачиваясь краями. Становилось то светлее, то опять темнее. В прорехах между тучами беспокойно копошились звезды. Но вот постепенно обтертое тучами небо стало ровнее и выше. Молнии низко спустились к горизонту, гоняясь за далеко убежавшей ночью.

Элиадзе и Крептюков, допив кизлярку, снесли своего поручика наверх.

— Делов с ними теперь, — шепнул Крептюков. — Кабы еще черкесинка наша была, ну тогда полбеды.

— Ах, кацо, не говори, смотры спит, — отмахивался Элиадзе.

— Н-е-ет, — покачал головой Крептюков, — Ты, брат, наших порядков не знаешь. Вот кабы Феня была, черкесинка, — я ее по душе, по любви прямо Феней зову, сподручнее...

Кизлярки оставалось еще с полкварты.

Крептюков цедил мутное вино, как чай вприкуску, широко, с донышка, обхватывая стакан пятерней.

— На линии у чернявого поручика была Феня, черкесинка, — рассказал он грузину. — По утрам подавала она ему айран. Знаешь, молоко с кепиром, — объяснял он. — Вроде как посолишь его с вечера кепирчиком, а к утру оно свой сок и даст. Кисленько, нашей капустой отдает, к похмелью, брат, самый раз.

* * *

Наутро, в щегольском, еще в Питере сшитом мундире, надушенный опопонаксом, чернявый поручик спустился к Елисаветинскому источнику, где по утрам собирался весь бомонд.

С жадностью опохмеляющегося он залпом осушил несколько стаканов воды и тихонько стал прохаживаться по аллеям. Во рту было горько и вонюче, живот всходил куличом, глаза были красны, и нельзя было ни наклонить, ни задрать головы. В те годы Пятигорск был уже модным курортом. Сюда за экзотикой углекислых ванн и героических кавказских историй приезжали семьями молодые помещичьи выводки.

Здесь петербургские актрисы набирали загар, впечатления и векселя поклонников, а люди большого света здесь играли в молодых энергичных колонизаторов и дрались на дуэлях с одичавшими кавказскими офицерами.

Было все в Пятигорске по-русски неряшливо и уютно. Миротворствовали на улицах свиньи, и гуси из Слободки ходили пастись к Машуку, горцы были редки, да и те, что были, запоем вели торговлю. Торговали серебряными колечками и брелоками, жили с русскими девками

и забирали товар на книжку в грузинских бакалейках. Война была за забором гор.

Чернявый поручик исправно лечился водой. От сильного солнца пахло пылью, жара нехороша в час похмелья, и он собирался уйти.

Из павильона близ источника догнал и остановил его голос:

— Мишель. Да подождите. Какими судьбами?

Он обернулся. Реброва.

Он подошел к ней.

— Мишель, вы давно здесь? Противный.

Он объяснил ей, что привезен ночью. Нездоров. Должно быть прихватил гастрическую лихорадку. Его знобит, и вообще у него странное состояние.

— Мишель, вы меня любите? Не забыли?

Забыть такое создание! Нет, не забыл и помнит. Всегда вспоминал на линии.

— Слушайте, если вы будете умником, я вас представлю одной моей знакомой. Но чур — не изменять.

Чернявый поручик хотел было сплюнуть от набежавшей тошноты, но удержался, глотнул слюну, и как-то вышло похоже на волнение. Проглотив слюну, он смутился, покраснел и ничего не сказал.

— Ну вот, теперь я верю, — шепнула Реброва, — я вижу вас насквозь. Я верю, что вы меня любите.

И коснулась ногою в фижме его сухого колена.

— Мы будем счастливы, — сказала она. — Не правда ли?

Его высоко поднятые брови выражали удивление, глаза сдержанно смеялись, а углы рта были наивно опущены вниз.

— Вы знаете, что я не верю в счастье. Я никогда не буду счастлив, — сказал он без всякой наигранности.

— Скажите, что будете, — настаивала девица, картавя. — Ну, противный, скажите, что будете. Ну, скажите!

— Буду, — сказал он, сдвинув скулы.

И тотчас, даже не глядя на нее, решил, что бросит возиться с дуро .

— Я пойду лягу, — сказал он. — Мне тяжело.

— Пойдемте к Адель, — предложила девица, — вы хороший и милый, и я, как обещалась, представлю вас ей.

В стороне от аллеи они встретили даму, читавшую на-ходу.

— Мадам, вот Лермонтов, о котором я вам говорила. Il vient de venir à cause de maladie [1]). Прошу любить и жаловать. Вы уже знаете ее, Мишель, я вам говорила. Знакомьтесь.

Лермонтов низко склонился к руке.

Опять рассказы о горцах, войне, о кавказских пейзажах. Запах «пачули» говорил о Париже. Ее слова казались мудрыми, даже когда она говорила очевидные глупости.

---

[1]) Он только что приехал по болезни.

— Вы, русские, не понимаете Дантеса, — щебетала она, дыша «пачули». — Ваш Пушкин был гениальным поэтом, но в жизни оказался очень посредственным Отелло. Просто ревнивый русский мавр.

Поручик соглашался и смотрел ей в глаза.

— Мне говорили, что вы «гамэн». Я этого не вижу. Я вас читала — можете гордиться, — продолжала она.

Глаза ее нежно и просто оглядывали его.

— Не стану скрыват , мне весьма хотелось вас видеть. Вы даже можете за мной волочиться. Я позволяю.

Реброва замкнулась в торжественном негодовании на столь легкомысленное поведение, но в душе радовалась тому, что мадам Адель так дурно себя рекомендует.

— Я не поклонник общительных женщин, — сказал Мишель, маскируя слова под шутку.

— Общительных или доступных? — переспросила мадам Адель. — Вы могли бы выразиться точнее. Вспомните, что у вас на Руси юродивые и шуты всегда говорили правду.

Мишель потрезвел и испуганными глазами бродил по лицу мадам. Сравнить его с шутом! Здорово! Он был груб с женщинами, как всякий слабый самец, и грубость была его оружием. Теперь это орудие обращалось против него женщиной. И для него уже было теперь неясно, что из себя представляет эта парижанка с глазами мужчины. Разговор о Дантесе и разрешение любить, и этот пряный запах сверхмерных чувств, этих духов, и, наконец, эта манера говорить обещали многое. Он чувствовал, впрочем, что завоевать такую женщину трудно, она может свалить предательским ударом, так именно, как часто сбрасывал он сам.

Он вежливо пригласил ее в Кисловодск, горя нетерпением показать ее своей банде и там на людях ответить ей каким-нибудь армейским жестом.

Вместо ответа она сказала невинно:

— Вы знаете, я осталась сегодня без молока. И виноваты в этом — вы.

— Я? — удивился он. — Да я в жизни не пил молока, мадам.

— Сегодня девушка, которая приносит нам молоко, сказалась больной. Вы, говорит она, очень ее утомили.

Задрожав от стыда, Реброва ушла в изучение парка. Поручик вспотел. Пот перебил даже запах «пачули», он бросал быстрые взгляды на Анну Реброву и на Адель, мучительно стараясь найти какой-нибудь выход, и, не находя его, улыбался растерянно.

Мадам Адель, лукаво оглядывая его, беззвучно смеялась.

— Ну, мы с вами теперь будем друзьями, — сказала она. — Я просто хотела поговорить с вами на вашем же языке.

— Вы очень чутки, мадам, — сказал он, кривя рот.

— Не сердитесь, — попросила она. — Я вам сейчас расскажу одну поучительную историйку. Вы, должно быть, знаете, что в романе «Фло-

риани» Жорж Занд изобразила с большой прозрачностью упрямое обожание Шопена и его капризный характер?

— Так-с, — кивнул головой поручик.

— Когда она читала роман в рукописи художнику Делякруа и Шопену, жертва и палач вызывали у Делякруа одинаковое удивление: Жорж Занд не была нисколько смущена прозрачными разоблачениями, а Шопен просто не понимал, в чем дело. Это показывает, мой милый Лермонтов, что для того, чтобы быть понятым, нужно с каждым говорить на его языке. На месте Жорж Занд я написала бы слова на «Похоронный марш», назвав его «Похороны нашей любви», и поместила бы пьесу на его пюпитре...

— Так-с, а я бы сказал ему, — перебил ее поручик, — я бы сказал ему: «Вашей матерью я никогда не была, любовницей я перестала быть. Неужели вы принимаете меня за свою кормилицу?» Вот я как бы сказал ему, мадам... И простите. Разрешите откланяться. Я немного болен.

— Идите, — сказала она. — Итак, мы едем вместе в Кисловодск? Отлично.

* * *

Она вписала себя в его дни, как экспромт. Он так много лгал в жизни, что все события перестали играть для него какую бы то ни было роль. Он был уверен, что нет ничего, чего нельзя было перелгать. В сущности, ему было совершенно неважно, станет ли она его любовницей. Гораздо важнее, чтобы в этом был убежден свет. Его питерское белье сносилось, и нового он не заказывал, он боялся своего запаха и мог любить близко тех, кого уже не уважал и перед кем никакими грехами своими не стеснялся. Как женщин, он знал без лжи и фиглярства черкешенок с линии. Они поили его по утрам айраном и считали пот его барским и очень приятным. Все увлечения его были всегда сноподобными, Конец был всегда безразличен, после навязанного чем-то посторонним начала.

Дни в Кисловодске завертелись циклоном. Генеральша Верзилина с дочерьми, генеральша Мерлини, барышни Озерские, старуха Прянишникова с племянницей, Реброва и приезжая француженка, мадам Аделаида Омер де-Гелль прикатили на праздник коронации и на бал, который по этому случаю давался в городе.

За табором девиц устремились офицерские мундиры. Всезнающие портнихи, наперстницы всех девических тайн, называли имена лучших кавалеров, которые рассчитывали участвовать в бале, — князь Трубецкой, князь Шаховской, Неклюдов, Раевский, Бенкендорф (сын всесильного государева жандарма), Лев Сергеевич Пушкин (брат поэта), Дорохов, князь Василий Голицын, Михаил Юрьевич Лермонтов, Дмитриевский, Сатин, Грушницкий. Бросив охоту, спешили вернуться к балу Столыпин и Глебов; князь Васильчиков и Мартынов также обещали быть из Железноводска.

Бал был блестящим. Лермонтов имел успех перед всеми. После бала за городом устроили джигитовку. Лабинские казаки кувыркались на конях и подымали с земли на лихом карьере серебряные рубли. Лермонтов хотел одиночества. Мадам Адель была одета в амазонку, и он несколько раз предложил ей поехать в горы.

Но она отказывалась, заинтересованная шумной казачьей игрой.

— Il y a trois cent ans, que je vois ça. Autre chose, — шепнул он ей с досадой.

— Qu'esqu'il vous faut? — спросила она, не оборачиваясь.

— Je sais pas. Autre chose. Ce pas à moi de trouver. Moi j'ettende. Qu'on serve autre chose.

Она засмеялась.

— Autre chose. Autre chose [1]). Любя, вы довольствуетесь старыми играми, старыми способами, не так ли?

— Уйдемте отсюда, я вас умоляю, — сказал он.

Она погрозила ему пальцем:

— Autre chose, autre chose, Лермонтов, — и засмеялась тихонько.

В ту же ночь, возвращаясь в город, он, чтобы угодить мадам Адель, сказал Ребровой, что он ее не любит и никогда не любил. Но оказалось, раньше чем он решился на это признание, Реброва поведала мадам Адель тайну своего сердца, сказав, что любит Мишеля и что он тоже ее любит, только боится сознаться. Получилось смешно, и Мишель, бросив обеих, умчался вперед с бывшей здесь же какой-то своей петербургской знакомой.

Адель, кость от кости Авроры Дюдеван, известной уже в те годы под именем Жорж Занд, не столько писательницы чувств, сколько подруги писателей, сама непрочь была повеселиться с бойким гусаром. На бал в Кисловодске она явилась одетой в платье gri de perles, в черной кружевной шали и в ботинках цвета puce, т. е. так, как была одета княжна Мэри при первой встрече с Печориным. Здесь уже знали, благодаря болтливой Ребровой, что молодой Альфред Мюссэ истекал у ее ног стихами. Девушка из бедной семьи, красавица с длинными галльскими ногами, она рано начала писать стихи и коллекционировать рискованные желания. После стихов Мюссэ она расчетливо быстро отдала руку пожилому ученому Игнатию Омер де-Гелль, геологу и путешественнику. Он увез ее в Грецию, она грелась на солнце у развалин Акрополя, писала стихи на его холмах, открытых морю и ветру, она была в Миссолунги, в комнате, где умер Байрон, и где его друзья сулиоты торговали его вещами и автографами, черенками недорожденных стихов, и гордились женщинами, которых когда-либо касалась неразборчивая рука великого сумасброда. В Стамбуле, где Игнатий Омер де-Гелль сочинял с мудрым терпением фи-

---

[1]) Вот уже триста лет, как я вижу это. Надо что-нибудь другое.

— Что вам нужно?

— Не знаю. Что-нибудь другое. Не мне — находить. Я ожидаю. Чтобы кто-нибудь приготовил другое.

— Другое, другое...

лософа свои геологические сумбуры, — Адель собирала цветущие впечатления на веселых кладбищах Скутари и на базарах Галаты. Пышный провинциализм Стамбула, шествовавшего на улицах в носилках, несомых армянами, похожими на аравийцев, сытые пляски в гаремликах, где читались Вольтер и Раблэ вместе с анекдотами Хаджи-Наср-Эддина, и бредовые оргии в потайных клубах на Кабристан-Сокак, где европеянки собирались помечтать о мужчинах и покурить гашиш, открывали ей просторные горизонты.

После пыльного великолепия Афин и очарования стамбульских дней она увидела тусклые пески Каспия. В Астрахани, обкуренной коричневой пылью и запахом курдючного сала, она вдруг напечатала стихи...

Вдали от родины я набрела на волшебный базис в пустыне, полный блеска, ума и красоты.

И когда тамошний губернатор, ошеломленной такой ее безграничной любезностью и отчасти польщенный, почтил ее богатым обедом, ей показалось, что оазис действительно найден, что судьба начинает сдавать ей козыри.

Геолог был ученым и милым человеком, но, к счастью, супругом самых скромных возможностей, и мадам Адель совершала займы любви, как истая парижанка и поэтесса.

Геморроидальный голландский консул Тебу де-Мариньи, поэт, гидрограф и контрабандист оружием, искал ее ласк и уже много лет подряд готов был заменить геолога. Мечты ее голодных девических сумерок сбывались.

«Журналь д'Одесса», где от нечего делать печатались беглые греки и гувернеры из одесских семейств, помещал ее стихи и рассказы. Поэты и путешествия стали обычны. Слава приходила в путешествиях через поэтов...

Женщина, у которой душа из стихов и длинные галльские ноги, располагает сложнейшей бутафорией флирта.

Адель могла бы в нем опередить Жорж Занд, если бы мадам Жорж Занд когда-либо позволила себя опередить.

Дни в Кисловодске вертелись циклоном. Чернявый поручик блистал в ореоле трех граций — Ребровой, Адель и своей петербургской знакомой. Он обращался со всеми тремя как с любовницами. Петербурженка принимала это как должное и всеми силами старалась афишировать гусара.

После бала, на рассвете, когда Мишель, расхрабрясь, сказал Ребровой, что он ее не любит и никогда не любил, — Адель увела растерявшуюся девушку к себе. Мишель отправился проводить петербурженку. Но через час он постучался у дверей Адели.

— Вы один? — спросила она. — Вы ко мне или к ней?

— К вам или к ней, — ответил он, — это зависит от вас. Меня преследуют. Вы можете спасти меня.

Это было простое пари. Никаких неприятелей не было. Он оставался до утра у Адель Омер де-Гелль, — в соседней комнате лежала растер-

занная слезами Реброва, — гусар и поэтесса говорили о стихах, о Европе, о Байроне, словно ничего не случилось. В ту ночь мадам Адель не задерживала его у себя. И на рассвете гусар спустился через окно, чтобы выиграть второе пари: он проехал верхом со своей петербургской франтихой мимо окон Ребровой и мадам Адель. Адель отказала ему в доме, но в тот же день они виделись. При встрече она наговорила ему дерзостей, и он был взбешен, поражен и обезоружен. Он попытался завернуться в плащ неудачника, но был безжалостно осмеян. Он хотел овладеть ею, но она умело остановила его игру и этим сохранила право приказывать.

— Я еще никогда не отдавалась фигляру. Будьте кем вам угодно, Лермонтов, но будьте сооой.

Тогда, склонившись у ее ног, как ребенок, смуглый, курносый ребенок, он перебирал складки ее платья своими тонкими острыми пальцами, скручивающими спиралью железные шомпола, и правдиво говорил ей что-то бессвязное и трогательное.

Он ненавидел Грушницкого, этого своего alter ego, он мечтал для себя о печоринском байронизме, но, боясь мнений света, осмеял и Печорина, чтобы не подумали, неровен час, об автопортрете. Он плевал вокруг себя, чтобы никто сквозь плевки не коснулся его души. Душа его была в плевках. Сквозь слякоть грязных плевков одна вот протянулась рука в пот, в грязь, в плевки и по-женски больно схватила за упрямое сердце, где скрипели Машины шагреневые башмаки и помнился экзотический айран обязательных черкесских наложниц.

Не оставляя места у ее ног, он набросал ей на память стихи.

Прочтя их и гладя его жесткую голову, она похвалила:

— Недурно для русского.

Он вскочил и ушел, почти не прощаясь.

Она снова перестала его принимать.

Раздвинув узкие жалюзи моих строк, я глубоко погружаю глаза в их краткие встречи в августе, в Кисловодске, в любви.

30 августа мадам Адель уехала с супругом-геологом в Крым... Гусару был даден адрес — Ялта, poste restante. Она приглашала его приехать за ответными стихами, обещая там увенчать его пламя.

* * *

На линии он опять отпустил баки и не возражал волосам покрывать подбородок. Это было не по форме, как и нежелание зачесывать виски, но растительность была так слаба, что начальство не делало из этого — случая к придирке.

Дорохов лежал раненым в Пятигорске, и Мишель без помех пожинал лавры оригинала и храбреца. Он осунулся и сделался еще как-то сутулее, смех его стал остер, как рыдание, он выглядел теперь суровым и добрым в то же время.

29 сентября он был в деле. 3 октября обратил на себя внимание отрядного начальника расторопнос ью и пылкой отвагой.

Октябрь пришел в боях. Заплесневшие облаками горы были угрюмы и грохотали поздними громами. Дожди сочились бесконечно, и солнце бродило неизвестно где, неделями укрытое от земли серой шерстью набухших дождями туч.

Эхо стало отзывчивее будто где-то между горами и небом освободились полые дали, и голос касался их скользких стен и падал назад, как бумеранг.

Кабаны стадами подрывали леса. Неуклюже укладывались снега на горных склонах, подминая холодные цветы эдельвейсов. Зима выпалывала лес.

«Человеку надо четыре времени года, — говорят старые черкесские песни: — весну, чтоб любить, лето, чтобы жить, осень для спокойных мыслей и зиму для отдыха и сна».

Мирный чеченец Казбич приводил продавать коней, и Мишель купил четырех кабардинцев, тощих, как гончие псы, пружинящих каждым мускулом. По утрам переводчик обучал его татарскому языку. Мишелю виделась Мекка, базары Тавриза и Мерва, голубые мечети Бруссы. Он дымил трубкой, раскуривая ее своими стихами, и скучал от затяжного уюта и безделья. Он почти ничего не писал, т. е. ничего не сохранял из того, что писалось. Стихи его были отпечатками дней, дни же были бездейственны. Словесный снежок медленно вырастал в сугробы строф.

Он почти ни у кого не бывал. Люди наскучили ему бесконечно, а без людей и стихи писались горячей. Только небо да горы, да краски чеченских лесов, да бедную музыку чеченских песен терпел он, все же остальное было противно ему. И он мечтал теперь не о том, чтобы найти веселые и шумные впечатления, — нет, цельные чувства боялся расходовать он, а берег для стихов. Хотелось иного, чтобы другой кто-нибудь пришел и влил в него, ничего взамен не требуя, свежее вино чувств. Иногда он посылал за Казбичем, и тот устраивал в мирных аулах пляски под бубен и тару. Музыкантов сгоняли плетьми, танцовщиц одаривали деньгами.

Мишелю подавали айран в низких широких чашках и мед и укладывали на мутаках, как важного гостя. У горцев чудесны «сумахи» — тонковорсные ковры, — и отлично танцуют их тонконогие девушки протяжный танец, заунывную хайдарму.

12 октября на фуражировке за Шили он в конном строю атаковал превосходные силы «хищников» и убил многих собственной рукой. Через три дня, 15-го, командуя своими и дороховскими охотниками, он овладел переправой через реку Аргунь и рассеял скопища «хищников», препятствовавших движению отряда.

В солдатской шинели, каприза ради носимой, и в красной канаусовой рубахе он жестоко охотился за Кавказом.

Горцы знавали его в лицо и, восхищаясь, как дервишем, оставляли в живых.

После Аргунского боя Мишель испросил четырнадцатидневный отпуск. Кони и слуги были оставлены в крепости, и с собою он наметил взять одного камердинера Соколова.

Друзья допытывались, куда он едет.

— Еще наверное не знаю, — говаривал он уклончиво. — Не решил. Хочу где-нибудь отдохнуть.

Стал он носить на шее небрежно повязанный черный платок и рубаху сменил на старый военный сюртук без эполет, не доверху застегнутый, так, чтобы из-под него виднелось ослепительной свежести белье, которое он запросто одевал на грязное тело.

С линии он проехал в Пятигорск, из Пятигорска, не задерживаясь, в телеге, запряженной сытыми казацкими конями, взял направление на Тамань, чтобы зачеркнуть две тысячи верст, отделявшие его от мадам Адель. В дороге он проявил необыкновенный аппетит, хотя и худел с каждым днем. Он почти не спал и целые дни проводил в непрерывном возбуждении, орал с ямщиками песни, дулся в карты с Соколовым, а на станциях упивался водкой и рассказывал под честное слово секрет, что он родом чеченец, но выкормлен важным князем и теперь едет к султану торговать пленными. Лохматая чеченская папаха, серебряная шашка и баловный мат делали его кумиром всех станционных дам.

Уже кричали по ночам осенние ветры. Дороги были скользки и тяжелы, кони истекали грязью, как поросята. Меняя лошадей и телеги, Мишель обгонял версту за верстой. Под вечер он обязательно уже напивался и спал, громко храпя до середины ночи. Ночью же просыпался среди тишины, чувствуя ломоту во всем теле и тяжесть в голове.

Может быть отсутствие впечатлений в ночной тишине, может быть слабая, а потому ясная работа мозга после сна помогали ему в эти минуты осознать ложность своего поэтического побега. Ему хотелось бы жить в вечном огне высоких и напряженных страстей, в солнцевороте героических подвигов, и, как щенок без чутья, он искал их, судорожно цепляясь за все, проходящее мимо.

Люди смеются, когда им смешно, но никогда не смеются люди, чтобы им стало смешно. Он же смеялся именно так, ища в смехе веселья, которого не было внутри. В полусвете ночей он понимал многое из того, что делало ложным его дни, но наступало утро—и, вместе с солнцем и биением жизни, его снова волною охватывали впечатления. Иногда по ночам шли стихи. То были строчки недорожденных когда-то песен, два-три слова, оставшихся в памяти, или неясные фрагменты новых запевов.

Многое напоминало «Мцыри» — поэму, еще не успевшую раствориться в памяти меж других, взявшую много усилий и воли. Он думал часто, что сам он — Мцыри, убежавший на волю из монастыря, и в эти минуты проступали стихи, очень похожие на те, что им были где-то, когда-то вылиты. Строчки шли отдельными волокнами, и было неизвестно, в какой стих они выльются. Но мотивы тоски и сиротства сплетались с другими — с запевами гневного пафоса и мудрой холодностью агасфе-

ровой. Эти строки осторожно копил он для «Демона», над которым не переставал работать даже в пути. Героический пафос слагается, — знал он, — из поступков, которые нужно делать, и поступков, которых делать нельзя, но в жизни он делал все, что подвертывалось, а потом безвольно плутал в океане лживых и честных дел своих, чтобы по-хозяйски, всегда любовно, подобрать тут и там, где бы ни пришлось, следы свежерожденных стихов.

Холмистые предгорья Кавказа расплетались косицами низких долин, долины сходились одна с другой в просторные степи, и в них и дышалось и думалось легче. Степи были студены и гулки.

Он перебрался через пьяный осенний Азов, и уютный теплый дождишко встретил его на крымских берегах. Солнце мигало, как медленная молния, поминутно прячась и выходя из-за туч, день ломался по нескольку раз, земля была сыра и дни неторопливо сонны.

Мягкие женственные горы и розовый песок дорог, незлобивые краски привыкших к человеку цветов, их ласковый аромат — все было ново после Кавказа, дымящего обвалами, тяжелоглыбого, широкогорого, пронизанного рубцами ущелий, повитого дикими реками. Цветы Кавказа пахли скупо — запахом вольного одиночества. Гордые птицы там пели острые песни, гнездясь на грязных, вздыбленных скалах. Там грозы ревели пьяными ревами и стучали в крыши гор огненными кулаками. Здесь все было другое. Горы легли на лапы, как добрые псы, мягко выгнув крутые хребты свои, и птицы пели не для себя, а для человека, и цветы цвели для людей, а не для себя.

И человек приказал цвести одним и завянуть, исчезнуть другим. Он указал горам их предел и протянул, как границы их царства, свои дороги, в бандажи виадуков он взял непокорные реки и кандалами мостов приковал их к издавна проторенным руслам.

* * *

Голубые дни пахли свежими дынями. Загорало море.

На яхте «Юлия», принадлежавшей Тебу де-Мариньи, мадам Адель огибала крымские берега. Гидрограф становился с каждым днем настойчивее. Двухлетние муки его любви грозили разразиться ошеломляющим ударом, и мадам Адель обещала ему себя. На борту «Юлии» находился между тем ее муж, и для романтических встреч яхта была неудобна. Теряя рассудок в предощущении награды, Тебу де-Мариньи вел себя взбалмошным ребенком. Он выдумал тысячи способов, чтобы осторожно разобщить супругов, он менял направление яхты, он носился с проектом опасных экспедиций к немирным горцам и, наконец, что-то решив, бросил якорь в Балаклаве и поместил мадам Адель в Мисхоре, у Ольги Станиславовны Нарышкиной.

Заинтересованная приготовлениями своего пылкого поклонника, мадам Адель разделяла его волнения. Близость новых ласк, вскрывающих очарование двухлетнего флирта, сделала ее нервной от страсти

самкой. Седой красавец Тебу де-Мариньи, готовящий себе и ей любовное ложе, этот нервный Тебу де-Мариньи, этот суеверный Тебу де-Мариньи, делающий роман, как опытный и терпеливый полководец, рождал в ней острое любопытство тела.

Приготовления к страсти иногда в состоянии заменить самую страсть. Мадам Адель, для которой влечения тела были средством к большой игре, гораздо больше любила открывать новые возможности, чем подытоживать достигнутое.

В Мисхоре, у Нарышкиной, Адель вторично вынуждена была повторить свое обещание Тебу де-Мариньи, заодно позволив ему некоторые традиционные у любовников вольности. Они условились встретиться назавтра, после большой, для виду затеянной прогулки.

Накануне их встречи они втроем — Игнатий Омер де-Гелль, мадам Адель и Тебу де-Мариньи — проводили вечер на яхте. Разговоры вертелись вокруг героических тем, и гидрограф рассказывал о своих странствиях, как если бы он измерял не глубины морей, а глубины страстей человеческих.

Берега Азовского моря порастали в его рассказах романами и авантюрами.

Было темно, когда горничная мадам привезла на ялике письма с берега.

— Отлично, — сказала мадам, прочтя. — Вы знаете, приехал Лермонтов.

— Ха! — сказал гидрограф.

А супруг мадам Адель улыбнулся и сказал любовно:

— Гамэн. Но величайший поэт. Рад видеть.

И специально обернулся к мадам Адель:

— Я не шучу. Ты вглядись в него.

— Я вгляжусь, — серьезно ответила та и потом засмеялась. — О, м'сье, я вгляжусь. — И поцеловала лоб мужа.

— Ха! — сказал, о вернув глаза, гидрограф.

Немного погодя, он обратился к мадам:

— Я бы мог, если вы хотите, пригласить его с нами, а? Скажу откровенно, я не люблю его, но...

— С нами? — спросила Адель. — Куда это с нами?

Тебу де-Мариньи бросил заговорщицкий взгляд на Адель и опасливо кивнул на супруга.

— Что это значит — с нами? — еще раз спросила Адель. — Я сама теперь жду его приглашений.

— Ха! — крикнул Тебу. — Я оборву ему уши, мерзавцу. Как вы находите это? — и он обратился к мужу.

— Гамэн, гамэн, — покачал тот головой. — Мальчишка. Но очень незаурядный поэт.

Отбросив стул, Тебу выскочил из салона.

Супруги Омер де-Гелль встали, чтобы отправиться к себе на берег.

* * *

В бороздинской роще, близ Кучук-Ламбата, мадам Адель и Лермонтов отстали от компании. Он говорил много, с красноречием, способным обратить вспять свои же мысли.

Часто между двух фраз он спрашивал ее:

— Ты любишь меня?

И она, смеясь, отвечала ему:

— Нет, нет, Лермонтов, я не люблю вас.

Он вновь погружался в рассказы о душе, тоскующей по ясности, о русских женщинах, для которых любовь — простой, навеки затверженный пасьянс.

Он говорил ей о том, что меняет женщин, как мундштуки, что он не помнит их имен, что он ненавидит эти мягкие, сытые женские сладости, которыми женщины хвастаются, как произведениями добрых фирм.

— Знаете, Лермонтов, я не могу сказать вам — люблю ли вас. Я рада вас видеть, рада быть с вами, я скучаю, когда вас нет, я люблю ваши дерзости, но подумать, что я могла бы жить с вами изо дня в день, в кругу ваших диких страстей... Нет, я не могла бы так жить.

Заблудившийся над рощею ливень расплевался вдруг крупными каплями. Блуждая по заброшенным тропкам в поисках приюта, они набрели на охотничий киоск Нарышкиных и там сыграли скучную партию в биллиард, как будто ничего не было говорено.

Закончив игру, он прочел ей из Гейне четыре строчки. Он любил их и все собирался перевести стихотворение целиком:

Они любили друг друга долго и нежно,
С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной,
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и холодны их краткие речи.

...Он тихо заснул, ее ожидая. Сосна над ним струила теплый мед. Дымок осеннего зноя устилал низины леса. Во всем теле была усталость, но голова работала бодро.

Сняв старый боевой мундир, оставив заботы о днях, недругах и общественном мнении, он отдыхал. Все казалось легко осуществимым.

— Родной мой мальчик, — она коснулась его нежным поцелуем, — я тебя замучила? Ты устал?

— Мне некуда девать свободу, — сказал он, нежась в полусне. — У меня так просторно в душе, как никогда.

— Поедем в Анапу, — предложила она. — Тебу де-Мариньи предлагает мне проехаться на «Юлии». У него какие-то дела с тамошними горцами. Поедем?

— С тобою — куда угодно, — смеялся он.

— Ты посмотришь Кавказ с другой стороны. Хорошо?

Он вдруг что-то сообразил и сказал, заговорщицки пригибая к глазам брови:

— Да, кстати, мне ведь и по службе надобно побывать в Анапе.

— Ты мне этого не говорил, — удивилась она.

— Ну, да, не было случая, — ответил он. — Сначала, конечно, надо в Питер, а потом в Анапу.

— Вот странно!

— Ничего странного, радость моя. Война, служба, секреты... Но ты, пожалуйста, никому ни слова.

Но к вечеру он забыл о своей лжи относительно служебной поездки в Анапу и уже выдумывал смешные истории, как он вдруг явится к горцам в качестве французского гостя, как он встретит чеченских князей и будет учить их побеждать войска российского императора.

— А дела? — спросила мадам Адель.

— Какие дела? — ответил он. — Я, ведь, еду, чтобы быть с тобой.

И вспомнил утреннюю ложь:

— Это я сказал для твоего мужа. Иначе неудобно.

— Ты боишься мнени і света? Ты боишься мужа? Ты стесняешься Тебу? Тебе стыдно любить меня?

— Нет, видишь ли, тут просто деловые соображения. Мне надо быть в Питере, радость моя, между тем я нахожусь в Крыму. Но Питер, понимаешь, тоже секрет...

Но, по правде говоря, Питер ему был нужен так же, как горцы в Анапе. Питер был выдумкой, чтобы скрыть истинную цель его пребывания в Крыму.

...Волосы ее были черны, но не пружинны и не кольчаты, как косы грузинок, а шелково-просты и податливы, укрощенные цивилизацией.

Волосы ее пахли тончайшей розой, будто был это их врожденный запах. Для них берегла она в своих странствиях снадобья анатолийских прелестниц — желтую кровь сырых и мясистых смирнских роз. Вся она была — Восток, стилизованный Жерар де-Нервалем из окон неаполитанских альберго.

Остроумие было такой же чертой ее характера, как и любопытство. Остроумие было ее родным языком, на котором она позволяла себе говорить с ошибками, извинительными для хозяина языка. Перед нею все другие говорили на нем с акцентом. Лермонтов же просто перестал острить и откровенно глупел, стараясь лишь об одном, чтобы хоть регулярно в чем-нибудь лгать... Так, он полагал, установится нормальное соотношение сил.

Но во всем, что касалось ее, была всегда другая, сразу дающая о себе знать жизнь. Она была настолько другой, необычной, что, казалось, и целовать ее нужно было иначе, чем своих.

...Однажды в бред их ласк вошел Игнатий Омер де-Гелль.

— Тебу уезжает, оставляя нас, — сказал он. — Я попробую его задержать, Адель.

...Она целовала его глаза, и на них оседала роса ее губ, сдобренных мудрыми специями.

Не он ли и есть тот суженый, которого ожидаешь с детства? Поэт, рыцарь и любимый любовник. Не он ли?

Игнатий Омер де-Гелль мирился с Тебу де-Мариньи, выручая жену от справедливого гнева господина голландского консула.

В то же время мадам Адель слала на яхту записки, не скупясь на озорные намеки, на обещанья, на все, что могло бы помочь торговле оружием с горцами и изучению дна Азовского моря.

Она думала: что, если бросить Францию, мужа, яхту, голландского консула?

И он думал: — что, если бросить Россию?

Кто-то из двух должен был захлопнуть ворота в свою жизнь?

Но бросить стихию Европы? — и она отвечала: — нет.

Но бросить стихию России, стихи и Россию? — и он улыбался и лгал.

Между любовными словами набежали стихи.

Он записал их...

Душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много; только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья упреков
И жалоб...

Решил включить их в «Сказку для детей».

А Тебу все приходил и уходил на яхте. Игнатий Омер де-Гелль вел с ним таинственные переговоры, и голландский консул, наконец, смирясь, стал ждать, когда кончится романтический отпуск поручика Лермонтова.

И кончился отпуск. Они простились на станции. Ямщик-татарин распустил колокольные бусы у коней. Он сразу взял шибко с места и оборвал все их сомнения. Улыбаясь, чтобы не заплакать, и все время махая рукой, офицер, похожий на старого мальчика, скрылся за домами. Баркас ждал ее у пристани. Он быстро доставил ее на палубу яхты, где начинался день новой любви, после шестнадцати часов увлечения русской поэзией.

* * *

И опять потянулись две тысячи верст. Две тысячи верст — за десяток часов любви. Телеги трещали. Поручик Лермонтов гнал ямщиков, повышая их ретивость всеми доступными средствами. Он не хотел никого видеть, пока не начнутся родные кавказские места. Там в горах, на чеченской линии, остались недопетые стихи. Рукописи «Демона» тре-

бовали последних пробегов пера. В уме завязывалась «Сказка для детей». Надо было жить и любить в армейских трактирах.

— Иван, скоро Кавказ? — спрашивал он из кибитки.

— Ден через шесть, барин, — отвечал тот. — Вот как покажут себя холода, значит скоро. Даст бог, обернемся к сроку.

— Ну, да, обернемся, — отвечал барин.

И Кавказ день за днем подбирал их выше и выше, в свои стремнины.

* * *

В России при всех режимах солдаты пахнут одинаково. Запах казарм, как и запах помещичьих гнезд, выношен столетиями и крепок, как старые монастырские вина. Литературен дух российских казарм. Он возбуждал поэтический пев разнообразных российских поэтов. Как тараканы на сахар, собирались на этот дух молодые поэты, чтобы, вдыхая его, писать о любви, о страданиях, о человеческой гордости. Обоняние русской музы, молодой еще девушки, раздражал только он, удивительный, пряный, славяно-монгольский.

Пятигорск в осенние дни отдавал провинциальной казармой. Здесь стихи стремились неудержимо, как искристое Аи.

Соколов и Христофор Элиадзе развязали бариновы узлы и вынули вишневые чубуки и папки рукописей. В чубуках зашевелился кудрявый жуковский кнастер, пахнущий клевером, и на жертвенники из кахетинской вишни в темной серебряной оторочке были брошены дни, версты и любовь, чтоб воскурились стихи.

Дня через два после приезда в Пятигорск, намереваясь уже отправиться в горы, на линию, поручик Лермонтов зашел в «казенную» гостиницу, к Найтаки.

В комнатах развязно дымили лампы. Несколько человек батарейцев да адъютант коменданта невесело играли в штосс.

— А-а, граф Диарбекир... Майошка... Здорово!

Посыпались шутки, и начались нескончаемые вопросы.

— Так где же ты был? — спросил Лермонтова Трубецкой.

— Охотился, — подумав, ответил Лермонтов.

— Где это? Один?

— Далеко, знаешь, — ответил досадно Лермонтов и вдруг взял Трубецкого за пуговицу мундира и тихо сказал, отведя в сторону:

— Ты знаешь, я ведь в Крыму был, у Омер де-Гелль.

— Ну, и хорош же мальчик, — покачал головой Трубецкой. — Счастье твое, не нарвался на беду, могли бы разжаловать. Ну, рассказывай, рассказывай...

— Нет, ты знаешь, это замечательная женщина.

И его подбородок по-детски затрясся.

— Ты знаешь, я проскакал в тележке две тысячи верст, чтобы быть наедине с ней несколько часов.

Ошеломленный Трубецкой, никогда не видевший слез на этом злом чернявом лице, не смеялся, повторяя теперь:

— Ну, хорошо, что ж, очень хорошо, что ты...

— О, если бы ты знал, что это за женщина. Умна и обольстительна, как фея.

— Что ж, очень хорошо, ну что ты...

— Ты пойми, я проскакал две тысячи верст, чтобы побыть с нею десяток часов и написать стихи... Какая это необыкновенная женщина. Как много я оставил у нее.

— А ну, прочти, родной, стихи, прочти, — попросил Трубецкой.

— Хорошо. Таких я еще не писал. Она, брат, очень хвалила их, понравились.

Лермонтов погладил рукою лоб.

— Сейчас, — сказал он, — как это... Отличные стихи, понимаешь, вышли.

— Ну-ну!

Но медленно сняв свою руку с мозолистого лба, Лермонтов тут же виновато рассмеялся.

— Ну, вот, поди ж. Забыл.

Еще раз подумал, скосив глаза в угол.

— Ну, забыл окончательно, — сказал. — Все забыл.

Над клокотаньем рек, текущих вразброд, над грозными рыками обвалов, на тропах, размноженных обвалами, восходил, в криках ветра, запах российских казарм, и Кавказ харкал кровью и песнями.

Одесса. Август—сентябрь 1928 г.

---

# Сын.

(Рассказ.)

Виктор Дмитриев.

Глава первая.

Движения души, как и паровозы, подчиняются тому же закону инерции. Царевский знал, что железо не отпустит и уйти удастся разве только подобно лисице, отдающей капкану защелкнутую ногу. Но все-таки, даже зная, даже угадав до конца, Царевский еще несколько секунд продолжал начатый раньше смех. Этот странный, непроизвольный смех испугал его больше, чем самое приключение. Царевский замолчал и услышал звонкую морозную тишину. Тишина напряженная, как тугой обруч, стягивала окрестности. Она стесняла дыхание. Было три часа. Краткосрочное январское солнце стояло на дальнем пригорке, и две сосны, как конвоиры, держали его под руки.

В Кержеме, в городском театре, уже начиналось торжественное собрание, от которого ушли Михаил Царевский и его сын Евгений. Председатель губернского совета Иваненко, ковыряя пыльную позолоту холстинного дворца, наспех просматривал листки с конспектом и выметками к сегодняшней речи. Он начнет так:

«Сегодня первое слово должно быть сказано о товарище Царевском. Все вы цените и любите Михаила Ефимовича, но не все знают, какую большую работу он сделал за последний год.

«Наш железнодорожный узел, один из важнейших в республике, удвоил пропускную способность. Царевский исполнил неисполнимое задание. Вчера мы испытали его последнюю завершающую затею — электрифицированные стрелки. Они работают исправно. Больше не бродят по путям зеленые стрелочники, не дудят в свои меланхолические рожки. В пустой просторной комнате сидит чисто выбритый человек. За пять минут до очередного поезда он прижимает нужную кнопку, и в версте или в трех от станции плавно и мощно перемещаются крестовины. Спустя четыре минуты, поезд, не оглядываясь и не умедляя бега, переходит на другой путь... Мало того: не в пример заграничным дорогам, у нас вся проводка и передаточные коробки помещены под землей. Это предохраняет их от морозов и повреждений.»

Иваненко взглянул на часы. Время было начинать.

— Откроем пока без Царевского, — сказал он и шагнул на сцену, пошатнув плечом зеленую украинскую ночь.

## Глава вторая.

Отец и сын вышли из города час назад. Вместо собрания они с Евгением выступили на трехдневную охоту.

Царевские шли быстро и молча, звонко ступая по промерзшим обдутым шпалам. Треугольное солнце било им навстречу из дымящегося белого простора. Евгений часто забегал вперед. Снизу вверх он восторженно заглядывал Царевскому в глаза.

— Отец, — сказал он, не вытерпев, — орден тебе дадут?

— За что? — спросил Царевский. — За узел? Н-ну!

«Н-ну» должно было означать: «конечно, дадут. Что поделаешь с чудаками. Но только настоящий человек старается не ради побрякушек. Орденами могут увлекаться честолюбивые глупцы».

Зная весь строй отцовских мыслей, Евгений так и понял. За минуту перед тем, еще спрашивая, он с гордой радостью мечтал об этой самой побрякушке. Славный отблеск краешком должен был озарить и его, Женю. Сейчас он вслед за отцом снисходительно и понимающе усмехнулся человеческому тщеславию. Даже рукой при этом Евгений сделал в точности как Царевский, словно смахивая пылинку с полы полушубка. Да, уж кто-кто, но его отец — настоящий человек с ясными глазами и длинным дыханием! Вот он идет рядом в своих охотничьих сапогах, на голову выше лучших героев любимых книг. А его парабеллум с надписью «За взятие Бирзулы»! А пропоротая рогатиной медвежья шкура в столовой! У него заиндевела обыкновеннейшая куцая бородка, и из драной варежки выглядывает палец. Он — свой, пахнущий табаком и тюленьей курткой... Когда-то, бывало, Евгений медленно засыпал в своей детской кроватке, а отец за стеной ходил от окна к столу. И каждый раз он опирался о стол, и стол скрипел... «Отец, — неожиданно подумал Евгений. — Хорошо бы умереть за него!»

Сухая снежная даль горела нестерпимым беглым огнем. Миллиард снежинок блестел вместе и каждая порознь, под собственную ответственность. Мысль о смерти была ничуть не страшна, а только умилительна. Евгений схватил отца за рукав и, задыхаясь от перехватившей горло нежности, сказал:

— У тебя драная варежка. Хочешь, дома я зачиню?

Царевский, как умел, погладил Евгения по плечу.

— Стой, сынку, — предложил он, — покажи свое умение. Сшиби вон ту галку.

Евгений потянулся за берданкой, но ехидная птица снялась и, осыпая снег с проводов, улетела. Евгений встал на скользкую узкую рельсу и медленно пошел по ней. Отойдя несколько шагов, он весело и

победоносно посмотрел на отца. Тогда Царевский, улыбаясь, встал на другую рельсу и вскоре обогнал Евгения.

— Ай, сынку! — усмехнулся он. — Выходит сорок пять — тебе! А мне — семнадцать!

Евгений прибавил шагу, но поскользнулся. Балансируя, он вздернул правую ногу, зацепил ею за семафорную проволоку и упал навзничь. Стеклянный снег запорошил ему глаза и набился в карманы. Когда Евгений поднялся и отряхнулся, он увидел, что отец стоит шагах в шести впереди по полотну и странно размахивает руками. Рукава Царевского метались, разбрасывая резкие тени по сугробам.

## Глава третья.

Когда Евгений упал, Царевский расхохотался. От смеху он потерял равновесие и соступил одной ногой с рельсы. Поджидая сына, он неспеша набивал трубку, как вдруг ощутил в этой оставленной ноге сильный толчок, отдавшийся по всему телу. Ступню его стиснули тяжелые холодные челюсти. Холод проник сквозь сапог и пошел по коже.

Царевский аккуратно вытряхнул табак и спрятал трубку. Ему некогда было курить. Он стоял на скрещении, и ногу его защемила стрелка. Царевский наизусть знал свой узел. Стрелка не могла отпустить. И все-таки он жалко и мощно дернулся всем большим телом. Порвалосьголенище, но сталь не уступила.

Это было очень смешно. Его вталкивало в бестолковую смерть собственное детище — стрелка, которую он так долго, с таким тщанием налаживал.

Царевский заметил, что все еще улыбается, и ему стало страшно. Прошло так мало времени, что потревоженная падением сына семафорная проволока еще дрожала. С нее облетали белые порошинки.

— Отец! — закричал Евгений, подбегая.

— Тише, — сказал Царевский, морщась от боли в занемевшей ноге. — Видишь, меня схватило. Беги на станцию. Или нет. Не поспеешь. Навстречу...

— Да, да! — перехватил Евгений, стараясь хотя бы суетой заглушить свой ужас. — Да, я побегу навстречу поезду.

— Не шуми, — остановил его Царевский. — Мы не знаем, откуда он придет.

Евгений повернулся на месте, схватил себя за ухо, потом обнял отца и изо всей силы потянул на себя. Ничего не добившись, он бросился наземь и вцепился ногтями в рельсу, стараясь посторонить ее хоть немного. Крестовина не подавалась. Где-то на станции в пустой просторной комнате сидел чисто выбритый человек и тонким пальцем прижимал белую кнопку. Сдвинуть этот палец было Евгению не под силу. Он безнадежно и бесцельно рвал и тормошил мерзлое железо, ломая почти

рыл костяную неподатливую землю, а беговые секунды одна за другой скакали к финишу вокруг циферблата.

Лисица, выбиваясь из капкана, отгрызает собственную лапу.

— Ну, — сказал Царевский, — довольно! (Он пришептывал. Мороз и волнение сводили челюсти.) — Сынку, бери нож!

Евгений встал на колени. Царевский протянул ему свой большой охотничий нож с костяной рукояткой, но он не взял и медленно отворотился.

— Женя, сыночек, — сказал Царевский.

Он взял Евгения за плечо и насильно сунул нож ему в руку. Евгений, попрежнему глядя в сторону, одеревенелыми, не своими пальцами раскрыл лезвее.

— Скорее, скорей! — еще тише сказал Царевский.

Евгений нагнулся и, пересиливая себя, разрезал на Царевском сапог и штанину повыше щиколотки, там, где голень выступала из щели между рельс. Царевский сцепил пальцы. Чтобы не крикнуть, он ногтями вцарапался в ладонь. Нож легко вошел в мясо. Из пореза брызнула кипящая кровь. Тяжелые черные капли падали в снег и пробивали курящиеся отверстия. Евгений затрясся и отнял нож.

— Женька, режь! — сказал Царевский перекошенным голосом.

Евгений, не отвечая, смотрел, как запекается кровь на клинке.

Царевский наотмашь ударил его кулаком по уху. Евгений покачнулся и повалился набок. Царевский пнул его свободной ногой в живот, и он, задыхаясь, пополз в сторону, грызя и царапая плотный, убитый снег. Нож звякнул о шпалу.

Царевский почувствовал, что у него есть сердце и что это сердце колотится, как камушек в погремушке. Все его внутренние органы восстали против него. Они жили отдельной жизнью. Кровь текла по жилам, как хотела. Легким нельзя было приказать. Это был бунт собственного тела. Только руки — надежные, жилистые руки — еще хранили верность.

Подняв нож, Царевский трудно изогнулся и полоснул по старому порезу. Узкое выщербленное лезвее ушло в мякоть на пол-ширины. Царевский стерпел и резанул еще. Сталь скрипнула о кость. Царевский потерял сознание. Но даже в секундном беспамятстве он не разжал окостеневший кулак.

Очнувшись, Царевский отер клинок о рукав.

Присев поодаль на корточки, Евгений всхлипывал и покачивался. Он смотрел, как отец режет ногу, и из его рта свисала резиновая слюна.

## Глава четвертая.

Из-за поворота вышел хриплый ржавый почтовый поезд. В плацкартных вагонах смирные люди исполняли свои обыденные пассажирские дела. Они глодали цыплячьи ножки, спешили в уборные, и они же везли с собой смерть. Машинист не мог остановить так близко. Весь этот мир, не зная

и не понимая, стеной ломил вперед. Буфера гремели. Рельсы вздрагивали далеко впереди. Паровоз гнал перед собой гул и ветер.

Царевский крепче стиснул бесполезный тяжелый нож и, как мог далеко, откинулся в сторону. Он все еще надеялся спастись, отдав только ногу. Царевский тянулся к жизни, простирая к ней вопиющие руки, цепляясь за пустоту, растягивая хрустящие связки и сухожилия. Старая котиковая шапка упала с его головы.

— Папа! — закричал Евгений, в смятении вспомнив давнишнее детское слово.

Он не слышал, что ответил отец. Чугунное небо с грохотом обрушилось на него. День зашатнулся и померк.

Царевский даже не выругался. Последнее, что он сказал сыну, было обыденное житейское и потому еще более несмываемое слово. «Шляпа» — сказал он, и смерть перебила его. Горячие, скрежещущие колеса прошли по телу Царевского.

Иваненко оперся локтями о кафедру.

— Товарищи! — начал он, — Кержемский железнодорожный узел удвоил пропускную способность. Царевский исполнил задание. Вчера мы испытали его последнюю завершающую придумку — электрифицированные стрелки. Они работают исправно.

---

## Утро республик.

Заря поднимает гребни розовые
И медленно расчесывает облачные косы.
Трое приятелей разговор вели,
Но я обходил вопросы.
Что мне сказать? С головы до пят
Дымная усталость меня опутывает.
В час, когда нервы о сне вопят,
Разве расскажешь что-нибудь путное?
Стойте! Вы слышите ровное скрипенье
Черных осей прочного мира? —
Это вступает в право владенья
День завода и день квартиры.
Жизнь моя, товарищи, питается работой,
Дайте мне дело пожестче и бессонней,
Что-нибудь кроме душевных абортов —
Мужское дело, четного фасона.
Честное слово, кругом весна,
Мозг работает, тело годно. —
— Шестнадцать часов для труда!
Восемь для сна!
Ноль—свободных!
Хочу позабыть свое имя и званье,
На номер, на литер, на кличку сменять: —
Огромная жадность к существованью
На теплых руках поднимает меня.
Из топок зари рассыпаются угли.
По знаку дорог, городов, деревень
Железные рты молодых республик
Приветствуют ревом встающий день.

*В. Луговской.*

## Делатель вещей.

Не плакать, не хныкать, не ныть, не бояться,
Но челюсти стиснуть до боли,
Но кровью печатать в сердцах прокламации
Сухой человеческой воле.

Один поглощает наплывы экрана
Мечтая о пальмовом береге.
Другой громоздит ледокольным тараном
Стеклянные плиты айсберга.

Один говорит, говорит до рассвета
О радости и о покое.
Другой копошится разбитым скелетом
В равнине больничных коек.

Ни пуля, ни голод, ни смерть, ни болезнь
Нахмуренный лоб не утишут.
Кто крепко решил задыхаться и лезть,
Тот влезет как можно выше,

Тот буром вопьется в кромешную копь,
Тот в биологическом студне
Под микроскопом отыщет дробь
Бацилл чумовых будней.

Он станет на стройке, как техник и жмот,
Трясясь над кривыми продукции,
Он тощими пальцами дело нажмет,
Он сдохнет — другие найдутся.

Не спится ему: — конденсация сил
В мозгу телеграфом стрекочет,
И прыгает мысль, как литое шасси
В ухабах подушечных кочек.

Стакан в изголовьи звенит, как звонок,
В руках председателя Ночи.
Хронометр считает количество строк —
Он так же безжалостно точен.

Хронометр сдается минуты губя,
Под утро его заводят.
А этот, лежащий, заводит себя
Глухим нетерпеньем заводов.

К нему в обработку идут горюны —
Народец от скуки зловещий.
Он делает длинное дело страны,
Он делает нужные вещи.

*В. Луговской.*

## Предательский удар.

Ты засыпаешь. Гул. Летает первый снег.
Летает первый снег, восторженный, как детство;
А город сделался честнее и грустней
От маленького твоего соседства.
Суровых скрипок вой, за шторой, за окном.
Трамвай роняет сорванный звоночек.
Шкафы растут. И в жилах стынет бром —
Свинцовый сумрак европейской ночи.
Ты скорчился, как мокрый троглодит.
Пещера сна вбирает волчьи морды,
И ночь Европы сумрачно глядит. —
Какой ты голый, сонный и негордый.
Прочь! Прочь и прочь! Рок снова отдален.
Ночь! Отведи предательский удар свой!
Спи, сумрачный! Ты молод и умен!
И над тобой сверкание знамен
Единственного в мире государства.
Ночь! Я прошу тебя! — ты можешь все учесть,
Не рви рабочую его карьеру.
Пусть он спокойно носит эту честь,
Тревожную, как сумка дипкурьера.

*В. Луговской.*

# Из северных стихов.

1.

Какой сегодня говор небывалый
У накрененной серой каланчи!
Как меж телег торжественно и ало
Струится ситец, льются кумачи!

Из деревень идет за парой пара
— Длинна кошниц расписанных гряда,
Чтоб отыскать меж скудного товара
Друзей добротных, спутников труда.

И, щеголяя медленной осанкой,
Осматривают бережно жнецы
То синий серп с пунцовой рукояткой,
То легкой грабли прочные зубцы.

И я, свободный, медленный бродяга,
Душе нежданный чувствую приют.
Слова труда, как новая отрада,
В моих стихах, я знаю, запоют.

Моя душа от вольности устала;
Не нужно мне признание друзей;
Хотел бы я, чтоб песня пропадала
В глухих просторах родины моей,

Чтоб там она, где зори всходят ало
Над дальней, над зеленой полосой,
Движенье вольной музыки сплетала
С движеньем рук, владеющих косой.

2.

Во ржах понурых тишина;
Безмолвье злое у овина.
В оврагах грузно залегла
Лесов небритая щетина.

Но побеждая серебро
Озер и ветреного неба,
Ладья вонзается остро
В песка прибережного гребень.
Пастух, неведомый вчера,
Твой сын, твой «пасынок природы»,
Пророчит парням у костра
О солидарности народов.
Ты видишь, искрится бурьян,
Взлетают огненные перья,
И озаряется туман
Тысячелетний Белозерья.
Мечта о праведной судьбе
Твоим сынам нужнее хлеба.
Твое полно зарею небо.
Как сладко, родина, тебе!

3.

Спит мальчонок высок и тонок,
В изголовьи, как добрый пес,
Прикурнул золотой ягненок
Развеселых его волос.

Я люблю тебя, стройный север,
Хитроглазый тихоня мой,
Твой румяный, твой белый клевер
Да снега голубой зимой.

Белой ночью к светелке малой
Много сказок лесных пришло.
Лоскутового одеяла
Одурманивает тепло.

А вдали за твоим оконцем
Вьются реки, цветут поля,
Под твоим незакатным солнцем
Отдыхает твоя земля.

А вдали, все грозней да чаще,
Держат ели свои щиты,
И по рекам из черной чащи
Золотые плывут плоты.

И охотится с вольным гиком
Меткий ветер — товарищ твой,
И стучит он в весельи диком
Над оконцем руками хвой.

Но ты дремлешь, высок и тонок.
В изголовьи, как добрый пес,
Прикурнул золотой ягненок
Развеселых твоих волос.

Я люблю тебя, юный север,
Сероглазый тихоня мой,
Твой румяный, твой белый клевер
Да снега голубой зимой.

4.

Ты над Вычегдой рассветной
Возникаешь куполами,
Словно остров лебединый,
Где блаженствует Гвидон.
Но на площади зеленой,
Под досчатой каланчею
Щиплют серые козлята
Непримятую траву.
А под вечер, в лодке тесной
Трое вузовцев оркестром
На лужок соборной горки
Собирают городок.
А в ограде, у собора,
Под стройнейшими стенами,
Сохнет озерцо, в котором
Разводили жемчуга —
Те, что строгановской хваткой
Страны дальние дивили,
Те, что соболя ловили
Для московского царя.
И за хитрыми замками,
В прорезь кружев оловянных
Светит радугою древней
Драгоценная слюда.
Златокованные розы
Сканью тонкою увиты;
В узорочье баснословном
Черневое серебро.
А под сводами цветными,
Под ступнями непогрешных,—
Мрак неслыханный застенка,
Глубь невиданных темниц.

... Вот над Вычегдой широкой
Снова музыка струится,
Под оградою досчатой
Овцы серые бредут.
Мне не жаль жемчужной сказки,
Лебединого виденья.
О тебе и так, тихоня,
Можно детям рассказать.
Нищета и преизбыток,
Зло напрасное да благо, —
Все цвело на этом хрупком,
На песчаном берегу.
А под берегом небрежно
Воды ширятся, ласкаясь,
И, ласкаясь, подмывают,
Подмывают городок.

5.

На песок опрокинуть бы лодку
И под лодкой лежать у огня!
Ах, земля, нашей жизнью короткой
Ты опять соблазняешь меня.

Вольный труд, неизведанный берег
Да кудрявый, находчивый друг
Да порою, как добрые звери,
Две ладони ласкающих рук.

Снова дни задремали б на грани
Сладкой смерти и неги земной,
Как под лодкою дремлют зыряне
Над огромной лиловой рекой.

6.

Река ли надо мной плывет в зеркальном небе,
Иль небо снизошло в речной зеркальный мир?
И только край земли вонзил зеленый гребень
В лазурно-розовый и палевый эфир.

Вечерняя земля! Блаженная планета!
Зачем не всем дано под легкою луной
Глядеть в бездумный мир и пить потоки света,
Текучий твой покой, прозрачный пламень твой.

*Константин Липскеров.*

## Особенный человек.

(Памяти Н. Г. Чернышевского.)

1828—1928.

Ползла навстречу декабристам
Сибири ледяная мгла,
Когда в Саратове зернистом
Бунтарка-Волга родила.

В уютном домике мечтали:
Архиереем будет сын!
Но волны с Волги бились в дали,
И кровью зорь горела синь.

Средь мертвых душ метался Гоголь,
Под пулю Пушкин шел с тоски.
Уперлась русская дорога
В безвыходные рудники.

В потемках каторжного века
Висела над страной петля.
«Особенного человека»
Звала из недр своих земля.

И осветил он эту темень
Поры шпицрутенов и розг
И в наше огненное время
Вонзил оттуда гневный мозг.

Он мерил юными глазами
Европу, где безумный год
На баррикадах поднял знамя
Готовых в бой рабочих рот.

И, возвращаясь взором к Азии,
К России тюрем и плетей,
Искал среди кровавой грязи
Едва мерцающих путей.

Он сеял бурю. Но на всходы
Ложилась вьюга пеленой:
Ведь только первые заводы
Дымились в ночи крепостной!

Французы брали Севастополь,
И, кровью раненых румян,
Орел двуглавый крылья штопал,
Спасая шкуру от крестьян.

Пред всей страной вопрос — что делать?
Зиял, как темная тропа,
И царь острил одеревенело:
— Что делать? Им? Руду копать!

А на банкетах либералы,
Скрывая воли паралич,
О вешних веяньях орали,
Свободу превращая в спич.

Нет, «революция — не Невский»!
Не бойтесь гибели борцов! —
Твердил бесстрашно Чернышевский
Покорной «нации рабов».

Эй, поднимайтесь «из трущобы»!
Скорей на «вольный белый свет»!
Свобода требует учебы!
Борьба — истории завет!

И голос тихий громче грома
Носился в мертвой тишине.
В деревне вспыхнула солома.
В умах набат идей звенел.

Почуяв правду, разночинец,
Как озверевший в клетке лев,
В народовольческой кручине
На подвиг вышел, осмелев.

И во дворец вползла тревога.
Псари почуяли беду.
Ценой подлейшего подлога
Глашатай брошен в пасть суду.

Ясней, чем плесень в каземате,
Чем близость каторжной судьбы,
Чем туз бубновый на халате, —
Законы классовой борьбы.

Над головой сломали шпагу.
Он вне сословий! Он один!
Он отдан весь людскому благу,
Но он в цепях сибирских льдин.

В Париже бились коммунары,
Власть вырывая у врага.
Над ним безвыходным кошмаром
Дышала мертвая тайга.

А доктор Маркс, насупив брови,
Впивал в усатые уста
Цепной России говор вдовий,
Чтоб Чернышевского читать.

Уже над фабриками стоймя
Вздымались трубы на дозор,
И крал прибавочную стоимость
«Промышленный антрепренер».

И, «раскрестьянившись», крестьянин
«Кошачий» покидал надел,
Чтоб в пролетарском юном стане
Навстречу выходить беде.

За поколеньем поколенье
Врастало в бой сквозь тьму и сон.
Ребенком слушал с Волги Ленин
Бурлацких песен горький стон.

Под бревнами вилюйской хаты,
На этой вечной мерзлоте,
Жил Чернышевский, ночью сжатый,
Сгорая в бешеной мечте.

Глаза лазурные зажмурив,
Он там мечтал издалека
О вас, творцы Октябрьской бури,
О вас, советские века!

*Сергей Городецкий*

# Арест Розы Люксембург

(Варшава 1906 г.)

*Из воспоминаний.*

**Я. Ганецкий.**

Как известно, революционная и партийная деятельность Розы Люксембург протекала главным образом в Германии. Спасаясь от ареста, она в 1891 г. уехала из Варшавы в Цюрих и поступила там в политехникум. После окончания последнего она поселилась в Германии.

Находясь всегда на левом фланге, Роза Люксембург играла крупную роль в германской социал-демократической партии. Она вместе с тем справедливо считается одним из теоретиков польской социал-демократии («Социал-демократия Польши и Литвы»). Не находясь формально в составе Центрального комитета («Главное правление») этой партии, не принимая участия в ее съездах, Роза Люксембург имела, однако, крупное влияние на политическую и идеологическую линию Центрального комитета, партийных съездов и всей партии. Розой Люксембург дано теоретическое обоснование необходимости классовой борьбы польского пролетариата, находящегося одновременно под гнетом польских капиталистов и царизма, угнетающего польскую нацию и польскую культуру. Обосновывая необходимость борьбы польских рабочих совместно с пролетариатом всей России, Роза Люксембург дала правильный теоретический анализ идеологии так называемой «Польской социалистической партии» (ППС), доказывая, что партия эта не является партией пролетариата, не защищает интересы последнего, а наоборот — делает все усилия для того, чтобы свести пролетариат с правильного пути классовой борьбы. Это та же партия, которая в настоящее время, легально работая в независимой Польше, физически истребляет коммунистических деятелей, организуя их убийства из-за угла, и немало повинна в том, что польские тюрьмы переполнены коммунистами. Она сейчас явно защищает интересы капиталистов против рабочих, открыто выступает в роли польских фашистов.

В начале революции 1905 г. Роза Люксембург проживала в Берлине. Вести из Польши, сведения о высоко поднявшейся революционной волне среди польского пролетариата сильно подействовали на нее. Несколько раз в неделю шлет она нам в Варшаву конспиративным путем свои статьи, воззвания, в которых делает анализ революции, указывает, какое направление должна ей дать партия пролетариата, какова фактическая роль буржуазии в революции и, в частности, польской буржуазии. Эти исторические документы, пропитанные глубоким

марксистским анализом и пламенной революционной бодростью и верой, являются и сейчас ценнейшим материалом, который должна изучать наша молодежь, в особенности — находящаяся в Польше.

Но пребывание в Берлине не удовлетворяет Розу Люксембург. Она томится отдаленностью от непосредственного поля битвы. Она все мечтает о том, чтобы переехать в Польшу, где она сможет принести больше пользы. Она так настойчиво добивалась этого переезда, что трудно было ей в этом отказать. Несмотря на угрожающую ей опасность провала и весьма чувствительный ущерб для партии в случае ареста ее, мы, польские, а также и немецкие социал-демократы, согласились в конечном счете на то, чтобы Роза Люксембург на «короткий срок» переехала в Польшу. Помню, как перед ее отъездом волновался Август Бебель. Он давал ей всякие инструкции, напутствия, советы. В польский Центральный комитет он послал строгий товарищеский наказ всячески щадить «нашу дорогую Розу» и принять все меры к тому, чтобы она не попалась в лапы жандармов.

В конце 1905 г. Роза Люксембург приехала в Варшаву с паспортом немки Анны Мачке. Мы устроили ее в приличном и спокойном пансионе некоей Валевской по улице Ясной, в доме № 1. В том же пансионе поселился и т. Тышко под видом германского гражданина Антона Энгельмана.

Мы сами устроили «негласный надзор» над Розой Люксембург и сильно ограничили ее действия. Мы запретили ей выступать. Она принимала участие лишь в заседаниях Центрального комитета и редакции центрального органа. С отдельными товарищами она могла встречаться только с особого согласия и на специально приспособленной для этого конспиративной квартире. Мы запретили ей ходить в театр, на концерты, вообще без особо уважительной причины уходить из квартиры. Она томилась своим положением арестованной, пыталась протестовать, но мы были беспощадны. По временам лишь в «педагогических целях» мы решались сходиться на частные чаепития в особо надежных квартирах, куда приглашали узкий круг товарищей, человек 10—12. На этих собраниях Роза, почуяв свободу, оживлялась, возбуждалась, много говорила, расспрашивала. Товарищи, которые впервые имели возможность встретиться с ней «вне официальной обстановки», восхищались ее редким остроумием, глубокими познаниями в разных областях. Она была не только блестящим знатоком марксизма. С изумительным восторгом слушали ее собеседники, когда она говорила о художественной литературе, музыке, скульптуре, искусстве для пролетариата. Все убеждались, что Роза — не узкий теоретик-марксист, а интересуется всеми областями общественной жизни, тщательно изучает их и делает выводы, исходя из материалистического воззрения. Она, между прочим, не плохо рисовала...

Вспоминаю, с какими осторожностями обставляли мы партийную конференцию, на которой должна была участвовать Роза. Это была важнейшая по своему значению конференция, которая должна была подытожить все пережитое во время революции и наметить дальнейшие пути партии и революционного рабочего движения. Мы считаем, что без участия Розы провести ее нельзя. Следовало лишь применить особую конспирацию.

Были детально обследованы намеченные для конференции квартиры. Квартира должна была находиться в оживленном квартале, в большом доме, по возможности с несколькими выходами и бывшем вне подозрения. Как ни курьезно, мы выбрали дом, находящийся в не-

скольких стах шагов от охранки. Квартира принадлежала вполне «благонадежным» людям, никогда не возбуждавшим никаких подозрений охранки. Участники конференции получили адрес в самый последний момент, причем им был вручен также маршрут, по которому они должны были направляться на конференцию. Вся улица вплоть до самой квартиры была обставлена нашими дозорами, которые условными знаками должны были сигнализировать приближающуюся опасность. На некоторых участников конференции было возложено «командование» в случае необходимости отступления. Было установлено, в каком порядке и по какому пути люди должны были расходиться, кто собирает и куда прячет партийные материалы. Было решено, что в случае провала Роза не выходит из дому; на всякий случай для нее в том же доме была приготовлена вполне надежная квартира. Только при таких условиях нам удалось избегнуть провала, и конференция благополучно провела свою работу.

Мы, однако, все больше стали волноваться пребыванием в Варшаве Розы Люксембург. Хотя она строго придерживалась предписанных инструкций, но в собственной партийной среде учащались разговоры о таинственном ее пребывании в Варшаве. Очевидно те, которые ее встречали, «в строгом секрете» передавали об этом ближайшим друзьям. Читая ее статьи в нашей прессе, многие партийцы подозревали, что она пишет это не из Берлина. Наконец более ретивые утверждали, что видели ее на улице, хотя в действительности это не имело места. Все это указывало нам, что обстановка сложилась тревожная, и мы решили, что Роза должна уехать. Немецкая гражданка Анна Мачке оформила свой паспорт в немецком консульстве, для чего сделала заявку о выезде у управляющего домом, в котором она проживала; был намечен день для отъезда из Варшавы в Берлин. Однако накануне — 4 марта 1906 г. — она была арестована.

Несмотря на наши тщательные расследования, нам не удалось в точности установить причину ареста. Мы лишь выяснили, что не последнюю роль в этом аресте играл управляющий домом, который сообщил охранке, что в пансионе проживает какая-то таинственная особа. Вскоре после ареста Розы управляющий быт убит, и в городе говорили, что его постигло наказание за предательство Розы Люксембург.

За ней пришли не как всегда — ночью, — а днем, под вечер. Товарищ Тышко отсутствовал и вернулся домой как раз во время обыска. Заметив полицейских у дверей квартиры, он почуял беду, но не предполагал, что днем может происходить обыск. Он поэтому не удалился, а наоборот вошел в квартиру, желая предупредить Розу и привести в порядок бумаги; у них обоих было очень много всякого рода рукописей, собственных и чужих, нелегальных изданий и т. п. После тщательного обыска обоих забрали с богатой добычей «вещественных доказательств».

О случившемся несчастии мы с т. Дзержинским узнали в тот же день. Нетрудно представить себе, какое впечатление произвела на нас весть об этом тяжелом для партии ударе. Нам было тяжело помириться с мыслью, что оба они, особенно Роза Люксембург, на долгие годы будут вырваны из наших рядов и загнаны в железный мешок. Нельзя было сомневаться, что царские жандармы попытаются отомстить Розе «по заслугам». После краткого обмена мнений т. Дзержинский сказал мне:

— Горевать не приходится, следует осторожно сообщить о случившемся ближайшим товарищам — так, чтобы не было уныния, не было ущерба в работе. Одновременно необходимо немедленно начать дей-

ствовать: ведь Роза взята под чужой фамилией, возможно не скоро установят — кто она. Быть может удастся как-нибудь ее освободить. По-моему, ты должен бросить всю работу и исключительно заняться этим делом.

Хотя никаких надежд на «чудесное спасение» Розы Люксембург у меня не было, однако мысль о возможности освобождения ее сильно взволновала меня. В первый момент я не знал, что мне предпринять, за что взяться. Я погрузился в думы и мечтал о невозможных планах.

Мне удалось установить, что ее повезли в арестный дом при ратуше, где рядом помещались охранка и уголовный розыск. Я решил, что следует во что бы то ни стало добиться свидания с Розой и договориться с ней, чтобы она не раскрывала себя. Но как получить свидание? Доступ в арестный дом был довольно свободный, и за 10 рублей можно было легко получить свидание. Такими свиданиями мы часто пользовались, прибегая к помощи всяких фиктивных «невест», «сестер» и пр. Если, однако, охранка установила, кто такая Анна Мачке, то и свидания не будет, и я попадусь, — а я находился на нелегальном положении. Медлить, однако, нельзя было, так как более важных политических арестованных старались поскорее направить из арестного дома в следственную тюрьму, или в так называемый 10-й павильон Варшавской крепости, где уже никак нельзя было добиться свидания.

Я узнал, что в уголовном розыске работает один поляк, который мог бы оказать мне содействие для получения свидания. Меня свели с ним. Он действительно оказался довольно любезным. Меня немало смутило то обстоятельство, что он во время нашего разговора сказал мне:

— Вы сообщили мне не настоящую свою фамилию, но я вас сразу узнал, так как вы очень похожи на своего отца, которого я знаю. Очевидно, вы тот его сын, который проживает нелегально, как социалист. Но вы не смущайтесь, я охотно постараюсь помочь вам. Я уважаю социалистов. Я прочел много социалистических брошюр и знаю, что вы боретесь против царя. Я тоже против царского гнета и вообще против проклятых «москалей», которые достаточно выпили нашей крови.

Я убедился, что мой собеседник в политике ничего не смыслит, считает себя «приличным человеком» и хотел бы мне действительно помочь. Но я был чрезвычайно озадачен, когда он предложил мне встретиться с начальником уголовного розыска, который может «многое сделать» в арестном доме. Этот начальник, по фамилии Грин, пользовался среди революционеров большой «славой». Имея за собой несколько уголовных грехов, желая доказать начальству свое рвение и конкурируя с охранкой из-за пальмы первенства, он добивался того, чтобы получать к следственному производству и политические дела. Среди чисто бандитских дел к нему попадали некоторые дела по экспроприации ППС. Шли слухи, что к своим несчастным жертвам он применял распространенные в царском уголовном розыске методы избиения. Говорили также о том, что в начале революции 1905 г. у варшавского оберполицеймейстера был создан специальный комитет по борьбе с «крамолой», в котором Грин занимал не последнее место. ППС приговорила Грина за отношение его к экспроприаторам к смертной казни. Впоследствии ППС предприняла несколько покушений на Грина, но они были неудачны, и покушавшиеся поплатились виселицей. Год спустя Грин действительно был убит своим верным телохранителем, который раньше был боевиком ППС и, желая реабилитировать себя перед партией, привел в исполнение ее приговор над своим начальником...

Правда, помощь Грина была весьма заманчива, но я не решался иметь с ним непосредственно дела. Под разными предлогами я отклонял эту помощь. Мой собеседник обещал подумать о других способах, и мы условились в тот же день встретиться вторично, причем он обещал никому не рассказывать о нашей беседе и в особенности не заикаться о моей настоящей фамилии. Минут через двадцать я был у т. Дзержинского и передал ему наш разговор. Мы переживали настоящие муки: мы считали своим долгом сделать все возможное для скорейшего освобождения Розы Люксембург. Сознавая, что Грин мог бы действительно многое сделать, но не желая непосредственно с ним связаться, мы не знали как быть. После длительного обсуждения и взвешивания всех обстоятельств мы пришли к следующему заключению: для спасения Розы следует принять экстраординарные меры. Нам не следовало бы разговаривать с Грином. Но поскольку мы на его услуги смотрим лишь как на сделку, за которую мы имеем в виду уплатить, то встретиться можно. Все затруднения заключаются в том, что нужно с ним говорить именно мне. Другое дело, если бы мы эту сделку производили через третье лицо — посредника; нам не раз в эти годы приходилось освобождать наших товарищей из тюрьмы за деньги. И т. Дзержинский закончил:

— Если ты согласен, то обязательно переговори с ним. На кого-либо из других наших товарищей я бы не решился. С таким прохвостом следует тонко и осторожно беседовать. Причем помни о нашем решении: никто из наших абсолютно ничего не должен знать об этом. Мы должны взять это на свою ответственность. Но как ужасно будет, если ты попадешь в ловушку.

Риск большой, но попытаться было необходимо. Я возразил: «Обстановка дьявольски сложная, рискнуть нужно, и я с ним повидаюсь. Если провалюсь, условимся так: всю аферу предпринял я по собственному почину без ведома нашего ЦК».

И я снова встретился со своим собеседником из уголовного розыска. Он предложил мне целый ряд фантастических, совершенно невыполнимых планов. В итоге осторожно повторил свое предложение встретиться с Грином. После «некоторых колебаний» я согласился. Мы условились, что я узнаю у него по телефону, где должно состояться свидание. Само собой разумеется, что я не думал для этой встречи предоставить какую-либо из наших квартир.

По телефону я узнал, что Грин предлагает зайти к нему в уголовный розыск в 12 часов ночи. Ловушка или нет? Рассуждать было некогда, и я дал согласие. Мы условились, что я буду гулять против ратуши в условленном месте, держа в руке розы, а посланец Грина подойдет ко мне и поведет к месту назначения.

Приближалось 12 часов ночи. Мы молча попрощались с т. Дзержинским. Я только пробормотал: «Помни мое условие». Взяв приготовленные две розы, я направился в условленное место. Стояла хорошая погода; была свежая, морозная, лунная ночь. Снег под ногами скрипел и, казалось, говорил мне: «Будь осторожен, идешь в западню». Настроение у меня было неважное; я действительно не знал, что со мной будет через четверть часа.

Часы на ратуше пробили двенадцать. Я любуюсь розами, нюхаю их. Уверенными шагами подходит ко мне человек и решительно говорит: «Пойдемте за мной». Я молчаливо повинуюсь. Ворота у ратуши закрыты. Звонок, — и немедленно защелкал замок. Ворота открылись. Полицейский сделал под козырек моему незнакомому спутнику. Снова щелкнул замок, — и я оказался внутри ратуши. На душе было жутко.

Я вспомнил, как в последний раз через те же ворота меня, арестованного, вели в охранку. Мы молча поднялись по лестнице. Пройдя целый ряд длинных коридоров, мой незнакомец остановился перед одной из дверей, открыл ее ключом и лаконически сказал: «Сюда, войдите». Все это время я не знал, арестован ли я или «свободный гражданин».

Мы очутились в роскошном кабинете. Закрыв за собой двери и зажигая свет, незнакомец любезным голосом сказал:

— Я — Грин. По дороге не хотел с вами говорить, так как и стены имеют уши. Здесь кругом никого нет, и мы сможем говорить вполне свободно. Скажите, что вам нужно, и я охотно сделаю все, что смогу.

Я внимательно рассматривал Грина, которого видел впервые, но о котором уже столько слышал. Передо мной стоял человек низкого роста, с большими черными глазами, словно сверлящими собеседника. Он производил впечатление энергичного и делового человека.

— Здесь в арестном доме, — сказал я, — содержится родственница моего хорошего знакомого. Я ее лично не знаю, но тот сильно волнуется за ее судьбу. Она как будто ни в чем не виновата и, очевидно, арестована по недоразумению. Я хотел бы узнать, как она себя чувствует и можно ли надеяться на скорое ее освобождение? Если...

— Мне передавали, что вы желали бы ее повидать. Я уже справлялся. Она еще здесь. Давайте не будем тратить времени. Пойдем сейчас на свидание.

— Как, в это время, ночью — спросил я с изумлением.

— Вы ничего не понимаете. Ночью — надежнее. Пожалуйста, за мной.

Я повиновался. Минут 5—6 мы шли по каким-то узким таинственным коридорам, по лестницам, то подымаясь, то снова спускаясь. Шли мы молча. У меня вновь возник вопрос, не арестован ли я? Мне казалось, что мы идем уже несколько часов. В коридорах и на лестницах царила полнейшая тьма, и мой спутник освещал дорогу электрическим карманным фонарем. Наконец мы остановились перед небольшой дверью. Грин позвонил. Дверь открылась — и мы очутились... в кабинете начальника арестного дома. Начальник сидел за письменным столом. Небольшой кабинет освещала настольная электрическая лампа с зеленым колпаком. Я был рад полумраку в комнате и старался отойти подальше от начальника, по возможности не показываться ему; во время последнего ареста я несколько дней прожил в арестном доме и теперь опасался, не узнает ли меня начальник, хотя он наверное тогда не видел меня. Но в будущем я снова могу очутиться в качестве его пансионера, — поэтому лучше, чтобы он не заметил моего лица.

Появление Грина в сопровождении кого-то другого, притом в столь позднюю пору, нисколько не удивило начальника. Очевидно визиты Грина здесь не были редкими. Они поздоровались, Грин начальствующим тоном обратился к нему; «У вас здесь сидит Анна Мачке. Вызовите ее сейчас». Начальник позвал стражника и велел немедленно привести арестованную. Я услышал, как стражник громко прокричал в коридоре: «Давайте Мачке в канцелярию». Я забился в угол кабинета — подальше от начальника — и старался скрыть свое волнение; неужели я сейчас действительно увижу Розу? Грин не обращал на меня внимания и громко беседовал с начальником о каких-то недавно арестованных взломщиках.

Вдруг открываются двери, и на пороге появляется Роза в пальто и шляпе, с чемоданом в руке. Я так растерялся, что застыл на месте без движения. Она меня не замечала. С сердитым видом она подошла

к начальнику и спросила: «Что вам надо?» Тот указал ее Грину, последний деловым тоном обратился ко мне: «Пожалуйста, выясните все», и тут же, нагнувшись к начальнику, стал продолжать с ним разговор. Он сделал все, чтобы начальник не слышал моего разговора с Розой и не видел нас. Для меня инсценировка Грина была ясна: начальник понял, что «человек» Грина должен выяснить у арестованной что-то важное. Роза с тем же строгим лицом повернулась в мою сторону. Можно представить себе ее изумление! Мы бросились друг другу в объятия. «Что вы здесь делаете? — испуганно спросила она. — Неужели вы тоже арестованы?» Я объяснил ей цель моего появления. Оказывается, за эти три дня ее ни разу не допрашивали. Есть, значит, надежда, что охранка не знает еще — кто она. Меня смутило лишь то, что Роза уже имела несколько «решительных» разговоров с начальником и постоянно требовала срочного перевода в другую тюрьму, что он и обещал исполнить. Я успокоил ее — быть может удасться ее освободить. Она была в великолепном настроении, но доказывала, что об освобождении не может быть и речи, так как забрали весьма компрометирующие ее личные рукописи. Радуясь нашей встрече, она была возмущена тем, что я так рисковал собою. Понятно, она не знала, каким путем я пришел на свидание. Отправка из арестного дома в другую тюрьму происходила по ночам. Когда ее в позднюю пору вызвали в канцелярию, она была уверена, что ее перевозят, и поэтому явилась в пальто и с вещами. Она была удручена тем, что арест ее и Тышко может отразиться на работе. Она уговаривала, умоляла, чтобы мы щадили себя и были сугубо осторожны. Я успокаивал ее, сообщив, что наша партийная газета «Красное знамя» за все эти дни регулярно выходила. Мы много говорили о разных партийных делах и говорили бы еще дольше, но Грин вдруг значительно спросил меня: «Ну что, вы кончили уже?» Я понял, что это знак к уходу. Крепко расцеловавшись с дорогим товарищем и передав ей сохранившиеся у меня за пазухой две розы, я удалился.

Мы молча тем же путем вернулись в кабинет Грина. Там, жуликовато улыбаясь, он сказал:

— Вы говорили, что ее вовсе не знаете. Неужели вы так сердечно целуетесь с незнакомыми женщинами? Ну и ну!.. Но шутки в сторону! Нам сейчас следует поговорить серьезно. Здесь у меня неудобно. Давайте пойдем куда-нибудь в ресторан, кстати я проголодался. Возьмем отдельный кабинет и там потолкуем.

Отказаться было невозможно. Если бы Грин хотел предпринять что-нибудь против меня, он имел уже достаточно возможности и ему незачем было таскать меня по ресторанам. Если же он рассчитывал на то, чтобы в уютной ресторанной обстановке и за бокалом вина выпытать что-либо от меня, то его мечты были напрасны. Разговор с ним мог мне пригодиться для моих планов в отношении Розы. Я согласился, и мы направились в один из ближайших лучших ресторанов и взяли отдельный кабинет.

Нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя особенно хорошо в этой своеобразной обстановке. Должен, однако, сознаться, что я с интересом отнесся к разговору с Грином — уж слишком редкий случай поговорить с подобным типом. Заказав у официанта ужин и оставшись наедине, мы приступили «к делу». После минутного молчания мой собеседник заговорил:

— Я вас вполне понимаю, — вам кажутся странными встреча со мной и мое поведение. Я понимаю, что вы всем этим поражены и абсолютно мне не доверяете. Постараюсь все вам объяснить. Если вы по-

шли на рискованное дело, то неменьшему риску подвергаюсь и я. Чем вы рискуете? Вы можете опасаться, что я воспользуюсь случаем, устрою провокацию — и арестую вас. Что же, по существу, это небольшой для вас риск, — ведь вы этим рискуете ежедневно, ежеминутно. Вы убедились, что я вас не задержал: увидите, что спокойно уйдете отсюда, и ничего с вами не случится. Теперь посмотрите, чем я рискую. Во-первых, вы сами понимаете, что за проделанную мной историю, если бы про нее узнали, не очень нежно погладили бы по головке. Во-вторых, я знаю, что ППС относится ко мне враждебно и вынесла мне смертный приговор. Ведь я не могу быть уверенным в том, что и вы вдруг не вытащите браунинг и не застрелите меня. Вот вам мой риск: мне угрожает опасность с одной и другой стороны... Я продолжаю рассуждать за вас. Несомненно, вы сейчас ставите перед собой вопрос: ради чего пошел я на эту авантюру? И на этот вопрос я даю ответ. Вы глубоко ошибаетесь, если предполагаете, что я делаю это, полагая в награду получить деньги. Я не скрываю, что при некоторых уголовных делах за предоставляемые мной обвиняемым известные облегчения я беру деньги. Но это меня не смущает. Если, например, богатый человек из хорошей семьи убьет из ревности любимую женщину и его арестуют — я не вижу ничего плохого, если я немного помогу этому несчастному. Но в данном случае денежный вопрос совершенно исключен... Сначала я взялся за это дело неохотно — и только потому, что мой приятель, с которым вы беседовали, просил меня об этом. Мне нужно было узнать, сидит ли у нас Мачке и за кем она числится. Тут к великому моему изумлению я узнал, что Мачке — это Роза Люксембург. А я отлично знаю, кто такая Роза Люксембург и какую роль она играет в революции. Я сразу понял, что Люксембург скоро не выпустят и что против нее состряпают крупный процесс. Ведь здесь пахнет каторгой. Я тогда сказал своему приятелю, что готов заняться этим делом при одном условии — если он скажет мне правду, кто вы такой. Он сказал мне, и вы не должны быть за это в обиде потому, что мне действительно можно в этом довериться. Я вам скажу откровенно: я симпатизирую революционерам. За последнее время я убедился, какие это идейные, храбрые и самоотверженные люди. Я знаю, например, что вы лично отреклись от хорошей жизни, от всяких благ и служите своей идее — социализму. За это я вас уважаю, могу с вами открыто говорить и охотно готов помочь вам. Я враг лишь всяких бандитов, которые под видом политических грабят и убивают невинных людей. Я не понимаю, почему ППС меня возненавидела. Они не знают, что их «боевики» в подавляющем большинстве превращаются в обыкновенных бандитов, а попадая в тюрьму становятся изменниками и провокаторами. Неужели таких людей следует щадить?.. Видите, я рискант и большой фантаст: хотите — назовите меня авантюристом. Помочь освободить Розу Люксембург из тюрьмы, это не шутка. Оставить в дураках охранку и доказать революционерам, что я не враг их, — вот это дело! Ведь если удастся помочь, то наверное ваша партия когда-нибудь упомянет мое имя в своей истории. Итак, я вам все сказал, а теперь разъясните мне, чем я могу помочь вам.

Речь этого царского служаки была довольно оригинальна, и я с интересом прислушивался к ней. Понятно, она ни на минуту не поколебала моего полного недоверия к собеседнику. Я не сомневался в том, что, несмотря на его «симпатию» к революционерам, он примет все меры для того, чтобы утопить рабочих в их собственной крови. Для меня было ясно, что весь его разговор и желание «послужить революции» сводились к тому, что он хотел себя реабилитировать и, быть может,

этим путем смягчить висевший над ним смертный приговор. Я не опасался, что в данный момент он желает устроить мне провокацию. Наоборот, я понял, что сейчас он готов подслужиться и сделать все для освобождения Розы Люксембург.

Фактически он мог сделать немного. Роза была в распоряжении охранки, и вмешиваться в распоряжения этого учреждения Грин не имел никакой возможности. У меня был примитивный план, который иной раз удавался. Я думал, что Роза заменит другую арестованную, уходящую на свободу: через арестный дом каждый день проходили сотни людей: одних привозили, иных увозили в другую тюрьму, третьих освобождали. Естественно, подавляющее число арестованных администрация не могла знать в лицо. Политические арестованные сидели в большинстве случаев лишь по нескольку дней: их даже не успевали фотографировать — это делали в последующих тюрьмах. Теоретически такая подтасовка была вполне возможна. Но для этого необходимо иметь хоть несколько дней для того, чтобы сговориться с Розой, найти среди арестованных уголовную, которая за деньги согласилась бы на подмену. Беда, однако, была в том, что «Анна Мачке» за три дня своего пребывания в этом государственном пансионе успела несколько раз поругаться с начальником за всякого рода беспорядки в тюрьме и категорически настаивала, чтобы ее поскорее перевели в другую тюрьму. При этом охранка, узнав кто Мачке, несомненно сделала начальнику намек, что она — важная преступница. При таких условиях следовало ожидать, что Розу со дня на день перевезут, и вообще создавшаяся обстановка предрешала неуспех моего плана.

Подумав несколько минут, я сказал моему новому знакомому:

— Если вы действительно хотите помочь, то, мне думается, эта ваша помощь могла бы иметь положительные результаты. Она возможна, пока арестованная находится в арестном доме. Необходимо поэтому спешить, ибо в любой момент ее могут перевести в другое место. Я предлагаю следующее: завтра же вы ее вызываете под каким-либо предлогом на допрос к себе. У вас «по недосмотру» стражников она сбежит. Мы условимся с вами, когда будет происходить допрос, и будем вблизи наготове со средствами передвижения. Вот единственный план, который я мог придумать.

Грин внимательно, с пронизывающим взглядом, слушал меня. Когда я кончил, он быстрыми шагами стал ходить по кабинету и после некоторого раздумья ответил:

— План ваш великолепный, довольно дерзкий, но не выдержан до конца. У меня охрана хорошо организована, и бежать от нее никак нельзя. При таком побеге моя роль была бы тотчас обнаружена и меня тут же арестовали бы. Следует поэтому взять основу вашего плана и коренным образом изменить его. По моему требованию арестный дом, действительно, без всяких колебаний мне ее пришлет. Я могу ее вызвать под предлогом выяснения каких-либо бандитских или экспроприаторских дел. Но дальше план проваливается. Я поэтому предлагаю следующее. У меня есть один, весьма верный мне, сотрудник. Он немного... провинился. Ему следует скрыться. Иначе против него возбудят неприятное дело. Он должен со дня на день уехать, и, скажу вам правду, я заготовил ему надежный паспорт. Вот этот человек направляется в арестный дом для того, чтобы привести ко мне Мачке. Но из арестного дома он прямо с ней выйдет на улицу; она — в свою сторону, он — в свою. Это самый верный план. Все подозрение падет на него, его станут разыскивать, но нигде не разыщут. Он спрячется под крылом такого же человека, как он,

который уже около десяти лет занимает в одном городе должность полицеймейстера и пользуется неограниченным доверием местного губернатора. Ему придется за это дать кое-какие деньги.

Все это напоминало конан-дойлевскую сказку. Она замечательно характеризовала всю гниль и преступность «верных» царских чиновников. Я высказал «восхищение» по поводу гениального плана, но от определенного ответа уклонился. Я старался больше вникнуть в психологию моего джентльмена и долго беседовал с ним на подобные щепетильные темы, а он старался быть искренним.

Было уже 4 часа ночи, ресторан закрылся, но нас не беспокоили. Я все время волновался из-за т. Дзержинского, — мы с ним рассчитывали, что я вернусь обратно через час-полтора. Если через это время меня не будет — значит я провалился. Он ждал меня в бюро нашего Центрального комитета, где я и жил. Только часа в три, под предлогом, что иду в уборную, я позвонил по телефону т. Дзержинскому. Он узнал меня по голосу и от радости и волнения выругал меня:

— Чорт тебя побери! Я был уверен, что тебя уже нет в живых!..

Я перебил его:

— Вернуться не мог. Звонить нельзя было. Говорить не могу. Все пока благополучно. Жди меня, — постараюсь быть поскорее.

Хотя предложенный мне Грином план был непомерно фантастичен, но я не сомневался в его искренности. Я, однако, не решался один согласиться на него и хотел обсудить его вместе с т. Дзержинским. Я сказал Грину, что в принципе одобряю план, однако, должен еще подумать, — не угрожает ли опасность Мачке при выходе из арестного дома: вдруг кто-нибудь заметит!

— Сейчас уж поздно, голова не работает. Утро вечера мудреней. Окончательное решение оставим назавтра.

Мы расстались и условились, что он с утра будет разыскивать своего сотрудника и держать его наготове. А я около часу-двух позвоню относительно окончательного решения.

Я снова вместе с т. Дзержинским. Он ругает меня и от души радуется, что я невредим. Мы анализируем план Грина со всех сторон. План наглый, чрезвычайно фантастичный, но легко может быть проведен. Мы не сомневались, что у «Гринов» имеются «свои люди», готовые на все. Мы не видели никаких помех для исполнения этого плана. Тов. Дзержинский заметил:

— Одно лишь для меня ясно: если план удастся, — тебе придется на некоторое время скрыться, потому что проходимец Грин несомненно пожелает тебя шантажировать...

Итак, мы план приняли. В связи с возможностью его благополучного исхода мы занялись вопросом подготовки квартиры для Розы Люксембург и скорейшей переправой ее за границу.

Просидели мы до 8 часов утра. Мы оба еле держались от усталости. Тов. Дзержинский заставил меня прилечь, а сам отправился для передачи нужных поручений по подготовке дальнейшего побега. Через час-полтора он должен был вернуться, и тогда нас ожидала текущая партийная работа. В установленное время он вернулся. В возбужденом состоянии он рассказал мне историю, которая могла окончиться весьма неприятно.

В это время в Варшаве были введены особого рода патрули; они состояли из двух городовых или городового и солдата. Патрули, разгуливая по улице, должны были задерживать подозрительные личности, рассматривать их документы и в случае надобности арестовывать;

малейшая подозрительность предрешала арест. Нередко таким нелепым образом попадались наши лучшие товарищи, приезжавшие в Варшаву из провинции. То паспорт не был заявлен в Варшаве, то, затащив «крамольника» в ближайшие ворота, городовой находил при обыске нелегальщину и т. п. На возвратном пути т. Дзержинский на расстоянии трех домов от нашего помещения наткнулся на такой патруль из двух городовых. Вышла нелепая история: впопыхах он, уходя, забыл взять с собой паспорт. Его остановили, затащили в ворота: «Кто ты такой, покажи документы?» Поискав их, т. Дзержинский убедился, что он не взял паспорта с собой. «Документов нет? Пойдем в участок». К счастию, у т. Дзержинского оказались две пятирублевки. Он возбужденно ответил городовому: «Зачем вы ведете меня в участок? Я вам сказал свою фамилию и указал квартиру. По ошибке не захватил паспорта. Если сомневаетесь, идите ко мне на квартиру и проверьте». Говоря это он одновременно правой и левой рукой тычет каждому городовому по пятирублевке. Каждый из них не знал, что и другой награжден. Один из них сказал: «Не рассуждай, иди вперед!» Тов. Дзержинский пошел решительными шагами вперед, а городовые лениво шагнули за ним. Куда они пошли, неизвестно. Но т. Дзержинский минуты через три был уже со мной и рассказывал об этом курьезном происшествии, причем прибавил: «Не является ли этот инцидент плохим признаком того, что наше предприятие не удастся?»

В условленное время созваниваюсь с Грином.

— Ну, как дела? — спрашиваю я.

— У меня, ваше превосходительство, все в порядке. Согласно намеченному вами плану, я приготовил людей, и операция назначена на завтрашний день в десять часов утра, если с вашей стороны нет никаких распоряжений.

Я догадался, что Грин перед кем-то в своем кабинете хочет показать, что ведет служебный разговор или, может быть, желает щегольнуть передо мной знанием конспирации. Не желая затягивать разговор, улыбнувшись, я ответил:

— Ну, что же, я не возражаю.

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — отбарабанил Грин. И на этом разговор наш окончился.

Весь день прошел в большой суете. Нужно было все подготовить, проверить... Однако намеченный план осуществить не удалось. Ночью мы узнали, что Розу увезли из арестного дома. Впоследствии мы установили, что на это отчасти повлияли первоначальные настойчивые требования самой Люксембург. Наши подозрения, что Грин, опасаясь всей этой авантюры, потребовал ее перевода — не оправдались.

Розу повезли в так называемую «Сербию» — женское отделение следственной тюрьмы.

Как это сейчас можно установить по уцелевшим жандармским документам, варшавская охранка уже 7 марта, т. е. три дня спустя после ареста Мачке, сообщила в департамент полиции, что арестованная Мачке, «по имеющимся сведениям», является известной департаменту Розой Люксембург. Ясно, что Розу Люксембург нельзя держать в арестном доме и ее следует перевести в более изолированную тюрьму. Настойчивые требования арестованной о переводе, быть может, и ускорили на день ее переезд, но самый переезд был уже предрешен. Перевод Розы в другую тюрьму, вследствие чего сразу рухнул наш план побега, естественно, сильно удручил нас. Мы, однако, быстро оправились и

поставили перед собой другую задачу: как использовать пребывание Розы в «Сербии».

Мы были немало изумлены тем обстоятельством, что ее не перевели в 10-й павильон, где арестованные находились в полнейшей изоляции и где установление связи было сопряжено с невероятными затруднениями. Иное положение было в следственной тюрьме.

Здесь кое-что можно было проделать. Тюремные стражники жили вне здания тюрьмы, каждый день выходили из тюрьмы и возвращались в нее. Все они принадлежали не к «святым» и были очень падки на деньги. Некоторые из них под влиянием революции идейно переменились и безвозмездно помогали политическим заключенным. Были также отдельные случаи, когда некоторых из них партия принимала в свои ряды. Не хуже обстояло дело с высшей тюремной администрацией. Начальники, их помощники, секретари и иные чиновники также помогали: одни — за деньги, другие — по идейным соображениям, третьи — страха ради. Добраться до начальника следственной тюрьмы и получить «незаконное» свидание с арестованным было вообще делом легким. Однако в нашем положении случайные минутные свидания, происходящие при двойных решетках, нас не удовлетворяли. Кое-какую связь можно было установить при помощи надзирателей, тем более что там у нас было несколько вполне надежных людей. Однако и это нас не устраивало: письма писать нет времени, в них не все и не так скажешь, ответ получается не сразу; наконец переписка может и провалиться.

Нащупывая почву, я узнал что начальником женской тюрьмы был некий Калинин, который раньше был в мужской тюрьме, так называемой «Павияке» — и я, как его «клиент», был с ним знаком. Мне не раз приходилось иметь с ним «щепетильные» дела. Он делал нам, арестованным, много хорошего и без малейшего денежного вознаграждения. Правда, для массы арестованных он притворялся строгим и неприятным — этого требовала осторожность. Но когда заходили известные ему арестованные, которым он мог вполне довериться, он говорил совсем иным языком и всегда совместно обдумывал способы удовлетворения предъявляемых требований, которые, понятно, касались всего коллектива политических. Он принимал решения совместно с нами, причем мы всегда учитывали, что чрезмерные уступки с его стороны угрожают его смещением, что являлось весьма нежелательным. В то время в тюрьме сидело 700—800 человек политических; были люди разных партий. Нетактичный, суровый начальник легко вызывал в такой разношерстной массе волнения, протесты и т. п. Бывали такие тяжелые случаи, когда ни в чем неповинные товарищи на наших глазах падали в коридоре мертвыми, пронзенные пулей стрелявшего со двора через окно караульного солдата, а появлявшийся по нашему требованию прокурор Набоков (брат известного тогда кадета) вместо того, чтобы успокоить нас, цинично замечал: «Убил — и хорошо сделал. Со всеми вами будем так и впредь справляться!»

Калинин был иным. Долголетняя служба в тюрьме не превратила его в зверя, и он остался человеком. Вспоминаю следующий весьма характерный инцидент. Однажды вечером Калинин вызывает меня — арестованного — к себе в кабинет. Закрыв двери, чтобы нас никто не слыхал, он сообщает мне:

— У меня неприятная история, и я считаю своим долгом предупредить о ней вас. Только что я получил официальное донесение, что во-втором отделении в камере N. у политического заключенного X. имеется браунинг, причем точно указано, что он спрятан в стене под

вентилятором. Я не сомневаюсь, что донесение точное, и вынужден произвести сейчас обыск. Браунинг тут же будет обнаружен, и, вы понимаете, какие последствия будут для вашего товарища!

Он был изумлен, когда я после минутного молчания спокойно ответил ему:

— Что же, вы действительно должны произвести обыск. Браунинг, наверное, спрятан там, где указывает донесение.

Калинин подумал, что я издеваюсь над ним. Я прибавил:

— Что вас в моем спокойствии поражает? Я повторяю: вы должны произвести обыск. Ведь донесение официальное, его скрыть вы не можете. Если вы не сделаете обыска, завтра вас снимут и предадут суду... Но вы вызовите сейчас ко мне старосту этого отделения, я с ним поговорю, а потом минут пять спустя вы нагрянете с обыском, но... браунинга вы там не обнаружите.

Это и было проделано. На следующий день Калинин рассказал мне, с каким усердием обыскивали камеру, взламывали в нескольких местах стену, но браунинга не обнаружили. В тот же день тюремному инспектору и прокурору пошел рапорт о донесении и о том, что «никакого оружия не обнаружено». Характерно, что Калинин ни одним словом не заикнулся относительно передачи браунинга ему, он лишь сказал: «Примите, пожалуйста, меры, чтобы браунинга действительно кто-нибудь не обнаружил». Относительно этого я был вполне спокоен: браунинг был пока спрятан у меня в камере в надежном месте...

Я решил направиться в тюрьму прямо к Калинину. Без особых затруднений мне удалось добраться до него. Сидя у него в кабинете, мы сразу приступили к делу.

— Я к вам с серьезным делом. К вам вчера переведена из арестного дома некая Анна Мачке. Это — фиктивная фамилия. Ее настоящая фамилия — Роза Люксембург. Мне известно, что охранка уже установила ее личность. Возможно, что вам об этом еще не сообщили. Люксембург — одна из руководителей нашей партии. Она хорошо известна, высоко ценима и за границей во всех рабочих партиях. В связи с ее арестом партия поставила передо мной две задачи. Первая: так как она не вполне здорова и вообще не следит за своим здоровьем, а здесь в тюрьме оно несомненно может ухудшиться, то необходимо установить для нее особый режим. Я вас поэтому убедительно прошу предоставить ей камеру побольше, на солнечной стороне, выпускать ее на прогулку два раза в день с тем, чтобы она была на воздухе не меньше часа. Кроме того следует подумать о ее питании. Сама она этого не сорганизует, будет плохо питаться, что опять может повлиять на ее здоровье. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы посылали ей еду: вы живете тут же рядом, и я полагаю, что вам это не доставит никаких затруднений. Это моя первая задача. Вторая тоже не особенно трудно разрешима и также целиком зависит от вашей доброй воли. Партия не считает возможным лишиться связи с Розой Люксембург, даже когда она в тюрьме. Вы ведь понимаете, какие громадные, ответственные задачи стоят сейчас перед партией. Мы должны иметь возможность ежедневно встречаться с Люксембург. Поэтому я прошу вас, чтобы вы согласились ежедневно давать мне свидания с ней, которые не могут быть официальными, через решетку и при свидетелях. Я мыслю себе, что вы предоставите нам для наших разговоров свой кабинет. Я вполне сознаю, что выполнение моих требований представляет для вас известную опасность. Но ведь вы меня не первый день знаете и, надеюсь, можете быть вполне спокойны, что все будет проделано с надлежащей осторожностью.

Произнес я свою речь в любезном, дружественном тоне, но вместе с тем и решительно. Это была просьба, но в тоне чувствовалось, что отказ не принимается. Неоднократные ссылки на партию должны были дать понять, что дело серьезное, не каприз, и отказ немыслим. Следует отметить, что в ту пору обыватели если не уважали, то во всяком случае боялись партии.

Я не сомневался, что начальник тюрьмы Калинин согласится помочь мне. Но удовлетворение моих требований было для него очень рискованным. Желая парализовать его сомнения и колебания, я взял решительный тон.

«Курс» был взят правильный. Калинин полностью удовлетворил мои требования. Относительно еды он просил обратиться к своему помощнику, которого он обещал предупредить. Он объяснил мне, что необходимо втянуть в это дело помощника, так как все равно он будет давать мне свидания в отсутствии начальника. Помощник оказался весьма сговорчивым и охотно согласился кормить Розу, — только просил составлять меню. На мой вопрос сколько ему платить, он отказался ответить, заявив, что он на этом зарабатывать не желает, а будет считать по себестоимости.

Договорившись с начальником и его помощником, я тут же получил свидание с Розой. Начальник любезно освободил нам свой кабинет, и мы вдвоем проболтали целый час. Разъяснив ей, какой «договор» я заключил с начальником, я заявил, что она достаточно «отдыхала» и должна опять взяться за работу. Я условился с ней, что принесу ей книги, газеты, материалы, а она будет писать статьи. Тут же я заказал ей несколько статей. Роза была сильно возбуждена как своеобразным моим визитом, так и планами, которые я наметил. Мысль о том, что она сможет в тюрьме взяться за работу для партии, радовала и волновала ее.

С Розой я ежедневно имел свидания, не исключая воскресений и праздников. Я старался приходить не во время официальных свиданий, чтобы арестованные и их посетители меня не замечали. Особенно неприятно было, когда посетители дожидались у ворот иной раз по нескольку часов в очереди, а меня немедленно пропускали на свидание. Они смотрели на меня с завистью и злостью: некоторые считали меня прокурором, другие — охранником. Надзиратель у ворот был свой человек, и я ему строго-настрого запретил говорить, кто я такой. «Не знаю» или: «какая-то важная шишка», — отвечал он на все вопросы.

Встречи происходили в кабинете у начальника, всегда наедине, без всяких помех. Разговоры начинались на деловые темы. Я вытаскивал книги, материалы, знакомил ее со всем тем, что произошло за сутки; объяснял, на какую тему и как должна она писать статьи: иной раз просил изменить кое-что в переданной мне статье. Мы говорили о работе, о перспективах дальнейшего, об актуальных вопросах, стоящих перед нами. Затем мы переходили на личные темы: о «тюремных настроениях», о здоровьи Розы, о судьбе ее дела.

Роза всегда была в прекрасном настроении и оживленно разговаривала, как на свободе. Мы восхищались получаемыми от нее статьями. Ее статьи, писанные в тюрьме, принадлежат к ее лучшим произведениям. Особенным остроумием и колкостью отличались полемические статьи против политики и тактики ППС. Роза упрекала меня лишь за то, что я устроил ей пансион у помощника начальника: «Кормит он меня замечательно, на убой, прямо как в санатории. Но жить мне не дает. Каждые два-три часа новая изысканная вкусная еда, а он все волнуется и раза три в день спрашивает, не голодна ли я, довольно ли, желаю ли

такое-то блюдо. Даже жена его волнуется и все вместе с едой присылает записки на разные гастрономические темы».

Однако не всегда наши встречи происходили без помех. Бывали случаи, когда начальнику необходимо было срочно войти зачем-нибудь в кабинет. Он стучал: на мое «войдите» он входил, а у нас на столе — нелегальщина, рукописи, гранки и т. п. Он извинялся, что помешал нам, и просил не стесняться и «продолжать свое дело».

Однажды во время свидания призошло немалое смятение. Мы спокойно беседуем, вдруг входит взволнованный помощник и говорит нам:

— Ради бога, скорей уходите отсюда! Через окно я заметил, что к нам идет Михайловский.

Это была «служебная» фамилия известного впоследствии охранника Бакая, который сбежал за границу, изменив жандармам, и стал разоблачать их. Но тогда еще он был настоящим охранником и не брезгал взятками. Для начальника, Розы и меня создались бы крупные осложнения, если бы он обнаружил нас в этой уютной обстановке. Мы быстро собрали свои пожитки, сбежали в канцелярию и спрятались там за шкафом, где продолжали нашу беседу, но в менее удобном положении.

Бакай появился, занял в кабинете наше место и велел вызвать одну из арестованных. Когда та вышла к нему, помощник сообщил нам: «Теперь можете спокойно беседовать. У него допрос обыкновенно продолжается не менее двух часов». Но через несколько минут арестованная вышла, и он вызвал помощника, с которым довольно долго о чем-то совещался. Помощник доставил Бакаю вторую арестованную, после чего, хохоча, передал нам беседу с охранником.

— Вот боевая девица нашлась! Он пытался было убедить ее, чтобы она дала чистосердечные показания. Он заверял ее, что их не запишет, а желает лишь знать все, дабы помочь ей выпутаться из дела. Думал было надуть женщину, а она как закричит на него: «Вы, охранник, хотите, чтобы я вам поверила. С охранниками я не разговариваю, могу только в рожу плюнуть!..» Интересно, как пойдет допрос со второй, та тоже шустрая.

Со второй был такой же короткий разговор, и Бакай скоро удалился во-свояси. А мы перекочевали в кабинет и продолжали свое дело.

На прощание Роза каждый раз говорила мне:

— Надо прощаться. Кажется, обо всем договорились. Но вы должны мне окончательно дать слово, что не будете приходить ко мне ежедневно. Я знаю, что вы адски заняты, а отрываетесь на несколоко часов от работы и приходите ко мне, чтобы сделать арестованной удовольствие. Это не годится. Дайте мне слово, что завтра не придете, — иначе решительно заявляю, что не выйду к вам.

Я всегда обещал, но на следующий день опять являлся... Она, понятно, ко мне выходила, но всякий раз в начале разговора делала мне упрек:

— Я уж привыкла, что вы в это время приходите, и за некоторое время до свидания начинаю волноваться, придете ли вы, а то я вчера настаивала, чтобы вы не приходили. Хорошо, что пришли, — о многом нужно поговорить. Вы сегодня зашли несколько позже, а я уж думала, не арестовали ли вас... Скажите правду, не арестовали ли кого-нибудь из видных?..

Действительно каждый день было много тем. Она хвалила или критиковала статьи в нашей прессе, говорила о прессе противника и указывала как, по ее мнению, следует реагировать на ее выступления.

Мы обдумывали план работ нашего Центрального комитета и центрального органа. В то время мы готовились к «объединенному» съезду Российской социал-демократии. Шли оживленные обсуждения, горячие споры о том, какие требования предъявить, какие условия выставить в отношении работы Бунда в Польше, и т. д. и т. п. Были выработаны декларация и условия объединения. Обо всем этом я вел длительные разговоры с Розой. Выставляемые на съезде наши условия предварительно обсуждались с Розой, несколько раз менялись и учитывались ее поправки. Их окончательная редакция была с ней согласована и ею одобрена.

Об одном только я не беседовал с Розой: о нашем плане ее побега. Эту мысль мы ни на минуту не оставляли и все придумывали самый лучший способ. Мы остановились уже было на одном плане. Как выше было сказано, среди тюремной стражи было несколько своих людей. Мы решили, что вечером после поверки, когда в тюрьме остается один дежурный надзиратель, он вызовет ее на «допрос» и тут же с ней выйдет за ворота. Предусмотрено было, что ночной дежурный у ворот будет также свой человек. Надзиратель, который с ней выйдет, будет немедленно переправлен через границу. Все уже было готово. Был назначен день. Мы ждали и неописуемо волновались. Ничего, однако, не вышло: оказалось, что в последний момент случайно у ворот был назначен другой надзиратель.

«Наши» надзиратели так пристрастились, что только и мечтали о побеге Розы. Каждый день они предлагали новые, но неизменно фантастические планы. Помню, однажды, один надзиратель делает мне знак, что желает со мной поговорить. Уводит меня в сени и, указывая на тюремный двор и прилегающий к нему частный жилой дом на другой улице, говорит:

— Если вы, товарищи, и этого плана не примете, то я начну подозревать, что вы вовсе не хотите, чтобы она отсюда удрала. Посмотрите, этот дом выходит на наш двор. На наш же двор выходит несколько его окон. Я предлагаю договориться с кем-нибудь из жителей и устроить в одном из окон подъемную машину, а во время прогулки мы нашу дорогую Розу незаметно переправим. За это я вам ручаюсь моей головой.

К величайшему огорчению инициатора, план этот был отвергнут, а мы придумали другой, менее примитивный, но более верный. Причем побег подготовлялся одновременно и для т. Тышко, который сидел рядом в мужской тюрьме и к которому я тоже часто приходил на свидание. Мы решили представить из охранки ордер на допрос Розы Люксембург и Тышко. «Орханники», которые предъявят ордер и поведут арестованных в охранку, понятно, будут наши товарищи. Усердно начали мы подготовлять этот план и заручились не только получением подходящего номера для ордера и надлежащего стиля в отношениях охранки, но даже оригинальными бланками охранки. Подготовка шла на всех парах. Наши арестованные о планах ничего не знали — вообще я им ничего не говорил о нашем намерении. Им было решено сказать в самый последний момент, когда все будет готово.

Вспоминаю как однажды на свидании у Тышко я изумился, когда он мне сказал:

— Расскажу вам курьезную историю. Вчера сидящий здесь пепеэсовец Валецкий зашел ко мне в камеру и, запинаясь, сказал: «Правда ли, что организуется для вас побег?» Предупредив конфиденциально, что имеются кое-какие планы в отношении некоторых пепеэсовцев, он пред-

ложил действовать совместно. Я не знаю, верны ли его сведения. Во всяком случае мне не нравится предложенный им совместный план.

Я смутился и пробормотал;

— Что же, было бы замечательно, если бы вам удалось бежать. Поговорю с пепеэсовцами: есть ли у них серьезные планы? Быть может, действительно можно подумать и о вашем побеге.

Я обещал разузнать и в следующий раз поговорить с ним на эту тему.

Сообщение Тышко смутило нас. Мы действовали строго конспиративно. Даже ближайшие ответственные товарищи не знали о наших планах побега, и вдруг об этом говорят уже пепеэсовцы. Товарищ Валецкий ныне здравствует в наших рядах, а я как-то до сих пор не спросил его, откуда дошли к ним эти слухи. Мы, однако, не считали целесообразным объединяться, опасаясь провала, если слишком много людей будут знать о готовящемся побеге. Но разговор об этом заставил нас максимально форсировать подготовления.

Приближался съезд Российской социал-демократии. Делегация от нашей партии состояла из тт. Дзержинского, Варского и меня. Организация побега была возложена на меня, и я в крайнем случае должен был отложить поездку на съезд. Спешили мы ужасно. Каждый день приближал нас к желанной цели, все уже было почти готово, еще 3—4 дня — и Роза будет по ту сторону Рубикона...

Нам, однако, определенно не везло. И на сей раз не пришлось выполнить намеченного, столь кропотливо разработанного плана. Сижу я как-то в кабинете начальника и беседую с Розой. В первый раз начинаю с ней говорить о побеге, как вдруг заходит начальник и заявляет нам, что по полученному приказу Роза сейчас будет отправлена в 10-й павильон. Это было днем. Заехала тюремная карета с жандармами и на моих глазах увезла Розу и Тышко. Не ночью, как мы наметили, а днем. Настоящие жандармы, а не свои товарищи. В железный 10-й павильон, а не на свободу.

Чрезвычайно больно пришелся нам этот удар. Конец был так близок, и вдруг в один миг все рухнуло. Сейчас и о связи нечего было мечтать. Предстояли длительная отсидка, а в перспективе судебный процесс и каторга. В течение нескольких дней я и т. Дзержинский ходили подавленные, стараясь друг перед другом скрыть свою скорбь. Мы чувствовали, что на долгие годы лишились дорогих товарищей...

Настал день отъезда на съезд. Поехали мы все втроем. Пробыв в Стокгольме дней 10, мы узнали из польской прессы, что 14 пепеэсовцев-боевиков, содержавшихся в «Павияке», благополучно бежало. Из описания явствовало, что был применен тот же самый способ, который приготовляли мы. Прочтя сообщение, т. Дзержинский с горькой улыбкой заметил: «Пепеэсовцы стащили у нас наш план». Мы, понятно, не жалели, что пепеэсовские боевики удрали. Было лишь больно, что, несмотря на затраченную энергию, нам не удалось спасти Розу. И опять в Стокгольме пошли разговоры: надо продолжать действовать. Решено было, что я, не дожидаясь конца съезда, уеду обратно в Варшаву и наново начну придумывать новый способ.

Не менее нас волновались немецкие товарищи. Особенно на них подействовала весть о переводе Розы в 10-й павильон. Больше всех тревожился старик Бебель. Он непрестанно слал нам указания и просьбы не жалеть энергии и денег и принять все меры к освобождению Розы. «Мы не можем, — писал он, — спокойно ждать, пока ее сошлют на каторгу. Наша партия не остановится ни перед какими расходами. Дей-

ствуйте быстро и энергично!» Его увещания были излишни; мы ни на минуту не переставали думать. Дело Розы развивалось «нормальным» путем. Охранка закончила предварительное следствие и передала дело в губернское жандармское управление. Первоначально следствием занялся строгий и «разбирающийся» в политических партиях жандармский ротмистр. Мы его знали по многим делам и поняли, что с ним «каши не сваришь». Но он уехал в отпуск и его заменил другой, абсолютно неопытный и, как мы выяснили, слабохарактерный, поддающийся влиянию человек.

Нам пришлось остановиться на «законном» образе действий. О побеге из 10-го павильона нечего было и мечтать. Задача сводилась к тому, чтобы повлиять на жандарма-следователя, дабы он освободил Розу под залог.

Мы разыскали одного жандарма — друга следователя. Большой кутила, часто бывающий в обществе женщин веселого поведения, он всегда ощущал финансовые затруднения. На нем мы и остановились. Кутилу мы начали «снабжать» деньгами. Ему было вменено в обязанность привлекать к своим кутежам своего друга — нашего следователя. Слабохарактерный жандарм втянулся в веселую жизнь и стал к ней привыкать. А когда он пожелал самостоятельно повеселиться, на что у него не было достаточных средств, то тут ему на помощь явился его друг-искуситель. Сначала он «одалживал» ему незначительные суммы, получаемые от нас, а впоследствии, когда следователь не в состоянии был их вернуть и требовал новых займов, друзья устроили совещание о том, как пособить горю.

— Никак не пойму, почему ты находишься постоянно в таком затруднительном положении? Можно сказать, сотни и тысячи валяются у твоих ног, а ты клянчишь и радуешься, если удается тебе получить взаймы четвертную. В наше время следует уметь зарабатывать.

— Ничего не пойму, как это можно заработать? Если ты знаешь, научи.

— Способ-то есть, заработать можно. Только дурака не научишь. Вот недавно один мой знакомый говорил со мной про тебя. Говорил что имеет для тебя интересное предложение, и советовался, как с тобой поговорить. А я прямо сказал, что ты дурак и в тонких делах ничего не понимаешь.

— Напрасно ты такого плохого мнения обо мне. Я согласен, что ты способнее меня. Но я готов тебе доказать, что и я решительный человек и на интересное дело пойду без колебаний. Расскажи мне, что хотел предложить мне твой знакомый?

— Рассказать могу. Дело действительно как будто интересное. Но не знаю, выйдет ли еще что-нибудь, — он беседовал со мной дней десять тому назад. При желании можно бы заработать, и ты поправил бы свои финансы... Ну, хорошо, расскажу тебе. У тебя имеется сейчас дело некоей Люксембург. Будто особо компрометирующих ее материалов нет. Говорят, она больна и ее родственники волнуются, хотят освободить ее под залог. Если бы ты согласился на залог — и тебе бы при этом кое-что попало.

— Что ж, как будто против нее действительно ничего серьезного нет. Если она больна, почему не пустить ее под залог до суда?.. А много можно заработать? Сотни две дадут?

— С ума ты сошел, две сотни! Да ты получил бы больше пяти сотен, больше десяти!

Мы не можем нести ответственность за точную передачу этой беседы. Можем сказать лишь, что Роза Люксембург действительно была

освобождена под залог в три тысячи рублей и за проведение этой процедуры наш весельчак получил две тысячи. На его совести оставляем также его заверения, что три четверти данной суммы досталось жандарму-следователю [1]).

Нас не интересовал раздел добычи между жандармами. Мы были озабочены тем, чтобы Роза по возможности скорее скрылась и уехала. Залог в три тысячи рублей не служил для нас достаточным обеспечением «неприкосновенности» ее. Наша осторожность была вполне уместна. Освободив Розу под залог 18 июня, начальник варшавского губернского жандармского управления уже через 10 дней в своем докладе в департамент полиции, между прочим, писал: «...Принимая во внимание, что Люксембург, находясь на свободе, несомненно войдет в сношения с революционными партиями и будет продолжать преступную агитацию, испрашиваю указаний от департамента полиции, не будет ли признано нужным возбудить о Люксембург переписку в порядке положения о государственной охране для внесения в совещание на предмет высылки Люксембург в Восточную Сибирь под надзором полиции...»

Пробыв несколько дней в окрестностях Варшавы, Роза уехала в Петербург, а оттуда через Финляндию помчалась за границу.

Тышко сидел еще долго. В отместку за побег Люксембург его судили военным судом, привлекая его, будто, за бегство с военной службы четверть века тому назад. Хотя на суде было доказано, что он не бежал со службы, а лишь уклонялся от воинской повинности, — все-таки его судил военный суд и присудил к 6 годам каторги. Но и ему, правда с немалым трудом, удалось бежать. Сидя в Варшавской каторжной так называемой мокотовской тюрьме, Тышко в один прекрасный вечер сменил каторжную одежду на мундир военного врача и вместе со стражником бежал. Стражника мы немедленно отправили в Краков, а Тышко еще целый месяц прожил в Варшаве, и, как ни курьезно, все это время пробыл в помещении редакции нашей партийной прессы.

Таким образом после долгих затруднений наша мечта, наконец, сбылась.

---

[1]) Тов. Б. Мархлевская в своей статейке «Роза Люксембург» в «Красной Ниве» от 27-го января № 5 дает неправильные сведения об освобождении Люксембург.

Тов. Мархлевская пишет: «Освободить Розу удалось благодаря материальной помощи немецких товарищей». Это не соответствует действительности. Все расходы по освобождению Люксембург, равно как и залог, были уплочены из кассы Польской социал-демократии».

Далее мы читаем: «Мархлевский перебрался конспиративно через границу и ему вместе с Бебелем и Каутским удалось получить обратно у прокурора наиболее компрометирующие бумаги, найденнные при аресте».

И эта справка неверна. Никаких бумаг от прокурора обратно никто не получал, а дана была лишь, как я это указал, взятка жандармскому ротмистру. Да ведь прокурор то был в Варшаве; как же могли от него получить «наиболее компрометирующие бумаги» Бебель и Каутский, проживающие в Берлине, к которым «т. Мархлевский перебрался конспиративно через границу»?

# Из истории моего бытия.

С. Канатчиков.

Родился я в деревне Гусево Московской губернии, Волоколамского уезда в 1879 г. Как раз в том самом уезде, который ныне от допотопной трехполки перешел к многополью. Из этого обстоятельства можно заключить, что мои земляки и прежде быстрее двигались по пути прогресса, чем их отсталые соседи. Волоколамский уезд замечателен еще и тем, что в нем была построена во времена военного коммунизма первая электростанция, на открытии которой присутствовал т. Ленин. Однако поступательное шествие по пути прогресса моих земляков на этом не остановилось. Они же первые усвоили дух политики нэпа, быстро ликвидировали «пережитки» военного коммунизма — в том числе и электростанцию — и первые выделили несколько десятков кооперативных растратчиков, которые явились объектом первого показательного процесса.

Такова краткая, но знаменательная история моего родного края.

Мое раннее детство не сопровождалось особо выдающимися событиями, если не считать того, что я остался жив, — меня не съела свинья, не забодала корова, я не утонул в луже и не умер от какой-нибудь заразной болезни, как погибали в те времена тысячи крестьянских детей, брошенных без призора в страдную летнюю пору.

А остаться в живых деревенскому ребенку в те времена было явлением редкостным. Доказательством тому служит хотя бы тот факт, что моя собственная мать, по одним источникам, произвела на свет восемнадцать детей, а по другим — двенадцать, из коих выжило нас только четверо. Из приводимых мною двух цифр явствует, ежели мы возьмем даже последнюю, что и тогда мое земное бытие мне приходилось почитать за величайшую удачу.

Отец мой, уже больше чем за полстолетие до нашей эры, составлял опору советской власти, принадлежа к многочисленному слою среднего крестьянства. Разумеется, этого обстоятельства я совсем не собираюсь ставить ни ему, ни себе в заслугу, ибо едва ли можно предполагать с его стороны наличие заранее обдуманного намерения — всю жизнь оставаться середняком. Поскольку я могу судить, ему даже совсем не хотелось оставаться в этом звании, и он всю жизнь пытался выбиться в кулаки:

пробовал арендовать землю, заняться торговлей и т. д. Но так как он кулацкой хватки не имел, а был мужиком до щепетильности честным и правдивым, то в результате всего он в своих кулацких дебютах неизменно терпел поражение.

Прошлое моего отца, поскольку я могу нарисовать его себе по отдельным отрывочным воспоминаниям, представляется в следующем виде. Во времена крепостного права мальчиком его отдали в Петербург, в услужение. Служил он по большим гостиницам — коридорным, номерным, маркером и т. д. Самоучкой научился грамоте: хорошо читал вслух и плохо писал. Большая часть его жизни протекала «на воле», вне дома. Но он был привязан к крестьянскому хозяйству. Часто слал деньги в деревню, урывая их от своего скудного заработка, при всякой возможности стремился поехать в деревню или выписывал к себе мать. Годам к пятидесяти, вконец расстроив свое здоровье, он навсегда переселился в деревню. Любил землю и эту свою любовь пытался привить и мне. «Держись, сынок, за землю: земля — поилица-кормилица», — часто повторял он мне. Однако сам крестьянской работы не знал, да к тому же, страдая одышкой, и не мог работать.

Все наше крестьянское хозяйство вел мой старший брат, имевший уже свою семью. На зиму, когда кончились полевые работы, уходил и он на фабрику, на заработки.

Семья наша состояла душ из девяти-десяти. Прокормиться на одной земле было невозможно, так как наделы были пустяковые, а зимнего заработка старшего брата нехватало. Пробовал отец сеять больше льна, торговлей заниматься, но, как уж было сказано раньше, из этого ничего не выходило, — земля истощалась, цена на лен падала, а торговля прогорала. Так он и бился из года в год, еле-еле сводя концы с концами.

Девяти лет меня отдали в ближайшее село в школу, куда нас, ребятишек, зимой ежедневно отвозили на дровнях по «череду». Методы школьного воспитания молодого поколения в те времена были весьма несложны: линейка, березовый прут, ремень учителя и простые оплеухи. Бывали у нас в школе, правда, и более гуманные наставники, не чуждые методов современной педагогики: те ставили на колени носом в угол или оставляли без обеда. Менялись они у нас довольно часто. В соответствии с индивидуальными склонностями педагога менялись и их методы воспитания. Ко всем этим методам мы относились как к неизбежной составной части педагогики, помня изречение: «за битого двух небитых дают».

Много забавных и в то же время неприятных минут нам доставлял наш духовный наставник — огромный, широкоплечий, долговолосый поп из соседнего села, отличавшийся свирепостью по отношению к нам и большой любовью к лошадям. Его уроки бывали по пятницам после обеда, когда он обычно возвращался с базара, где он барышничал, и по дороге заезжал в нашу школу. Изрядно подвыпивший, коснеющим языком он спрашивал молитвы, заставлял нас читать церковно-славянское евангелие и делать переводы на русский. После урока, который сопровождался

множеством потасовок, он производил поверку наших «знаний» путем своеобразной постановки вопросов. Они отличались крайней неожиданностью, как, например, сколько рук у пресвятой богородицы «троеручицы» или есть ли у теленка душа? Два-три неудачных ответа со стороны ученика снова влекли за собою потасовку. Проведя свой «урок», наш духовный наставник садился в тарантас, запряженный великолепным гнедым жеребцом, и лихо катил к себе в село до следующей пятницы.

Но, несмотря на все, я учился неплохо, чем доставлял большое удовлетворение своему отцу. Часто, приходя из школы, я читал ему в длинные зимние вечера вслух отрывки из «Родного слова» или же рассказывал напамять занимательные истории из ветхого завета. Он гладил меня по волосам, хвалил и в свою очередь рассказывал мне о своей жизни в Петербурге.

Из его рассказов припоминаю отдельные эпизоды, как в гостинице, где он служил, останавливался «спаситель» Александра II, бывший мастеровой картузник Комиссаров, который во время покушения на царя стоял позади «нагилиста» Соловьева и подтолкнул его руку с револьвером, направленным на царя. Александр II щедро наградил Комиссарова и произвел его в дворянское достоинство.

Слышал я также от отца рассказы о казни «жидовки» Перовской и «нагилиста» Желябова. На мой вопрос, за что же их повесили, отец отвечал:

— Царя хотели убить.

— А кто такие нагилисты?

— Помещики и студенты. А царя-освободителя убили за то, что дал волю крестьянам. Все они «фармазоны»! — прибавлял он, — не верят ни в бога, ни в царя.

Что такое «фармазоны», отец и сам толком не знал. Иногда он употреблял слово «педагоги», которого также не мог объяснить. По его выходило, что это слово означало тоже нечто вроде безбожника и нигилиста.

Тринадцати лет я окончил начальное училище, и перед отцом стал вопрос, что же со мной делать дальше? Продолжать мое учение у отца нехватало силенок, да и у меня самого сердце не лежало к учению. Отпустить меня «на волю» в Москву отцу тоже не хотелось, ибо там я, без отцовского надзора, мог бы отбиться от хозяйства и избаловаться. Его мечтой было оставить меня в деревне, сделать из меня хорошего крестьянина. Но крестьянское хозяйство с его малыми наделами ничего хорошего в будущем не сулило. Так в течение двух лет эта проблема и оставалась нерешенной. А я тем временем приучался к крестьянской работе — пахал, боронил, косил, молотил, а зимой ездил в лес за дровами.

Отец был «ндрава» сурового и характера деспотического. Всю семью держал в страхе божьем, — мы все боялись его и во всем ему потрафляли.

Бывали случаи, когда он «запивал», а ежели запьет, то и «ворота запрет», как говорили о нем в деревне. Во время запоя отец обычно проводил время вне дома: в кругу своих собутыльников и прихлебателей.

В такие моменты он становился богат и весел, щедр и расточителен. Допивался нередко до белой горячки и не раз лежал при смерти.

Когда проходил запой и отец начинал поправляться, он становился мрачен как туча, угрюм и жаден. В доме воцарялось тяжелое молчание, и все трепетали. Дабы наверстать пропитое, отец проводил режим экономии и сокращал расходы семьи: вместо двух раз мы пили чай один раз в день, мать прекращала печенье пирогов и лепешек по праздникам и т. д.

Но больше всего тогда доставалось несчастной матери, — отец бил ее смертным боем. Я сильно любил мать и звериной ненавистью ненавидел отца: становился к нему груб, дерзок и непочтителен. Горячо заступался за мать и не давал ее бить. Такого рода вмешательство обычно заканчивалось тем, что отец избивал и меня, если я не успевал во-время увернуться и убежать.

Старший мой брат держался в стороне от этих семейных трагедий и не вмешивался. Отец его недолюбливал, и всякое его вмешательство могло бы повести к тому, что отец его отделил бы.

Несмотря на все свои недостатки, мой отец, однако, имел и положительные черты в своем характере. Он был человеком верующим, но не суеверным — не верил ни в чертей, ни в домовых, ни в «заговоры», смеялся над деревенскими бабками и знахарями и не любил попов. Много читал всяких книжек и даже выписывал одно время дешевую газету. Глядя на него, как он, оседлав нос железными очками, сидел по целым дням, уткнувшись в книгу, я также пристрастился к чтению. Воровал у отца деньги, а у матери яйца и покупал на базаре в соседнем селе лубочные книжки.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, меня постигло тяжелое горе, — моя мать заболела воспалением легких и умерла. Перед смертью к ней позвали попа, пособоровали, причастили, и она тихо скончалась.

Целые ночи напролет, с восковой свечой над трупом горячо любимой матери, я читал псалтырь, желая помочь ей переселиться в «царствие небесное». По существовавшему тогда поверью, необходимо было прочесть псалтырь сорок раз, чтобы достигнуть цели. Велики были моя горечь и страдание, когда я на двадцать восьмом чтении псалтыря, усталый, измученный бессонными ночами, начал засыпать и прекратил чтение.

Жизнь в деревне мне становилась невмоготу. Хотелось поскорее избавиться от однообразия деревенской жизни, освободиться от деспотизма и опеки отца, зажить самостоятельной, независимой жизнью. Вскоре представился случай, и отец, после долгих споров и разговоров, решил отпустить меня в Москву. Моим восторгам и счастью не было пределов!

Мой отъезд был обставлен некоторой торжественностью... С утра отец собрал в избе всю семью, зажег лампадки перед образами святых. Все в торжественном молчании сидели по лавкам и ожидали. Затем отец встал и начал молиться на образа. Его примеру последовала вся семья. По окончании молитвы отец обратился ко мне с напутственным словом, в котором он еще раз напомнил, чтобы я не забывал бога, почитал старших, честно служил хозяину, а наипаче всего заботился о доме.

Весной 1895 г., когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец привез меня в Москву и отдал в ученье на машиностроительный завод «Густав Лист», — сначала, за неимением мест в модельной, в малярную мастерскую.

## В «артели».

Москва, помню, на меня произвела ошеломляющее впечатление. Мы с отцом, сидя в деревенской телеге, на нашем Серко шагом ехали по ярко освещенным улицам. Огромные многоэтажные дома, со множеством освещенных окон, магазины, лавки, трактиры, пивные, едущие экипажи, конка, а кругом — толпы суетящихся, неизвестно куда и зачем бегущих людей... Я даже не успевал прочитывать вывески. Больше всего меня поражало обилие магизинов и лавок: что ни дом, то сплошь магазины.

— Кто же эти товары покупает? Ведь здесь больше магазинов, нежели народу, — спросил я отца.

— Москва-мать, она всю Россию кормит. Наши торговцы тоже сюда за товаром ездят, — покашливая и вздыхая от одышки, отвечал о ец.

По сравнению с нашими деревенскими лачугами московские дома поражали меня своей грандиозностью, и как мне казалось, роскошью.

— И я в таком же доме буду жить? — восхищенный, спросил я.

— А вот увидишь, скоро приедем.

И действительно скоро наш Серко повернул в переулок, и телега въехала в ворота огромного каменного дома, двор которого напоминал большой каменный колодец. У верхних этажей всюду на протянутых веревках болталось мокрое белье. Во дворе пахло едкой вонью и карболкой. По всему двору блестели грязные лужи, и валялись отбросы овощей. У квартир и во дворе всюду толпился народ — шумели, кричали, ругались.

Мое восхищение начинало сменяться упадком и каким-то безотчетным страхом перед грандиозностью и холодным равнодушием окружающего. Я казался себе маленькой ничтожной песчинкой, затерявшейся в неизвестном и враждебном мне море окружающих людей.

Вечером того же дня мы с отцом и нашим земляком Коровиным, определившим меня на завод, пошли в трактир. Отец заказал три пары чаю со сдобными баранками и косушку водки.

Коровин, высокий, сутулый, с козлиной бородкой, в линючем триковом пиджаке, надетом поверх рубахи, держался со мной строго наставительно. Но когда косушка возымела свое действие, он начал хвастаться своей близостью к мастеру, знанием ремесла, хорошим заработком и тем, что он собирается в деревне строить двухэтажный дом.

Отец сидел молча, поддакивал и кивал утвердительно головой, изредка подавая советы насчет постройки дома. В заключение отец просил Коровина держать меня в строгости, не давать баловаться, не знаться с худыми людьми. А меня еще раз наставлял в послушании и покорности начальникам, старшим и в вере в бога.

На другой день рано утром отец уехал в деревню, и я остался один. Два чувства боролись в моей душе. Я тосковал по деревне, по лугам, по речке, по яркому солнцу, свободному ясному воздуху полей и близким, дорогим мне людям. Здесь, в этом враждебном мне мире, я чувствовал себя одиноким, покинутым, никому ненужным. Сидя за работой в малярной мастерской, куда меня определили на время, где пахло красками и скипадаром, я вспоминал картины деревенского быта, слезы подступали к горлу, и мне стоило больших усилий сдержаться и не заплакать. Но другое, более сильное чувство — сознание своей самостоятельно ти, стремление пробиться в люди, стать независимым и гордым, жить по своим собственным желаниям, а не по капризам и воле отца, — придавало мне бодрость и стойкость.

Неуклюжий, неповоротливый, с длинными, подстриженными под кружок волосами, в тяжелых сапогах с подковками, я был типичным деревенским парнем. Мастеровые относились ко мне пренебрежительно свысока, щипали за ухо, дергали за волосы, называли «серой деревенщиной» и другими оскорбительными именами.

Рабочий день у нас на заводе продолжался одиннадцать с половиной часов, кроме полуторачасового перерыва на обед. Первое время я страшно уставал, так что, придя с работы и поужинав, я сразу же валился на грязный, жесткий, набитый соломой мешок и засыпал, как убитый, несмотря на мириады клопов и блох.

На квартире и харчах жил я недалеко от завода, в огромном вонючем доме, населенном всякого рода голытьбой — разносчиками, извозчиками, чернорабочими и т. п. Квартиру мы нанимали сообща, «артелью» человек в пятнадцать. Одни были холостые, у других жены жили в деревне и вели свое хозяйство. Меня поместили в маленькую, темную, без окон, угловую каморку; в ней было грязно, душно, много клопов и блох, и сильно пахло «человечеством». В каморке стояли две деревянные койки. На одной спал Коровин — земляк и мой опекун, а на другой — я и сын Коровина, Ванька, тоже ученик, работавший в модельной мастерской.

Харч и кухарка были тоже артельные. Продукты закупались в лавке на книжку; два раза в месяц производили раскладку — с кого сколько сходит. Ежедневно в двенадцать часов, как только прозвонит обеденный звонок на заводе, мы стремительно бежали на квартиру и тотчас же садились за стол, на котором уже дымилась огромная миска со щами.

Все пятнадцать человек ели из общей чашки деревянными ложками. Во щи крошили кусочки мяса. Хлебали сначала только щи, а затем, когда они уже подходили к концу, все напряженно ожидали сигнала. Тотчас же кто-нибудь стучал ложкой по краю миски и произносил ожидаемое: «Таскай!» Тогда начиналась торопливая гонка ложками за плавающими кусочками мяса. Кто половчее, тому доставалось больше.

Кухарка Авдотья, с засученными рукавами и подоткнутым подолом ситцевого платья, то и дело заглядывала на дно миски, произнося:

— Еще што ль штец-то, ребятушки, подплеснуть?

— Подплесни, Дуняха, подплесни, — разом раздавалось несколько голосов.

Авдотья уносила к печке миску и, наполнив ее щами, снова ставила на стол. За щами шли гречневая каша с салом или жареная картошка. Аппетит у всех был волчий, ели быстро, жадно.

После обеда за исключением молодежи все валились в сапогах и блузах на койки отдыхать.

Два раза в неделю — среду и пятницу — Авдотья готовила постную пищу: щи с головизной и кашу с постным маслом.

Два раза в месяц, в субботнюю получку, наша артель предавалась дикому разгулу. Одни прямо с завода, получив получку, шли в пивные, в трактиры, в злачные места, а иные, пофрантоватее, заходили на квартиру сначала переодеться.

Мрачные, угрюмые, нередко избитые, а некоторые еще с невыветрившимся хмелем, обитатели нашей артели возвращались домой поздно ночью или в воскресенье утром.

Коровин был страстный рыболов, а потому каждую субботу наматывал удочки, а мы с Ванькой готовили ему червей, собирая их ночью по огородам с опасностью для жизни, и он уходил на Москву-реку на всю ночь ловить рыбу.

С рыбной ловли Коровин возвращался обычно в воскресенье утром; иногда он приносил два-три голавлика или плотички, а чаще всего совсем ничего не приносил, но от него неизменно несло перегаром водки. Козлиная бородка его бывала всклокочена, лицо воспаленное, потное, жидкие волосы прилипали ко лбу.

В понедельник он места себе не находил, был угрюм, мрачен и зол. Обычно мало интересуясь состоянием наших умов, он в эти моменты собирал нас с Ванькой и начинал читать свои морально-педагогические наставления.

— Вы куда вчера ходили, поросята? — начинал строгим голосом Коровин.

Мы отвечали правду, если наше поведение не выходило за пределы предписанной нам программы, а если совершали сверх ее — врали.

— К обедне ходили?

— Ходили к Василию Блаженному, а к заутрене ходили к «Миколе на капельках».

— Небось больше баловались, чем молились, да на девок бельмы пялили?

— Вот тебе истинный бог, тятенька, всю службу не выходя простояли, — божился Ванька.

— А какой дьякон службу служил? — недоверчиво продолжал допрашивать Коровин.

— Опять тот же — большой, кудлатый, с рыжей бородой, бас.

Московских дьяконов Коровин знал наперечет. Обмануть его было трудно.

— Стогова видели?

— Нет, не видали.

— Смотрите у меня, штоб без меня со Стоговым не возжаться. Он доведет вас до Хитровки.

Этим почти и исчерпывался круг моральных назиданий Коровина. Пообещав нам в заключение задать «волосяного деру», он с миром отпускал нас.

Иван Стогов, от общения с которым предостерегал нас Коровин, по профессии был меднолитейщик и приходился близким родственником Коровину. Припоминаю его внешность. Блондин, стриженный под ерша, среднего роста, с худым изможденным лицом и серыми задумчивыми глазами. Когда я его увидел, ему было лет двадцать пять. Работал он у «рашпелей» (мелких хозяйчиков), часто менял их. Мастеровой он был наредкость талантливый. О нем даже Коровин говорил: «Ручки золотые, да горлушко говенное».

Он страдал запоем и в эти периоды исчезал неизвестно куда. Его встречали на Хитровом рынке, в ночных чайных, в ночлежках. Иногда его гоняли по этапу на родину. Стогов жил у нас в артели, платил два с полтиной за койку, но появлялся редко. Случалось это тогда, когда, пропившись дотла, он спускал с себя все — нечего было ни продать, ни заложить, а без денег, как известно, и хороший пьяница бросает пить. Тогда он внезапно появлялся у нас в артели.

Вид у него в эти моменты бывал живописен. На теле болтались какого-то неописуемого цвета лохмотья, на ногах — подобие опорок или женских, с резинками, стоптанных полусапожек. Смущенный, угрюмый, он молча садился на свою койку и неподвижно сидел часами. Жалостливая Авдотья наливала ему щей, клала гору хлеба и ласково пыталась его бранить.

— Брось, Авдотья, я и сам знаю, что я скотина безрогая. Без тебя тошно.

Проходила неделя, другая, Стогов снова поступал к «рашпелю» и работал, как проклятый, до поздней ночи, а иногда и ночами. Скоро он приобретал одну за другой части своего туалета и принимал человеческое обличье.

Он был хороший товарищ: сердечный, отзывчивый, готовый всегда помочь и выручить из беды товарища. Коровина не любил и не скрывал этого. «Скряга, задолиз, отца родного продаст, а тоже святошей прикидывается, только и думает, как бы к го обожрать, обобрать, да в деревню послать», — говорил он о Коровине.

Веселый, остроумный, хороший рассказчик, Стогов обладал изумительной памятью, неистощимым запасом сказок, шуток, прибауток, анекдотов. Он был душой и любимцем нашей артели. Правда, старики, которые нередко попадали ему на зубок, недолюбливали его.

Сидит, бывало, за столом наша молодежь после ужина в ненастную погоду или в зимний вечер перед получкой, когда в трактир не на что пойти, и зубоскалит.

— Ну-ка, Стогов, расскажи нам что-нибудь из божественного, да посмешнее, — просим мы.

— Забыл все. На ум ничего не приходит, — упирается Стогов.

— А ты понатужься да вспомни!

— Будя тебе ломаться, чай не у тещи в гостях, — слышится со всех сторон.

— Ну, ладно уж, слушайте. Только ежели где совру, не перебивайте, — соглашается Стогов.

— В некотором царстве, в некотором государстве, верст за двести, на этом месте, а именно в том, в котором мы, дураки, живем, — жил-был поп. А у попа был работник. Работать он был ленив, а жрать да спать — охоч. Вот раз и посылает его поп дальнее поле пахать. А он и говорит с резоном: «Батюшка, а батюшка, поле у нас дальнее, время теперь што золото, давай-ка я лучше зараз пообедаю, штобы назад не ехать из-за этого». Поп согласился, — вот какой, думает, старательный работник попался. После обеда работник опять говорит попу: «Давай, батюшка, я кстати заодно уж и поужинаю, штобы за таким делом назад не ехать и понапрасну время не терять». Поп подумал, подумал и опять согласился. А когда поужинал, работник постелил себе постель и завалился спать. Поп видит этакое дело и удивляется: «Ты штож, — говорит, — Иван, пахать-то не едешь?» — «Да кто ж, — говорит, — после ужина работает, батюшка?! После ужина везде спать ложатся!»

Раздается взрыв хохота, и следуют комментарии:

— Ловко он его подсидел!

Зимой, когда замерзала Москва-река, мы ходили к плотине на «стенку», драться на кулачках с рабочими фабрики Бутикова. Возвращались вечером домой с фонарями и разбитыми окровавленными носами.

Впрочем, было у нас и «культурное» развлечение. Артель выписывала бульварную газету — «Московский листок», в которой нас больше всего интересовали уголовная хроника и фельетоны. В то время в ней печатался большой роман «Богдан Хмельницкий», которым зачитывалась вся артель.

По воскресеньям иногда мы бегали в Третьяковскую галлерею смотреть «картинки» и в Румянцевский музей.

Кроме того мы в Москве не пропускали ни одного пожара и, как бы ни были усталы, сломя голову, бежали смотреть на даровое зрелище.

Один раз в год, зимой, в одно из воскресений, хозяин устраивал на заводе молебен. В огромной механической мастерской устраивался помост, на который взбиралось все наше заводское начальство — хозяин, директор, механик, мастера различных цехов и духовенство в праздничных золоченых ризах. Сквозь густую толпу рабочих протискивались вперед «старики» и становились у трибуны на глазах начальства. Они истово крестились, становились на колени, отбивали земные поклоны, особенно когда поп возглашал многолетие хозяину. По окончании мо-

лебна поп говорил прочувствованную, нравоучительную проповедь о нерадивом рабе и рачительном господине. После чего мы подходили к попу и целовали крест...

## В модельной мастерской.

После месяца работы в малярной я был переведен в модельную мастерскую под начало чернорабочего Никифора. В течение двух-трех месяцев я должен был варить клей, красить модели, бегать на склад за гвоздями, помогать Никифору подметать мастерскую и «присматриваться» к модельной работе.

Относился ко мне Никифор по-товарищески — всегда шутил со мной, рассказывал что-нибудь о себе, а когда замечал, что я начинаю грустить по деревне, ободрял меня.

Прежде Никифор был хорошим резчиком по дереву, работал в лучших мебельных мастерских, но от усиленного напряжения при плохом освещении потерял зрение. Пришлось бросить резную работу и искать другую, не требующую хорошего зрения. После этого он был метельщиком, дворником, сторожем на кладбище, или, как он выражался, «жмуриков» (покойников) караулил и, наконец, поступил к Листу чернорабочим. Жалованье он получал шесть гривен в день. Жилось ему с семьей не сладко, но он не унывал.

По понедельникам после получки, когда у половины мастерской болела голова с похмелья, Никифор становился общим кумиром. С раннего утра к нему начиналось паломничество. С красным воспаленным лицом, остановившимися глазами обычно подходил к нему кто-нибудь из «страждущих» и пропойным басом таинственно вопрошал:

— Ну как, Никиша, заварил?

— Нет еще, не заварил. На склад скоро пойду, свеженького принесу.

— Ты уж, брат, поскорей только, а то мочи нет, голова как трещит.

Никифор делал жалостливое лицо, сочувственно качал головой и в утешение говорил:

— Будя, будя, потерпи маленько, апекиту больше будет.

Страждущий уходил с надеждой. После него еще наведывалось несколько человек, тоскливыми, молящими глазами прося Никифора поторопиться с «заваркой».

После их ухода Никифор лез под верстак за доски, извлекал оттуда с субботы заготовленный жестяной бидон со спиртовым лаком, употреблявшимся для окраски моделей, опускал в него пропорцию соли, взбалтывал и снова ставил в укромное место.

— С утра, анафемы, пристают. Дай им — до обеда перепьются, а потом мастер будет нюхать, где напились? — ворчал Никифор.

После обеда половина мастерской была пьяна. Одни слонялись по чужим верстакам, другие отсиживались в уборной. Не в меру опохмелившиеся шли спать в сушилку или модельный сарай.

Уборная в эти дни превращалась в настоящий оживленный «клуб». Здесь рассказывались новейшие сплетни о всяческих похождениях, спорили, ругались или кого-нибудь разыгрывали. Неизбранным председателем «клуба» почти всегда являлся наиболее частый его посетитель сверловщик Иван — балагур, матершинник и горлопан. Объектом его зубоскальства являлся обычно тоже сверловщик турок Егор — огромный, с черной бородой, добродушный мужчина. Во время русско-турецкой войны Егор попал в плен. Влюбился в горничную, крестился и, женившись на ней, навсегда остался в России.

— Эй ты, друг ситный, зачем Магомета на бабу променял? — обычно встречал его Иван.

Егор добродушно улыбался и спокойно усаживался на свободное место, нимало не реагируя на шутки Ивана.

— Ну и дурака же ты, друг, свалял! — продолжал Иван, поддерживаемый дружным хохотом сидящих. — Было бы у тебя семь жен — трам-тарарам — какую бы ты захотел, такую и любил. А то бы всех вместе собрал да в баню повел — трам-тарарам.

Эротическая фантазия Ивана рисовала самые необычайные возможности в этой области.

— А то вот теперь век свой и долби одну горняшку. Нешто и мне в Магометову веру перекувырнуться? — продолжал зубоскалить Иван после некоторой паузы. — Там даже и в раю лучше нашего. У нас так, ежели ты и до рая допрешь — не обрадуешься: ни покурить тебе, ни выпить, ни с марухой позабавиться, — будут тебя веки вечные-бесконечные на постной пище держать! То ли дело в Магометовом раю — потащат тебя силы небесные в холодные места, дадут тебе семьдесят семь девок, веселись, душа!

— А может быть их и трогать-то нельзя по ихнему закону? — вставлял кто-нибудь деловито.

— Для того и дают, штоб душу утешать, — тоже деловито пояснял Иван. — А на кой же они шут, ежели и трогать нельзя...

Эти и им подобные разговоры могли бы продолжаться без конца, если бы в «клуб» от времени до времени не заглядывал кто-нибудь из начальства. Начиналось поспешное бегство.

Месяца через четыре мастер-немец Богдан Иванович вызвал меня к себе в контору и сказал:

— Симон, доволен тебе красить, пошоль к верстаку работать... Будешь привыкнуть к работе.

Я поблагодарил мастера и, радостный, довольный, пошел к Никифору поделиться своим счастьем.

— Ну, Семен, ты значит в гору пошел. Будешь модельщиком — меня, грешного, вспомни, — полушутя сказал Никифор, провожая меня к верстаку. — А в получку вспрыснем.

Жалованья я раньше получал двадцать пять копеек в день, а теперь я уже стал получать сорок копеек. Настроение мое под-

нялось. Работа в модельной мастерской мне нравилась, и я ею сильно увлекался.

В те времена модельщики еще работали собственным инструментом. Хороший модельщик, когда поступал на другой завод, должен был тащить за собою шкап инструментов, а в некоторых заводах даже требовали иметь свой верстак. Первым делом я начал мастерить себе рубанок, фуганок и стамески из крепкого букового дерева. На первых порах мои инструменты не совсем удались, но работать ими было можно. Руки мои еще были плохо натренированы, в них не было сноровки и крепости тщательно и аккуратно резать крепкое дерево.

Приучался я также точить на токарном станке. Эта работа меня особенно занимала еще и потому, что я скоро научился точить из дерева всякие безделушки — рюмки, стаканчики, яйца, пеналы и т. п. Правда, иногда за эту мою неумеренную любовь к безделушкам мне влетало от мастера по затылку, но это меня мало смущало.

Таким образом через год работы у верстака я уже разбирался в чертежах и мог делать не очень сложные модели. Моя уверенность в своих собственных силах возрастала и крепла. Но одновременно с этим падала вера в старые устои. Я становился смелее и определеннее в своих суждениях. Авторитет «старших» начинал утрачивать надо мной силу. К повседневной прописной морали я уже относился критически.

Модельная мастерская считалась «аристократической» мастерской. Большинство модельщиков были городские жители — одевались чисто, брюки «навыпуск», рубашки носили «фантазия», запрятанные в брюки, воротничок подвязывали вместо галстука цветным шнурком, а по праздникам некоторые ходили даже в котелках. Стриглись «под польку» или ершом. Держались солидно с сознанием собственного достоинства, поматерному ругались лишь «в сердцах» и в случае крайней необходимости, да еще в получку, когда напивались, да и то не все.

Трудно понять, почему за модельщиками установилась такая «аристократическая» репутация. Правда, работа наша была довольно головоломная, требующая безусловной грамотности, но модельщики зарабатывали значительно меньше, чем, например, литейщики, или токаря по металлу. Основной состав модельщиков почти не менялся: работали на заводе Листа они лет по десять, пятнадцать и даже двадцать. В большинстве они были семейные, связанные родством с различными мелкобуржуазными слоями. Некоторые из них имели сбережения «про черный день».

В общем у нас была тишь да гладь да божья благодать! Одно было плохо — рабочий день был слишком продолжительный: одиннадцать с половиной часов. Но и эта беда была скоро изжита без борьбы и забот. После забастовки петербургских ткачей — в 1896 г. — наш прозорливый хозяин, Густав Иванович Лист, сразу же ввел у себя на заводе десятичасовой рабочий день. Тут уж наша мастеровщина совсем зажила хорошо.. Как мы эти события переживали, об этом речь будет впереди.

Среди модельщиков резко выделялись своим видом модельщики-крестьяне, еще крепко связанные с деревней: они носили сапоги с голенищами, подпоясанные поясом ситцевые косоворотки, стриглись «под горшок» и носили бороды, к которым редко прикасалась рука парикмахера. В каждую получку часть денег они непременно отсылали в деревню. Жили скученно, грязно, скупо, отказывая себе во всем, лишь бы больше скопить денег для деревни. Выпить норовили «на дармовщинку». По праздникам ходили к обедне и в гости к землякам, вели разговоры больше о хлебе, о земле, об урожае и скотине. Когда им нельзя было отлучиться в деревню, приезжали к ним погостить «хозяйки» — жены: толстые, грудастые бабы в паневах, в яркокрасных ситцевых сарафанах, с которыми они по праздникам ходили в трактир «угощаться» и слушать «машину».

Модельщики их не любили, называли «серыми чертями» и при всяком удобном случае над ними издевались. Большинство модельщиков-крестьян в своем прошлом не проходили заводского ученичества, а были деревенскими плотниками у подрядчика, работавшими простую грубую работу топором. Модельщиками они сделались случайно или по протекции — либо мастеру «услужили», либо земляк устроил.

Деревенские модельщики, кроме того, обладали еще одним нехорошим свойством. Плохое знание модельного ремесла они всеми силами старались возместить «усердием». Парни они были дюжие, крепкие и работали все время, не отходя от верстака и не разгибая спины.

— Павлуха! Будет тебе садить-то, отдохни! Ведь все равно мастер не увидит, ушел, — насмешливо скажет, бывало, кто-нибудь из модельщиков.

Но Павлуха, не обращая внимания на насмешки, продолжал «садить», ибо он отлично знал, что глаза и уши мастера и в его отсутствие остаются в мастерской. Всего этого деревенским, конечно, не могли простить цеховые аристократы.

Нередко в мастерской можно было слышать следующую шутку, иллюстрирующую плотничное происхождение деревенского модельщика:

— Ванюха, а Ванюха! Отрезал ты доску-то? — обращается один насмешник к другому.

— Отрезать ти отрезал, да окоротил!

— На много ли?

— На соломинку.

— Ну! ничаво, гвоздем натянет.

— То-то што не натянет.

— Пошто так?

— В стояк на соломинку ти окоротил.

Все это говорилось на выдержанном наречии Владимирской губернии. Стоявшая кругом публика гоготала.

Разыгрывалась и другая, не менее популярная, сцена — о том, как подрядчик увольняет ненужных ему по осени рабочих:

— Глянь-ка, робя, ведьмедь по крыше ползет, — говорит подрядчик, устремляясь к окну.

— Какой же это ведьмедь! Кошка! — возражают ему усомнившиеся.

— Нет, ведьмедь!

— Кошка!

— По-вашему это кошка, а по-моему ведьмедь, а кто не верит, тому расчет!

## «Сущий».

Против моего верстака у окна работал высокий, широкоплечий, с бородой лопатой рыжеватый мужик. Модельщики прозвали его «Сущий». Вид у него был степенный, благообразный, походка неторопливая, плавная. Говорил он тихим, смиренным, ласковым голосом, как будто это был сошедший на землю святой угодник, какими я их представлял себе в то время. Этого впечатления не портило даже то обстоятельство, что он нюхал табак, отчего у него под носом на усах образовалось нечто вроде мышиной уборной. Был он богобоязненный, по-матерному и черным словом не ругался. Собирал с мастеровых деньги на лампадное масло и каждое утро с благоговением, истово крестясь, оправлял лампадку у висевшего в нашей мастерской образа спасителя.

Харчевался и жил он вместе со мной в одной «артели». Там у него в углу стояла высокая деревянная кровать, накрытая грязным стеганым из разноцветных лоскутков одеялом. Его благочестие простиралось так далеко, что он и других не хотел оставить в покое. Каждое воскресенье он нас, молодежь, жившую с ним в артели, будил рано утром и вел с собой к заутрени. Измученные тяжелым трудом за неделю, мы страстно мечтали выспаться хоть в воскресенье. Но непреклонный «Сущий» во что бы то ни стало хотел нас поставить на путь добродетели и спасти наши заблудшие души. Побуждаемые неприятной перспективой на том свете очутиться в аду и подвергаться многолетнему поджариванию на сковородах, мы, подавляя в себе естественное чувство протеста молодости, покорно вставали, плескали из грязного рукомойника на лицо холодную воду и облачались в праздничные пиджаки.

Так продолжалось до тех пор, пока моя вера не начала подвергаться серьезному испытанию, а показные добродетели «Сущего» не начали линять и тускнеть. Случилось это так.

Однажды в субботу вечером, после получки, когда вся наша артель предавалась своему обычному разгулу, мы тоже пошли побродить по Александровскому саду, где частенько «стреляли» за чулочницами. Проходя по набережной около городских купален, которые обычно являлись летом общедоступным местом любовных утех маломощного рабочего люда этого района, токарь Степка, балагур и озорник, вдруг обратил наше внимание на одно обстоятельство:

— Гляди, гляди, ребята! Ваш святой угодник Сущий с девкой в купальни ходил.

— А может это не он? — усомнились мы и стали поодаль так, чтобы он нас не заметил.

— Да что вы, ослепли што ль! — рассердился Степка.

По деревянным сходням неторопливой походкой поднималась высокая, широкоплечая, с бородой лопатой фигура «Сущего» с узелком в руках, а рядом с ним шла известная всему району проститутка Машка.

Не успели мы опомниться от неожиданности, как Степка сорвался с места и побежал навстречу выходившей паре.

— С законным браком проздравляю, Василь Иванович. Любитесь да мойтесь и греха не бойтесь, — созорничал Степка.

«Сущий» вначале очень смутился, но затем, цыкнув на Степку, той же неторопливой походкой пошел домой.

На другой день все «звонари» нашей артели изощряли свое остроумие, потешались над «Сущим».

— Отец Сущий, и тебя блудница во греси ввела, — зубоскалил строгальщик Иван.

— Дело житейское, — вставил другой. — Баба-то у него в деревне... Только гляди, отец Сущий, часов не поймай, — они и петь не поют, и спокою не дают.

— Полюбишь в шляпке, поносишь в тряпке, — комментировал третий.

«Сущий» сначала слушал все это со смиренным спокойствием, чаще обыкновенного только вынимал табакерку и втягивал щепотку табака в нос. Но затем, повидимому, он не выдержал. Не торопясь, натянул на ноги сапоги, надел картуз и пошел на улицу.

Несмотря на все его благообразие и смирение, «Сущего» в мастерской не любили и боялись. В его присутствии не ругали администрации, не пили лак; когда он подходил к чужому верстаку, смолкали разговоры, все прилежно принимались за работу. Про него говорили, что он присваивает себе деньги, собираемые им на лампадное масло, но никто не решался ему отказать, когда он подходил в получку и просил двугривенный. Нередко его можно было видеть в пивной в среде подвыпившей щедрой компании, но никто никогда не видел, чтобы он платил деньги за пиво. Его земляки рязанцы рассказывали, что он купил у помещика тридцать десятин земли на выплату, но он об этом никому не рассказывал.

Во время торжественных молебнов на заводе «Сущий» всегда стоял впереди со свечой в руке. Падал на колени, когда дьякон ревел многолетие хозяину. По окончании молебна первый, расталкивая народ своими могучими плечами, подходил к попу и благоговейно целовал пухлую попову руку и крест.

## Начало моего богоотступничества.

Машиностроительный завод «Густав Лист» никогда не стоял в первых рядах в борьбе рабочего класса за свое освобождение. Ни прежде, ни теперь в анналах революционной истории не было ни одного выдаю-

щегося события, связанного с его именем. Но в то же время он не был и отсталым заводом. Во всех заметных событиях он всегда принимал участие, а отдельные рабочие играли в них не последнюю роль.

Передовым заводом в то время считался завод Гоппера, на котором уже и тогда бывали забастовки. Руководящую роль на заводе играл модельный цех, часть модельщиков которого даже была в ссылке или находилась под надзором полиции. В нашей мастерской гопперовских модельщиков называли «студентами» [1]), которые идут против царя и не верят в бога, и немного побаивались их.

О студентах я имел весьма смутное представление, встречал их только на улицах и всегда чувствовал к ним большое уважение, смешанное со страхом и боязнью. Боялся я их потому, что они не верили в бога и могли также поколебать и мою веру, а это могло кончиться вечными адскими муками на том свете — «не на сто лет, не на тысячу лет, а на веки вечные и бесконечные», где будут «плач и скрежет зубовный», — часто вспоминались мне слова какого-то откровения. А уважал я их за то, что они, такие свободные, независимые, всезнающие, никого и ничего на свете не боялись. Я только удивлялся тому, что они свободно разгуливают по улицам, а не сидят в Петропавловской крепости. Такая снисходительность начальства для меня была совсем непонятна.

Велики были мое удивление и любопытство, когда я однажды узнаю, что к нам в мастерскую поступил модельщик с завода Гоппера.

Верстака за три от меня суетился какой-то среднего роста, худощавый жилистый человек, с курчавыми светлыми волосами и огромными голубыми глазами. Рубашка в заправку, брюки навыпуск... Словом, по внешнему виду он ничем не отличался от большинства наших модельщиков. Только, как мне казалось, был он порывист и вертляв.

Мое знакомство с ним завязалось с первого дня.

— Ну-ка, парнишка, подсоби мне повесить шкап, — поманил он меня пальцем. — Тебя как зовут?

— Семен.

— Давно работаешь?

— Второй год.

— Небось уж за девками бегаешь?

Я ухмыльнулся и от смущения начал подымать тяжелый шкап с инструментами.

— Подожди, подожди, брюхо надорвешь! У меня столько струменту, что вдвоем не поднять.

С большими усилиями мы повесили шкап, затем он достал из него щетку, смахнул с верстака стружки, испробовал прочность продольного винта и начал раскладывать инструменты, продолжая со мной болтать.

— Ты какого уезда?

— Волоколамского.

---

[1]) «Студент» в те времена значило то же, что и революционер.

— Отец, небось, женить собирается?

— До солдатчины не буду жениться, — ответил я.

Этот человек мне определенно начинал нравиться. Товарищеский шутливый тон, которым со мной редко кто из взрослых разговаривал, меня подкупал.

«А может он эдак издалека подъезжает, чтобы меня в свою безбожную веру перетянуть?» — с опаской думал я про себя.

Осторожно, с недоверием, смешанным с любопытством, подходили к нему и другие.

Веселый, общительный, хорошо знающий наше мастерство, он, однако, скоро поборол ту обычную цеховую неприязнь, с которой всегда относились старожилы к новичку. Около его верстака, когда мастер уходил из мастерской, постоянно толпился народ. Сыпались шутки, остроты, рассказывались анекдоты, иногда раздавался громкий заразительный взрыв смеха. Матершины почти не было слышно.

Нередко завязывались жаркие ожесточенные политические или богословские споры.

Однако первое место в рассказах и анекдотах всегда занимали попы. К рассказам о похождениях попов даже старики относились снисходительно. Но дело принимало совсем другой оборот, когда речь заходила о святых или о боге: тут шуму, крику, взаимным оскорблениям не было конца.

Особенно много издевался Савинов (так звали новичка) над московскими святынями. Иверскую икону божьей матери, которую в то время возили в карете, запряженной шестеркой лошадей, он называл «поповским инструментом для добывания денег», монахов называл «дармоедами», попов — «жеребячьей породой», Иоанна Кронштадтского — «Ванюхой» и т. п.

— Ну, попы, скажем, действительно бывают стяжатели, блудодеи, тунеядцы, а вот над чудесами и мощами ты, Савинов, напрасно глумишься, — не выдержит, бывало, почтенный, благообразный старик Смирнов, большой начетчик и богомольник. — Я своими глазами видал, как в Киево-печерской лавре внесли на руках болящего, — совсем без ног лежал, ходить не мог, — на руках к мощам прикладываться поднесли. А как только приложился да помолился — сразу на ноги встал. Из лавры пошел — как ни в чем не бывало! Что ты на это скажешь?

— А что в этом чудесного? Если бы у него совсем ног не было и на твоих глазах ноги выросли, тогда действительно было бы чудо, — спокойно, с едва заметной иронией возражал Савинов. — Тут просто могло сказаться действие магнетизма. Вот в Бабьем городке живет один магнетизер, дык тот гораздо больше творит чудес. Мне рассказывали случаи, когда к нему приносили людей не только без ног, а в полном параличе, а от него выходили здоровыми. А от таких болезней, как «запой» или бабья болезнь «кликушество», вылечивает, как рукой снимает... А твои мощи, Смирнов, один поповский обман и больше ничего. Ты вот лучше скажи,

сколько около этих мощей всяких дармоедов, монахов да попов тунеядствуют, дураков обирают?

— Нетленные мощи, по-твоему, тоже обман? — горячился Смирнов, тряся седой бородой, ближе подступая к Савинову. — Лежит триста лет святой в земле... Является во сне благочестивому человеку. Пойдут могилку откапывать, а он лежит как живехонькой, — ровно его вчера в землю закопали, и даже благовоние от него исходит. Может это случиться с простым греховным человеком?

— Даже очень может. Ты вот сходи в Исторический музей, старина, да посмотри, — лежат там под стеклом египетские мумии. Им больше чем по тыще лет. До рождества Христова люди жили, а до сего времени сохранились — с волосами. А ведь египтяне идолопоклонниками были. А ты же ведь их не сочтешь святыми? — чувствуя свое превосходство, улыбаясь, парировал Савинов. — Возьми теперь другой случай. Недавно умер от запоя у нас царь Александр третий. Вынули у него кишки, набальзамировали. Говорят, он так может триста лет лежать и не испортится. Через триста лет он тоже мощами выйдет?

— А как, сударик, ада, по-твоему, тоже нет? — смиренно тихим голоском вопрошал «Сущий», держа в руках табакерку и от волнения забивая понюшку табаку.

— Какого же тебе еще ада нужно? Рабочий всю жизнь мучается в аду. А для наглядности зайди вечером в литейную, когда там горшки с литьем разносят, — такого ада ни один поп не придумает.

— Значит мы никакого возмездия на будущем свете за содеянные нами грехи на земле не получим?—смиренно продолжал допрашивать «Сущий».

— Возмездием для всякого своя совесть — внутри нас. Она нас наказывает за наши нехорошие поступки. Возмездие на том свете для несознательного народа попы придумали. А вот богачи здесь живут как в раю, наслаждаются, и на том свете попы им за деньги рай уготовали...

После таких диспутов, расходясь, старики скорбно вздыхали, покачивали головами и промеж себя говорили: «отпетый» человек, в бога не верит, против царя идет, православный народ баламутит. Не миновать ему темной кареты!

— Когда я жил в Петербурге, таких молодчиков там немало переловили, — говорил старик Смирнов, — возьмут, бывало, человека — и пропал неизвестно куда — ни отцу с матерью, ни родным, никому не говорят. А там разговор короткий, — посадили в крепость, смололи на мельнице, — в каждом каземате, говорят, по мельнице стоит, — да в Неву и спустили.

Молодежь, напротив, охотно и с интересом слушала речи Савинова. Нередко обращались к нему с вопросами и за разъяснениями. Но все-таки ему нелегко было побороть с ранних лет вкоренившееся недоверие ко всему новому, малопонятному и незнакомому.

По временам меня глубоко возмущали и задевали речи Савинова. Вопросы, которые для меня, казалось, были давно решенными и не вызы-

вали во мне никаких сомнений, вдруг начали медленно, упорно сверлить мой мозг, как будто в него вонзалась тонкая холодная сталь. Мои верования, воззрения на окружающий мир, моральные устои, с которыми я сжился, сросся и с которыми было так хорошо, спокойно, удобно, — вдруг начали колебаться. Даже и самая твердь — земля — кружится под нами, как говорит Савинов, а мы, ровно тараканы по маховому колесу, ползаем по ней. Мурашки пробегали по телу, — становилось холодно и страшно, как будто я собирался прыгать через какую-то пропасть... Но в то же время мне становилось легко и свободно, когда я вспоминал, что вместе со старыми устоями исчезнет и тот ужасный кошмар, угрожавший мне адскими мучениями — «не на сто лет, не на тыщу лет, а на веки вечные и бесконечные».

Поборов свое возмущение и негодование за оскорбление «святынь», робко, боязливо я начал вступать в споры с Савиновым. Несмотря, как мне казалось, на очевидную мою правоту, мои споры с Савиновым неизменно кончались поражением. Я горячился, возмущался, негодовал, но у меня не было ни фактов, ни логических доводов, ни подходящих нужных слов опровергнуть его утверждения.

— Нет ада, нет рая, нет мощей, нет святых, так значит, по-вашему, и бога нет? — допытывался я, с замиранием сердца ожидая ответа.

— Как нет бога, бог есть, только он не таков, каким его представляют попы, — уклончиво ответил Савинов, настороженный моей горячностью.

— А по-вашему, кто создал первого человека?

— Зачем его создавать, он сам развился. Это только в библии сказки рассказываются, как бог создал человека из глины, а на самом деле его природа создала. Я тебе могу на примере доказать, дружище, — испытующе глядя на меня в упор своими мечтательно-голубыми глазами, продолжал Савинов.

Я обомлел от неожиданности. «Как это он мне может на примере показать? Может он чародей али волшебник какой, а может и сам чорт в образе человека?» — мелькнуло у меня в голове.

— Что, не веришь?

— В такую чушь, конешно, не поверю.

— Возьми ты какую-нибудь, к примеру, коробочку и насыпь в нее земли, да посмотри хорошенько землю, чтобы в ней ничего не было. Поставь эту коробочку в какое-нибудь теплое место недели на две. И ты увидишь, что там обязательно черви или букашки заведутся.

— А потом?

— А потом из букашки будет другая тварь развиваться и так далее... В продолжение четырех, пяти, а может и десяти тысяч лет дойдет и до человека.

В то время этот пример мне показался настолько убедительным, что впоследствии, когда я был уже «сознательным, «червячки» и «букашки» в течение долгого времени фигурировали в моих спорах в качестве одного из наиболее убедительных аргументов.

Лед был сломан. Мои беседы с Савиновым участились, стали более продолжительными и обстоятельными. Его доверие ко мне, повидимому, возрастало.

Много интересного он мне рассказывал о «духоборцах», которые «не сопротивлялись злу насилием» и проповедывали настоящую евангельскую любовь к человечеству.

— Их царские чиновники в солдаты хотят забрать, а они не идут. Им дают ружья, а они их бросают на землю. «Мы, — говорят, — не будем воевать, у нас нет врагов: все люди — братья. Хотим жить по-евангельски», — с восхищением рассказывал Савинов. — Уж каким их наказаниям ни подвергали, а они все стоят на своем... Вот это люди!

Савинову было лет двадцать семь, но он уже успел исколесить всю Россию, где только мог достать работу. Был в Варшаве, работал на уральских заводах, на юге и нигде не засиживался подолгу.

— Скучно мне сидеть на одном месте, Семен, — говорил он мне, — не люблю я мохом обрастать. Как вот приходит весна, так меня и тянет в другие места. Хочется других людей посмотреть, другие порядки увидеть. Только скажу тебе, — рабочему человеку везде одинаково плохо живется, везде тьма непроглядная. В Петербурге вот только не работал. Там, говорят, народ куда сознательнее нашего. На будущий год обязательно туда уеду.

Однажды вечером, подойдя к моему верстаку, Савинов тихонько с оглядкой сунул мне под верстак какую-то растрепанную, засаленную книжонку.

— Прочти, Семен, да не показывай никому, — шепнул он мне.

Терзаемый любопытством и страхом я еле дождался звонка. В два присеста книжка была прочтена. Это были «Ткачи» Гауптмана. В то время она еще была нелегальным изданием. Впечатление от прочитанной книжки было довольно сильное. Песнь ткачей я даже выучил наизусть и декламировал ее в мастерской своим сверстникам-ученикам.

Суд правдивый, милосердный в стране нашей есть:
Работнику презрение, а белоручке — честь!
У нас работника пытают, как в застенках палачи,
Грабят, морят, угнетают, а ты молчи, молчи!..

все время повторялось и звучало у меня в ушах.

Книжка сильно меня взбудоражила, вызвала во мне озлобление к богатым и жалость к угнетенным, вызвала в жизни много новых, до того незнакомых переживаний, но она меня не удовлетворила. Она не ответила на мучившие меня вопросы: как жить и что делать? Она ничего не дала для оформления моего мировоззрения. Эту работу довершила другая прочитанная мною книжка, переданная мне Савиновым: «Что нужно знать и помнить каждому рабочему?» Автора этой брошюры я не помню. Толково, популярно, но с огоньком написанная книжка произвела целый переворот в моих представлениях. Целым открытием для меня яви-

лось стройное изложение взглядов системы будущего социалистического общества. Фабрики, заводы, земля, леса, копи — все будет общей собственностью трудящихся! Организованная борьба рабочего класса против капиталистов, помещиков и царя — вот смысл жизни и работы каждого сознательного рабочего.

Всю неделю я находился в состоянии какого-то экстаза, как будто взобрался на высокие ходули, отчего все люди мне казались какими-то букашками, жуками, роющимися в навозе, а я один постигнул механику и смысл бытия. Вся моя жизнь показалась мне скучной, серой, неинтересной. Каждый день одно и то же, как заведенный часовой механизм — рано встань, поздно ляг. И так изо дня в день. Вот где — «веки вечные и бесконечные»!

Следующая прочитанная мною книжка была «Русский рабочий в революционном движении» Г. Плеханова, после которой многое мне стало ясным и понятным в рассказах отца о «нагилистах». После всего этого моя эмансипация от старых предрассудков пошла ускоренным темпом.

Из артели я уехал и поселился вместе с одним товарищем в отдельной комнате. Перестал ходить к попу на «исповедь», не посещал церквей, а по постным дням начал есть «скоромное». Но привычки креститься я еще долгое время не оставлял, особенно во время моего пребывания на праздниках в деревне.

Видя такое явное мое «богоотступничество», Коровин несколько раз пробовал читать мне нравоучения.

— Не слушай ты, Сенька, этого еретика Савинова, — говорил он.— Не доведет он тебя до добра. Прогонят тебя с завода, а работать ты еще как следует не научился — куда ты денешься? Ишь какой студент выискался! Молоко на губах не обсохло, а туда же лезешь в умники. Вот напишу отцу, пусть он тебе всыплет под рубашку двадцать пять горячих.

— Но ведь я ничего не делаю противозаконного,— опраздыжался я.

— Я знаю, что ты делаешь! Наденут тебе пеньковый галвстук на шею — будешь висеть и ногами дрыгать.

Однако эти наставления не производили на меня впечатления.

Коровин тогда писал письма отцу о моем богоотступничестве. Отец, встревоженный ими, требовал меня всякий раз на праздники в деревню для родительских наставлений. А в промежутках писал мне назидательные письма, в которых советовал молиться, ходить в церковь и призывать на помощь владычицу-богородицу и Николая-угодника, дабы они оградили меня от безбожия и всякой другой скверны.

Во время моих поездок в деревню на праздники у меня с отцом сразу же завязывались богословские споры. Будучи в то время уже значительно утвердившимся в этих вопросах, я почти всегда в спорах с отцом выходил победителем. Правда, не желая его сильно огорчать, я не ставил резко вопроса о «небытии» бога и охотно соглашался допустить возможность его существования.

Отец немного успокаивался и даже гордился мною. Но это продолжалось недолго. Как только я уезжал в Москву, отец оставался один и, получая тревожные письма от Коровина, снова начинал слать мне назидания.

Но все это было бы с полбеды. С одним не мог примириться отец — с тем, что я слишком равнодушно отношусь к дому и нашему крестьянскому хозяйству. Однажды, в один из моих приездов, отец позвал меня в амбар, где у него уже года три тому назад стоял заготовленный хороший долбленный гроб для себя, в который пока что ссыпали овес, капусту, на зиму заготовленную рябину и т. п.

— Я хочу с тобой как следует поговорить — сказал отец.

— Давай поговорим.

— Ты знаешь, — начал он печальным голосом, — я уж становлюсь стар и, может, скоро умру. Гроб себе приготовил, и мне уж больше ничего не надо — только три аршина земли. Но мне хочется умереть спокойно, и хочу я тебя определить.

— Да ведь я уже определен. Работаю на заводе и скоро буду получать хорошее жалованье, — ответил я, делая вид, что не понимаю, к чему отец ведет речь.

— Нет, я не об этом говорю... Ты знаешь, с твоим братом я живу не в ладах. Я его отделить хочу, а тебя при своей жизни хочу женить, чтобы к дому у тебя больше сердце лежало, и тебе самому лучше будет, пока ты помоложе, а старше будешь, тебя не поженишь.

— Нет, до солдатчины я жениться не хочу, а когда приду из солдат, тогда женюсь, — ответил я довольно решительно.

— Но до тех пор я умру.

— Что ж, я и сам женюсь, — твердо заявил я.

Отец понял, что дальше уговаривать меня бесполезно, махнул рукой и с грустью сказал:

— Ну, бог с тобой, живи как знаешь!

*(Продолжение следует).*

---

# ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ.

## Деревенское.

**Федор Малов.**

### Жизненная коллегия.

В первые дни по приезде в свой край я осматривал дальних своих знакомых в других деревушках. Возвращаться приходилось поздно. Соседи ложились рано, и многие из них со мной все еще не видались. Каждое утро мне передавали дома, что за мной все приходит сосед Пантелей и во что бы то ни стало желает увести к себе в гости. Сегодня я тоже собрался пойти в Покровское, чтобы разом навестить всех знакомых. И если придется, то и заночевать. С этим и ушел из дому.

Но когда я поравнялся с избой Пантелея, из нее оголтело выбежал сам хозяин и так рванул меня за руку, что с меня повалилась фуражка.

— Ко мне!.. — решительно махнул он рукой и поволок меня, как мешок, без каких бы то ни было объяснений.

Этим смял он все мои планы. Но я подумал, что у него есть до меня неотложное дело, — и не сопротивлялся.

В избе, куда он втащил меня, Пантелей отодвинул стол и указал, где сесть.

— Вот-с, освидетельствуйте пожалуйста, — жизненную коллегию составил! — гордо и многозначительно улыбаясь, сказал он, показывая мне свое семейство. — В президиуме — я с жёной и брат. А это чумазое поколение, — кивнул он на ораву ребятишек, — рядовые члены... Подчиняются нашим постановлениям.

«Рядовые члены» в ситцевых пестрых рубашонках испужливо прислонились к досчатой перегородке. Увидев меня, они обробели еще пуще, но смотрели, как мне показалось, безо всякого удивления.

Изба была все такой же, как и в пору моего житья в деревне. В ней было тихо; кроме Пантелея не говорил никто. Едва я успел присесть, как он снова схватил меня за руку и поволок к зыбке.

— Взгляни-ка!.. Это новый член коллегии! — немного уже тише проговорил он, отдергивая худенький полог. — Стаж его юной жизни пока лишь только шесть месяцев!

В избу вошла хозяйка, статная и моложавая Марья, с чуть заметной беременностью. Она поставила корзину с картошкой на пол и осторожно распеленала ребенка в зыбке.

Пантелей «представил» мне и ее:

— Жена, подведомственный мне орган!

И хитро кивнув на ее живот, продолжал:

— Ожидаем еще кандидата в коллегию. Месяца через три-четыре нового члена примем. Ничего не попишешь, такая уж наша производительность!

Марья молчала все это время, непрестанно нахлобучивая платок на глаза. Потом ушла за перегородку и принесла полное блюдо желтой малины.

— Не обессудьте! По нашему, по-деревенски, малина-с! — поспешно предложил мне Пантелей. — Очень приятное топливо для нашего организма.

Марья поставила блюдо на стол и снова села за зыбку, стараясь скрыться за ее пологом. На столе появились рюмки и все, что к ним полагается. Пантелей сначала принялся угощать меня огурцами с капустой:

— Кушайте, потребляйте пожалуйста! Продукция своего производства, не купленное!

Я не знал, что такое творится с хозяином, и думал: Пантелей перестанет шутить. Сперва мне казалось даже, что он пьян. Потом я решил, что его странные слова — простая присказка. Ничуть не бывало! Он говорил с таким видом, как бы век свой выражался только вышеприведенным образом. Речь его была самой неожиданной вязи, из слов совершенно необычных для деревенского разговора. Сам он с презрительным недоумением морщился, когда я говорил просто. Да и Марья, очевидно, полагала, что все люди, живущие в городах, не выносят обычного деревенского языка и разговаривала только наподобие Пантелея. Но когда я продолжал говорить, как и все в деревне, — ей стало непереносимо стыдно за мужа.

— Во-от, все время так! — с укором сказала она. — Все время не как чередные люди! — повторила с горькой досадой.

Пантелей поморщился, но ничего не сказал. Однако от меня не скрылась вся та непримиримая борьба, которая горела между ними на этой почве. Пантелей шел на все, чтоб только не разыгралась она на время моего посещения. А Марья протянула вновь:

— Пантеле-ей!.. Сходи хуть, дай одну оберточку сена. Лошадь ведь с утра не кормлена!..

Утеряв последнюю надежду не затевать ссоры при мне, Пантелей обрезал:

— Во-первых, не лошадь, а Красная зорька! — И посмотрел на нее строго и укорительно. — Пора уж обмять язык свой — немало маюсь! А во-вторых, это твоя стадия за скотиной ухаживать! Ну и выполняй свою фукцию!

— Полно, кривляка-а!.. Чего ломаешься! — задористо проговорила Марья. — Не киятр, чай, для тебя здеся!.. — Она отвела на минуту глаза на ребенка, потом встряхнулась и с сердцем, решительно проворила: — Перестанешь дивить людей — стану жить! А нет — убегу!.. Лопни глазоньки, убегу! И так из-за тебя на улицу стало нельзя выйти!..

— Ух, ты, максимум моей злости! — стукнул кулаком Пантелей. — При постороннем человеке затеваешь ссору, смотри же!

На столе зловеще задребезжала посуда. Один из ребят, безразлично глядевший от перегородки, неестественно и бередливо захохотал. Потом заревел и ушел за печку.

Досада и злость бурлили в Пантелее, а глаза горели безнадежным отчаянием. Марья вышла к лошади, сердито прихлопнув за собой дверь.

— Серость! Невежество! Необразованность! — раздельно и с гневом проговорил Пантелей и как бы искал у меня оправдания. — Ну, никакой ты ее, кажись, организацией, ведьму, не прошибешь! Киснет себе, как квашня не мытая, и никакой обработке не поддается!

— Дико ей привыкать-то, — попытался сказать я. — Чего она в жизни видела...

— Полно, — прервал он меня, — просто несознательна, темна, неорганизованна! Не привыкает к моей идеологии. Тормозит, протестует. Я — по-новому, она — по-своему! Я с понятием да с наукой жизнь строю, а она чортом смотрит, ломит по старине! Что делать? Как быть? Не придумаю!.. А идей разных в голове тьма! Полный итог, можно сказать!—

И как бы в подтверждение этого он безнадежно замотал головой, уставился глазами на зыбку и замолчал.

Пантелей долго находился в тяжелом раздумьи, наконец очнулся и встал. Потом легонько взял меня за руку и показал на переднюю стену, где приколочен был ремешками лист желтой бумаги. Я тоже поднялся и, посмотрев, увидел подобие незамысловатой схемы. Наверху красный круг и надпись: «Я — председатель и верховный орган коллегии». Чуть в стороне — зеленый кружочек и надпись: «Отец — шеф и советчик, когда касается». Против него, под первым кружочком, розоватое пятнышко: «Жена — первый зампредседателя и подведомственный мне орган». В середине под ними еще круг: «Брат — и второй заместитель меня». Еще ниже рассыпана горсть кружочков, словно гороха. На них же и написано: «Ванька, Петька, Дарька, Валька, Спартак». Выше их, линией, напоминающей радугу, общее примечание: «Рядовые члены коллегии без права голоса до совершеннолетия и трудоспособности».

По самой нижней черте в два столбика нарисован список. Он озаглавлен: «Расписание занятий и обязанностей всех членов согласно максимума организации». И именное перечисление: «1) Онучин Пантелей Прокофьев — заведую полевым и сенокосным отделом и всеми продчими фукциями в хозяйстве. 2) Жена Марья Павловна заведует домашним скотским подотделом, воспитывает и уходит за ребятишками и стряпает пищу. 3) Иван Прокофьев, брат — заведует побочным заработком, как сапожник. 4) Прокофий, отец — вырабатывает лапти, до 6 пар в день включительно. 5) Мать моя, Орина — председатель комиссии, няньчит детей. 6) Ванька — привлекается для мелких посылок и скоро заставлю помогать мне. 7) Петька — будет гусей пасти на тот год». Против остальных детей написанного ничего не было.

Я углубился в рассматривание таких столь необычных нововведений в крестьянском обиходе. Удивление мое возрастало по мере того, как я всматривался внимательней. Хозяин смотрел на меня и снисходительно и как бы виновато. Он хотел, чтоб я похвалил его и поддержал. Но я решительно ничего не мог сказать и молчал. Это истолковал он потом как полную мою ошеломленность и весь засветился розовым торжеством.

— Вот, будьте любезны, пожалуйста! — совсем уже деликатно тронул меня Пантелей за плечо. — Обратите ваше внимание!..

Он вынул из ящика второго стола тетрадку и развернул. Она была исписана вся. И чего только в ней ни было! В одном углу карандашом было написано: «Проект сооружения бани, под самой ветлой на Швее, но чтоб близко было ходить нагишом за водой». На других страницах были записи о посевах овса, льна. Точно и решительно все было указано тут. Сколько и чего высеяно, сколько дней ушло на обработку, сколько падает налога на данный лоскуток земли и сколько дает он или даст дохода при благоприятной погоде и при неблагоприятной.

Но весь этот строгий, щепетильный учет своего труда и объектов хозяйства гибнул за-зря. Пантелей пахал и сеял по-старинному, никаких агрономических опытов не производил. А при столь примитивном землеустройстве и способах хозяйствования ничего существенного не получалось. Сначала я думал, что он просто не имеет возможности воспользоваться машиной или агрономической помощью. Ничуть не бывало!

Вик предлагал ему весной на яровое новую сеялку, но Пантелей отказался. Пожалел какие-то два часа, чтоб съездить туда за ней. Так и в остальном во всем, хотя на сходах он первый затевает речь о многополье, которого и добивается не один год.

Перелистывая, Пантелей говорил:

— Крестьянство чорт знает как трудно строить по организованным планам. То разные силы природы на тебя прут: дождь, засуха, вихорь. То вымокнет, то зазябнет. Думаешь — так, а выходит совсем из рамок плана. Вот и планируй. А члены семьи, хотя ты лопни, — солидарности в них никакой. Воротят меня, как в стихийный омут, в свои порядки старые.

Он перестал листать тетрадку, сел к столу и затих. Я читал с неослабевающим интересом. «Слушали о порицании Петьке за штаны, — говорилось в записи, которая попалась мне наугад. — Постановили: без всяких прений и докладов вынести порицание вожжами, чтобы не рвал штаны в несознательном озорстве. Председатель Пантелей Онучин. Секретарь — я же».

Марья воротилась со двора и стала что-то делать за перегородкой. Ребятишки вились у ней под ногами. Она вытолкала их в избу. Пантелей был растроган тем, что я внимательно все оглядел. Погодя немного, он позвал Петьку и, указывая на портрет Крупской у тикавших часиков, спросил:

— А ну-ка, скажи: кто?

— Вдова Лениха, — скосив глазенки, проговорил Петька.

— А это? — указал Пантелей на портрет Ленина. — Кто это такой, ну-ка?!

— Емельянов-Ленин, — все так же робко ответил мальчик.

Пантелей ласково похвалил его и погладил по голове. Дал со стола большую ватрушку с черникой.

— Молодец! Меня станешь слушаться, — будешь сознательным! Не по старикам веду. Все время из серости, из невежества вызволяю, — закончил он, прямо смотря на меня.

Марья поставила ухват и села за стол с нами. Сначала пила и ела молча. Пантелея пока я не хвалил, и она с благодарностью глядела на меня, полагая, что я его осуждаю. Я советовал Пантелею поменьше тратить силы на пустяки и упрекнул, что пренебрегать ему агрономическими советами и дружбой с агрономом, живущим у него под боком, не следует. На этот раз он вполне согласился со мной и пожаловался, что не так легко построить хозяйство на новых началах.

— Ну к чему все это? — опять заговорила Марья, но уже совсем жалобно.— Нас только путаешь! Смешно и досадно, а ты и не хочешь уняться. А наше дело крестьянское: в грязи да в навозе! Не приказчики, не больно есть время расписывать!

— Да дура ты, квашня! — с глубоким укором замотал на нее головой хозяин. — Радоваться бы должна... Не путать я вас стремлюся!

Марья, как видно, успела совсем успокоиться:

— Да люди и образуются-то понемножку. Ну плохо ли бы, коли и ты вел исподволь! А ты чего только ни выдумаешь! За сеном пошла — распишись! Воды наносила — запиши! Ягнятам дала — так чтобы лишней сенинки не было. А какое мое письмо — не писариха!

— Вы на вилах зарубки только делаете! Позор, и стыдись ты, как женщина и единица...

Пантелей не договорил. Марья захохотала на всю избу. Ребятишки один за другим повскакали с мест и засмеялись тоже.

— Вот с места не сойти — не пойму! Дуришь ты али что другое, — хохотала Марья. — Ведь волосы вянут от твоего разговора. И дико, и козлам на-смех, а тебе хоть бы што!..

— Наоборот, — благородно и по-городскому проговорил Пантелей. — Совсем наоборот! Я культуру ввожу. А ваши привычки старые изничтожу! Жизнь положу, а на своем выстою!

Когда я уходил, он вышел меня провожать на улицу. По пути рассказывал о службе в Казани во время гражданской войны. Настоящей культурно-просветительной работы тогда еще в Красной армии не было. А то, что ему пришлось увидеть и подметить в городской жизни, далеко не смогло проникнуть вглубь и по-настоящему не перевоспитало. Однако домой принес несокрушимое желание сломать старую жизнь и зажить по-новому. И надо отдать ему должное: после восьмилетней жизни в семье, в глухой деревне он остался все таким же настойчивым и непримиримым. Поскорее бы только коснулось его настоящее, культурное руководство:

## Возраст земли.

Ячейка организовалась четыре года тому назад. За все это время ни разу никто не приезжал к ребятам. Они живут в этой лесной глуши «сами по себе», забытые и покинутые без всякой живой связи с остальным миром. Мертвенный застой угнетал комсомольцев, и они чрезвычайно обрадовались, когда председатель местного кооператива поехал за товарами в губернию.

— Хоть какого-нибудь лектора привези, — настоятельно упрашивали его ребята. — Совсем никакой науки не видим: киснем, как в болоте трава.

— Отсталость, невежество, необразованность, — приставала и другая молодежь, со стороны. — Задохнулись в черных суевериях нашего окаянного быта.

— Ладно, ин, так и быть, постараюсь, — обнадежил их председатель. — Просить неотступно буду, может что и получится.

Через неделю мучительных ожиданий председатель возвратился — и не один. С ним приехал очкастый студент Нижегородского университета и привез с собой котомку старых, едва ли не прошлогодних газет.

— Это вам студенческий подарок из города.

Появление его на фоне однообразной жизни глухой лесистой деревни возбудило неисчислимые разговоры. Мужики ловили студента повсюду и без конца задавали вопросы о многополье, химических удобрениях, сортовой ржи. А один, хилый и тщедушный мужичок, даже спросил студента об инкубаторе и при этом выказал некоторую осведомленность об этой отрасли птицеводства. Бабы шли со своими нуждами, ребята и девки — со своими. Одним словом, жаждущая культуры и знаний деревня сразу проснулась и, пользуясь счастливым случаем, захотела удовлетворить полностью культурные свои недостатки.

Студенту сначала казалось это крайне любопытным. Но через несколько дней его замотали форменным образом, и он решил поделиться своими знаниями в более организованной форме.

Для этого студент приготовил доклад на тему: возраст земли и образование на ней жизни. Наступил какой-то праздничный день, народ по обыкновению собрался в училище, и — после неизбежных скандалов и давки — собарние открылось.

— Возраст земли, — осторожно подбирал слова докладчик, то и дело поправляя очки, — можно узнать, товарищи, без труда. Для этого ученые исследуют соленость морей, эволюцию животных форм и растительности, геологические изменения поверхности земного шара. Для большей ясности я остановлюсь на первом примере. Предположим, в ведре воды, взятом из Каспийского моря, триста грамм соли. Хорошо! Тогда мы берем по одному ведру воды из рек: Волги, Урала, Сыр-Дарьи и других впадающих в это море. В этой взятой воде соли мы обнаружим, скажем, одну десятую грамма. То есть в три тысячи раз меньше, чем в морской. И вот теперь мы уже знаем, какое количество соли приносят воды рек в море. Через десять лет мы снова исследуем воду морскую и без труда узнаем, какое количество соли прибавилось в ней. Исходя из этой десятилетней прибавки, мы узнаем, сколько лет потребовалось для того, чтобы накопилось в морской воде указанное количество соли. Познавать окружающий нас мир можно только посредством научного взгляда, который определяет всю сущность каждого явления и объясняет его.

— Какой такой научный взгляд? — спросила докладчика ничего не понимавшая девка.—Очки такие же, как у тебя, или смотреть зажмурившись?

Она тупо захохотала, озираясь по сторонам, как бы ища поддержки.

— Перестань ты, кобыла сивая! — набросился на нее степенный мужик. — Чего ржешь. Не перебивай.

От напряженного слушания лицо его было натянуто, как струна. Остальные сидели тоже как заколдованные и были горды, что привелось послушать удивительных речей образованного человека.

Докладчик ничего не ответил девке, а пояснил сказанное еще целым рядом примеров. Здесь он выражался понятными словами и сравнениями, прибегая к таким доказательствам, которые наиболее близки для слушателей. Одним словом, весь свой доклад он сводил к тому, что земля — ни много ни мало, а миллионов триста лет уже существует на свете.

— О, здесь можно как следует сагитировать! — воскликнул секретарь комсомола Дядин, председательствуя на этом необычном заседании. — Ведь это вразрез идет с церковным дурманом.

Он многозначительно пошептался с остальными комсомольцами, изображавшими за столом «президиум», и они вместе начали торопливо писать чего-то.

— Ну, я кончил, товарищи, — сказал докладчик. — Если что непонятно вам, прошу задавать вопросы.

Слушатели заволновались и загудели, перебивая один другого:

— Чем лечить застарелую грыжу?

— Куда подевался бог, если его теперя не признают?

— Если у меня пала лошадь весной, так сделают ли скоску по налогу? И где хлопотать?

— Почему нет коричневой краски нигде? Чем же теперь пестрядину красить?

— А я все насчет инкубатора, — поднялся откуда-то с задних скамеек хилый мужик. — Правда ли, что, приобретя его, можно легко разбогатеть? А по-моему — климат у нас суровый, трудно подходящее помещение для аппарата устроить.

— Товарищи, чтобы ответить вам, нужно всему университету с профессорами сюда приезжать, — сказал пораженный разнохарактерностью вопросов докладчик. — Я лично не такой уж всесторонне образованный человек. Да и не в состоянии один человек знать все научные дисциплины.

— Ну, ничего, вали, — подбодряла его публика. — Это проще, чем возраст земли узнать!

Пришлось по мере сил отвечать каждому. Завязалась оживленная, глубоко-разумная беседа. И опять студента поразила исключительная серьезность и деловитость всех, жгучая неутолимая жажда знаний.

Между тем Дядин написал протокол и огласил перед собранием резолюцию следующего содержания:

— «Прослушав доклат товарищя доклатчика, постановили: доклат принять к сведению и неуклонному исполнению. Обязуемся считать землю по заветам Ильича гораздо старшей, чем об ефтом писалось в священных книгах, закабалявших и эксплоатировавших мировой и международный пролетариат всего мира триста миллионов лет. Товарищу-доклатчику вынести благодарственную солидарность от трудовых крестьянско-пролетарско-сознательных масс деревни Лалакино. Председатель собрания, Ликандр Дядин. Секретарь протокола, Олексий Овинов».

Резолюция была принята единодушно, и все грамотные, подписавшись сначала за себя, расписались потом и за остальных.

— Ну что ж, я с удовольствием покажу там студентам, — сказал, ухмыльнувшись, докладчик. — Напишите мне обязательно копию.

— А насчет вопросов-то мы и не упомянули, — спросил «секретарь протокола» Овинов. — Может и их с классовой точки туда же внести?

— Ну-ка, вы, шелкоперы бессчастные! — обрезал его Данил, мужик зажиточный, считающийся кулаком. — У вас только и слов: идеология, классы, коммунизация! А я вас, товарищ, — обратился он к студенту, — немножко касательно бога хочу спросить. Они вот, — кивнул он на комсомольцев, — никакого понятия на этот счет не имеют. Я с ними согласно старинных книг завсегда толкую, а они мне на это одно: «Ты его, бога-то видел?» Я им на это пятое-десятое, а они опять за свое: «Покажи нам его, тогда и мы поверим...» А господь — это, по-нашему, невидимое естество, в отличку от нас, видимых, значит. Отрицаете ли вы это или нет?

— Гм, это странный вопрос, — не понимал ясности Даниловой речи студент. — Невидимого естества нет.

— Стоп! — остановил его Данил. — Это неправда. Невидимое естество признает наука. Она говорит, что есть жидкие, невидимые газы — и много их. Вот я не помню только какие, а они есть. И вот. скажем, когда соединяются какие-нибудь два различных газа, может произойти смерть человека, али рождение комара, али что другое вобче. Так значит, и невидимые естества имеют силу большую. А это и доказывает нам существование невидимого бога: из невидимого образуется видимое. И все это невидимое управляет нами и стоит над всей живой тварью на земле.

— Не связывайся, товарищ, с ним! — закричали комсомольцы студенту. — Он только и знает свое «видимое же все и невидимое». Путает нас, да мы не поддаемся ему.

Но студент, почувствовав, что имеет дело с человеком, доказывающим существование бога посредством опоры на химические явления, с жаром начал объяснять всем собравшимся сначала о простых химических процессах, а затем и о более сложных.

— Что, нарвался! — посмеялся Никашка над Данилом. — Это тебе не «Отче наш», а сложная работа газов, — повторял он слова студента, — превращающая одни тела в другие и наоборот.

Собрание затянулось до самого вечера, и народ разошелся из училища при огнях.

## «Три хозяйства».

Деревня Власовка спряталась в густом бору на берегу Юронги— притока Ветлуги, — в Нижегородской губернии. Ветлуга, как известно, — лесистый, глухой край. Но нельзя сказать, что Власовка — совсем отсталая, темная деревня. Земля по едокам разделена давно, устроено особое пастбище для скота по лесу, и даже отведено четвертое поле «для опытов». Одни сеют на этом поле клевер и вику, другие попрежнему сажают традиционную картошку и сеют лен.

Не то в окрестных деревушках. Там земля до сих пор еще «по силе исправности» хозяйства держится, а усадебные угодья просто берутся «на-храпок» — в зависимости от смелости каждого.

— Загорожу половину поля, и то ничего не поделаете!

Прокофий Телегин, крестьянин крепкий, «при полной силе», — дом и хозяйство целой деревней не расшатаешь. На 5 человек семьи Телегин имеет $16^1/_2$ гектаров полевой земли, необозримые покосы в лесах, пасеку и маслобойный заводик.

Работников Прокофий не держит из боязни стать кулаком. Когда требуется чужая сила, он просто нанимает работать сдельно или поденно, и это в налоговом отношении спокойно устраивает его. Зная, что под лежачий камень вода не течет, Телегин рыщет и толкается по местным советским и партийным учреждениям. Прислушивается, присматривается, наматывает себе на ус слышанное и заводит тесные знакомства с главарями волостной власти и партии. Это и помогает ему преспокойно считаться «середняком».

Земля у него разверстана на два хозяйства: 10 гектаров он считает «своим» наделом, остальные $6^1/_2$ — наделом сына, Саньки, хотя тот еще и не выделен в самостоятельный двор.

В прошлом году уехал сосед Шохра всем семейством в Сибирь как переселенец, и землю передал в общество. Многосемейные, бедные крестьяне, нуждаясь в земле, набросились на надел Шохры за дополнением. Однако распределить землю по нуждающимся оказалось не так «легко». Одному хотелось такую полосу, второму — другую; третий охотно взял бы именно первую полосу, но ее ему не давали, так как в ней было больше земли, чем тому полагалось. И ничего не могло придумать общество, чтоб наиболее удобно распределить землю.

Оставалось одно: передвигать межи всех полос и перемеривать целое поле. При спорах и скандалах, обычно сопровождающих переделы, для этого потребовалось бы не меньше недели. А никому не хотелось передвигаться со «своей, унавоженной» полосы на чужую. Так и пустовал надел Шохры все прошлое лето.

Весной Прокофий Телегин уломал сначала сельсовет и потом принялся за общество.

— Передайте землю мне, я за нее налог вносить стану и по-научному обработаю! Чего делить ее на кусочки, — хлопоты дороже обойдутся! А запускать землю грешно, коли есть возможность ее обрабатывать.

Общество покумекало, замялось, но Телегин приводил довод за доводом, один «убедительнее» другого, и сход удовлетворил его просьбу. Прокофий присоединил надел Шохры к своему и тотчас же машинами, взятыми в кредитном товариществе, запахал его и засеял.

А чтобы вывернуться из-под налогов, он инсценировал раздел со старшим сыном и в акте обозначил сына самостоятельным хозяином надела Шохры.

По весне приехал налоговой агент, проверил поселенный список и хозяйство Телегина попытался было перевести в наивысший разряд, найдя раздельный акт малоубедительным.

— Извиняюсь, товарищ, — обрезал его Телегин, — земли у меня своей столько же, сколько и раньше. Надел Шохры я передал сыну, и он обрабатывает его самостоятельно. У меня с ним никакой хозяйственной связи нет!

Общество в это дело ввязываться не стало, Телегин убедил агента «печеным и вареным», тот уехал и успокоился.

Дворина — усадебная земля — у Телегина полная. В семье три парня на возрасте, с женитьбой их потребуется еще большее увеличение хозяйства и, может быть выезд на отдельные усадьбы. Но это еще когда-то потребуется. А при необходимости общество наделяет молодых крестьян дворинами на краю деревни, отрезывая для этого землю от поля. Но Телегин еще заблаговременно позаботился об усадьбе для своих сыновей.

Около Троицы вышла замуж в другую деревню вдова Марина и переехала туда на жительство со всем семейством. Телегин купил у нее избу и двор за 325 рублей, а за дворину втихомолку доплатил ей еще 150 рублей. Крестьянам он заявил, что усадьбу Марины купил для старшего сына Саньки. Общество опять по неведению ничего не сказало Прокофию, хотя и существовал издавна во Власовке порядок неделять дворинами всякого только после женитьбы, выдела и образования самостоятельного нового хозяйства.

В результате, имея одно хозяйство, одну семью, Прокофий Телегин стал иметь две усадьбы и два земельных надела. Но жадному хозяину оказалось и этого мало.

Осередь лета женился у него средний сын Мишка. На другой же неделе Телегин вышел с ним на сход просить для него отдельной дворины. Санька тоже был вместе с ними.

— На Маринину усадьбу выделяй, — справедливо потребовало общество. — А когда женится Санька, тогда заново наметим усадьбу для него.

— Не хочу я на Марининой усадьбе обзаводиться!— заявил Мишка, наученный отцом. — Охота была мне строиться осередь деревни! Я хочу обзавестись на краю, по новой планировке, согласно агрономическим и противопожарным советам.

— Умру, а не дам Мишке своей дворины! — еще решительнее заявил Санька, — Я купил ее на свои деньги и на свое имя, я на ней и жить буду! Свое собственное для Мишки я совсем не намерен передавать. Для меня он, где хочет, там и обзаводись!

Для видимости братья разыграли между собой искусную ссору при всем сходе. Родитель показывал на них мужикам, заставляя их воочию убедиться в «непримиримой» вражде.

— Мне-то, граждане, все равно, — говорил сладко Телегин. — По мне, пусть Мишка на Марининой усадьбе утверждается. Да ведь они не сговариваются, вот в чем вопрос. Словно псы живут — один на другого с ножами норовят броситься!

— Подожгу его, пса, — грозился Санька на брата, — обязательно подожгу, как только завладеет он моей двориной! И вы заодно с ним выгорите!

— А чего ты не женишься, шалопай? — заругались мужики. — Дворину имеешь, а живешь заодно с отцом. Тоже раздельный акт для отвода глаз написали!

— Давно ему советую жениться, — подмазывал Прокофий сладким голосом, — да не слушается! Но осенью я его силой, а обженю. Надоело мне с ним скандалить, пускай живет отдельно по-своему!

Мужики спорили жарко целый день. Так ничего и не решили окончательно. Телегин не успокоился — махнул в волземкомиссию. Там покланялся, подмазал кого следует и привез с собой самого председателя этой комиссии. Наутро созвали снова всех мужиков.

— Купленная усадьба на чье-либо имя,— стал внушительно говорить предволземкомиссии, — не может передаваться другому лицу без полного согласия на это владельца.

Мужики съежились и замолкли, отчетливо увидев в приезжем ярого сторонника Телегина. А председатель авторитетно продолжал внушать, что застроенная усадьба с пригодными для житья постройками переходу в общественный фонд не подлежит, если временно хозяин на ней почему-либо и не проживает. Одним словом, он свел это к следующему примеру: это одно и то же, если какая-либо семья уехала на лето или на целый год на заработки и оставила свое хозяйство, — отбирать его никто не имеет права.

После этого сход без разговоров наделил Мишку двориной, а потом Мишке отвели полный земельный надел в полях. Телегин составил и с этим сыном раздельный акт, засвидетельствовал его где следует, и на бумаге получилось три отдельных хозяйства Телегиных. На самом деле образовалось одно типичное кулацкое хозяйство. Налог стал еще меньше, и Прокофий разрастается и крепнет неимоверно.

— У нас три хозяйства, — заявляет он налоговому агенту, который не может не замечать настоящего положения дела. — То, что мы временно живем под одной крышей, — ничего не значит. На белый снег родных сыновей не выбросишь, чужие люди и то в одной избе уживаются! А поставить дом у Мишки пока нету средствов!

Силы в хозяйстве Прокофия стало с избытком. Явилась возможность «помогать» соседям, то есть заниматься тайным кредитованием бедняков. Последних обдирает он как сидорову козу и ставит их в полную зависимость от себя. То, что со скотиной у него «неладно» (добрая половина скрыта), — сельсовет не обращает на это никакого внимания. Из огромной пасеки указано несколько ульев и то «разводных», то есть для начала пчеловодства. Маслобойный завод отнесен к мелкокустарным, и налог за него не превышает 150 рублей в год. Работая на нем без конкуренции и какого-либо контроля, Телегин «бьет масло» плохо и наживает на украденном льняном семени, сбывая его на рынке.

Мишка обнес изгородью отведенный ему участок, разделал на нем огород и гумно. С переселением откладывает с осени на весну, с весны на осень. А для того, чтобы показать, что усадьба все-таки застраивается, он поставил на ней один дворик и этим до поры до времени ограничился. Жить продолжает в семье, как и до женитьбы, несмотря на официальный раздел с отцом. А когда общество пытается наступать на него, требуя скорейшего заселения захваченной дворины, Телегин сам отбояривается за сыновей.

— Не понимаю, почему вы в чужое дело мешаетесь? Неужели вам не все равно, где сыновья живут — дома у меня или на других дворинах! — Дальше выкладывает снова разные доводы и ссылки то на неурожай, то на несуществующие бедствия. Так и продолжает он водить общество за нос, не торопясь с фактическим разделом хозяйства.

Чтобы больше упрочить свое экономическое положение, Прокофий Телегин старается всяческим образом быть в центре деревенской общественности. Саньку сумел устроить секретарем комитета крестьянской взаимопомощи. Мишка неотступно обхаживает общество и нагло напрашивается в председатели сельсовета. То, что он хорошо грамотный и нашколившийся на газетах парень, ставит его на особое положение. Быть председателем он соглашается бесплатно, в то время как бедняки отбрыкиваются на выборах, мотивируя свой отказ от работы именно низкой оплачиваемостью.

Что скажут выборы, неизвестно. Почем знать, может вислоухие власовцы и впустят к себе на шею искусно замаскировавшегося волка!

## «Хозяин общества».

Сначала я принял своего соседа за подрядчика или артельного старосту с каких-нибудь разработок. Но это был «настоящий крестьянин-трудовик», — как он сам сказал о себе, — возвращающийся с уездного базара в свою деревню.

— И на соседей везешь? — спрашиваю я, кивая на тяжелую связку подков, которую он положил около себя на лавку. — Много очень.

— Нет, для себя только, — неохотно отвечает он, пряча подковы под лавку. — Запасся немного, может, на зиму хватит. Подковы, они ведь скоро теряются!

— Размер-то разный, — опять спрашиваю я, заметив в связке большие и маленькие подковы. — Видно у тебя четыре лошади-то?

— Нет, — быстро отзывается он на это, — три только. Да и то одну продать собираюсь: кормов нынче мало! Трудно концы с концами сводить.

Собеседник смущенно замолчал, словно уличенный в чем-то нехорошем. Речь наша переменилась сама по себе: мы разговорились о перевыборах советов, происходящих сейчас в этом районе.

— И не поймешь теперь, что пошло, — горячо размахивал он руками, стараясь быть наиболее убедительным. — Настоящих крестьян оттирают от политики нынче, а лежебоков да лентяев, почитай, хлебом да солью на сельские перевыборы заманивают. Зовут-зовут, просят-просят: «Приходите пожалуйста! Не оставьте! Вы теперь главные решатели в обществе!» А им от лени и отвечать не хочется. Перевернутся на другой бок, да и опять в сон. Известно, что им до общественных дел, если свои собственные хозяйства из-за лени в развале держатся.

— Значит, беднота у вас не участвовала на перевыборах?

— Уча-ство-ва-ла, — с негодованием передразнил собеседник. — Если бы не участвовала, так что... рай бы! И путаницы никакой не было. А в том-то и дело, что беднота тоже свой нос сует всюду. «Мы-ста, пролетаристы, безмощные! Нам своих людей в совет нужно, чтоб за нашу линию твердо стояли». А какая их линия, известно: поспать, погулять да нарядней вырядиться. Уж молчали бы лучше. Куда им управлять обществом, раз сами себя на ноги поставить не могут.

Он замолчал и торопливо закурил папиросу. На щеках воспаленно зарделись красные пятна, губы судорожно кривились. И на всем лице лежал отпечаток презрения и ненависти к тому, что он высказал.

— А какая же путаница у вас была? — спросил я снова.

Он яростно заговорил, злобно попыхивая папиросой:

— Два раза пришлось проводить перевыборы, вот в чем загвоздка! А дело это происходило так. Когда созвали нас всех на собрание, всю-

ставку сделали приехавшие коммунисты на бедноту. Сначала нам, трудовикам, смешно показалось. «Куда,—мол, — их в совет избирать, всем обществом править? Они и себя-то на крепкую точку поставить не могут!» И конечно, кто их в обществе станет слушаться? Никто! Потому — сами они худо живут. Разве голяк может быть крепкому мужику указкой?

«Ну, мы покричали немного и отступились. А как стали нам кандидатуры зачитывать, мы прямо глаза вытаращили. Выставляют Игнатку Худобу, а у него одиннадцать человек семья, и хозяйство развалено да запущено. Изба того и гляди всех придавит. Бессильнее его по всей округе не сыщешь.

«Спросил уполномоченный коммунист:

«— Кто желает высказаться, говорите!..

«Пролетаристы было того поддерживать:

«— Что ж, мужик нам подходящий!.. Ни в чем плохом не замечен!

«— Можно его утвердить. Если что коснется, — не сдаст!

«— Известно, нашей линии не изменит!

«— Кто еще скажет? — спрашивает уполномоченный. — Все, что знаете, говорите,!

«Собрание, конечно, замолчало, как будто и не хотело говорить о таком кандидате. Никто больше его не поддерживает. Сидят, как в воду опущенные. Вышел один крепкий мужик и молвил:

«— Его бы и выбрать можно, да хозяйство не позволит общественными делами займаться. И опять семья у него велика! От нее тоже никак отойти нельзя. Нужно таких, кому послободнее, да от крепкого хозяйства!

«Руководители на это не обратили внимания. Вижу, коммунист красным карандашом отметку ставить хочет: «Прошел, — мол,— единогласно!» Взял я, вышел насередку, сказал:

«— Что нам об Игнатке Худобе говорить! Всем видно, что это за птица. Вот послушайте, что я спою, а потом уж сами разбирайтесь в этом. — Скинул я пиджак, развернулся будто бы в пляске и давай откалывать, как под гармонь:

Сорок лет коровы нет
Маслом отрыгается,
На дворе один петух
С курицей ругается.

«Как хахнули все, словно гром заходил по училищу. Аж животы со смеха чуть не полопались. В ладошки захлопали мне, свистеть стали. Словно глаза открылись от этой песни у всех. Ну, коммунисты-руководители опять за свое: предложили голосовать за Игнатку.

— Что ж, провалили кандидатуру? — спросил я.

— Кабы не дурацкая их проформа, так, знамо, где бы Худобе членом совета быть! — досадно проговорил он. — Ведь у них на большинство голосов вся ставка. Известно, за него вся беднота голосовала, разве мало ее! А в том не разбираются, что они дураки мякинные, никудышные люди, лодыри. По-моему, на большинство совсем не приходится полагаться, дураков-то сотни везде, а умных — два-три человека, не больше. Ну, было нас человек пять таких, обстоятельных. Настаивали было мы на этом. Куда тут, и в резон не приняли! Снова своих стали в совет выдвигать. И опять кандидатуры одна другой плоше. Одного такого выбрали — хоть сейчас на государственное иждивение ставь. Ни сохи, у него, ни колеса, ни скотины. Только и ходит занимать по соседям. Какой уж он радетель за хозяйственное укрепление. Голяк, шантрапа, нищий! И другие такие же. А зачнут голосовать — рук, как частокол щетинится. Не по мыслям нам это стало, зачали кричать. Своих намечали, — не

принимают. Беднота словно осатанела: на стену лезет, как только мы слово вымолвим.

«Вот сидим мы у дверей в одной кучке, хмакаем. Мало нас противу их. Пять человек только: я, Антон Савостьянов, Задворкин Лука, Никита Морозов, Иван Васильеич Жеребчиков. Конечно, мы — первые крестьяне, радетели, в плохих никогда не бывали. А Иван Васильич волостным старшиной двенадцать лет сидел, до медали выслужился. Зря человека так не оценят. Антон Савостьянов тоже умный мужик — две мельницы держит: водянку и ветряную. А в наше время такое предприятие держать надо голову! Задворкин Лука тоже почетный мужик — церковный староста. Никита Морозов — начитанный человек: машины у него, пасека. Двоих работников каждое лето держит, хозяйство крепкое. Я тоже, сват ему, живу по милости божьей пока, тружусь. Что дальше будет? Вот поговорили мы промеж себя, видим: дело неважное. Подозвали тихонько еще человек десяток по своему выбору. Ничего себе, средние мужики. Иван Васильич и говорит им:

«— Ушами нечего хлопать, давайте действовать. Проморгаем сейчас, — после не выправишь. Неподходящих они людей избирают, куда их? Нам нужен такой человек, чтоб все общество слушалось! Вали ты, Травкин, выступи!..

«Травкин, со слов Иван Васильича, загоготал словно гусь:

«— Граждане, мы за-зря избираем такой совет: бедняки никакой пользы сделать не смогут. Какие они руководители, если сами не в силах из нищенства выбиться? Нет, пускай они жить сначала научатся да хозяйства свои поднимут до высоты, а потом уж и других пусть учат. Взять, к примеру, Игнатку вашего. Приходит он, скажем, на сход. А там, известно, разные мужики. Да его засмеют ведь, забросают грязью! Разве крепкий крестьянин послушается когда-нибудь голяка? «Да ты, — скажет, — сначала крестьянствовать научись, лошадей заведи, сохи и бороны, да тогда и лезь в советское учреждение! А так-то легко тебе в зажиточных пальцем тыкать: налог — с него! Самообложение — с него! Ту землю — отнять, эту землю — отрезать! И прав лишить, и в бараний рог скрутить, — все легко ему!..» А с самого с него чего взять: гол как сокол и за душой ни гривны. Так вот, граждане, нужен нам такой человек, чтоб его каждый боялся. Давайте изберем такого, чтобы он хозяином в обществе мог быть. С пастухом ли поладить, за изгородями ли последить, — чтобы во всем у него крепость была. А они, Игнатки эти, лентяи и паразиты перед государством. Никаких налогов не платят. А раз налоги не вносишь ты, нет тебе и места в совете. Так-то, граждане, послушайтесь!..

«Тут поднялась такая вражда, Травкина чуть зубами не растерзали:

«— Знаем мы, на чьей ты дудке играешь. Ты за Жеребчикова стоишь, за Ивана Васильича? Мало они над нашим братом издеваются, еще захотелось!

«— Лишить его голоса — и больше никаких.

«— Удалить с собрания их, сволочей, чтоб и духу здесь не было.

«И тут прямо на глазах у власти драка произошла. Набросились на нас, как враги какие вредоносные. Прижали в углу, — и до двери не доберешься. Ладно, коммунисты-руководители приостановили, а то бы не видать добра. Ну, голосов нас лишили, попросили выйти по-чести. Что они там делали без нас, нам не довелось узнать. Только как вышли, Иван Васильич не упал духом.

«— Теперь мы давайте отступимся, — сказал он. — Коммунисты, все равно, не дадут нам по-своему поворотить собрание. А назавтра уедут они, — нам легче будет.

«На другой день мы, действительно, взбузыкали народ в одно место. Перед тем как собрание начать, Жеребчиков все обстоятельно нам, крестьянам, растолковал. Конечно, как только открылось сборище, настоящие крестьяне загалдели одно:

«— Выбранный вчера совет неспособен будет обществом распоряжаться. Потому — одна беднота в нем. А беднота никакого авторитета иметь не может.

«— Правильно, вполне верно это!

«— Давайте по-своему перевыборы проведем!

«Бедняки уперлись, как козлы, — с места, окаянных, не сдвинешь:

«— Не хотим вторые перевыборы делать! Не имеем права!

«— Пущай выбранные сначала в совете побудут. Там видно станет.

«Иван Васильич взял слово себе:

«— Граждане, мы против вас ничего не имеем плохого, но мы вам же помочь хотим. Выбрали вас в совет, — валите, работайте на здоровье! Но мы наперед знаем: ничего у вас не получится! Это нужно сказать вам заранее! Так вот на подмогу вам давайте изберем еще одного самостоятельного крестьянина. Он вам в каждом деле совет окажет. И с обществом ему ладить легче. Его каждый послушается, не как вас. По-моему, это дело хорошее, так будет куда согласнее.

«Однако, как ни бился Иван Васильич, до хорошего толку не дошел. Так и не смогли втереть своего человека в сельский совет. Пришлось просто-напросто выбрать хозяина общества, вроде прежнего старосты.

— Для чего же? — спросил я.

— А для общественных дел, — ехидно поджав губы, ответил мне собеседник. — Каждое дело внутри общества он будет решать. С пастухом ладить, за изгородями следить, всякие распри внутри села, — за всем он наблюдать будет. А также пусть следит, как сельский совет работает. Беднякам мы не хотим доверяться. Плату старосте мы поставили, десять рублев за месяц. Конечно, это лишний расход, да куда ни шло. Все приятнее иметь дела со степенным, рассудительным человеком.

Собеседник вытащил из-под лавки подковы и направился уходить из чайной.

— Кого же выбрали? — спросил я, прощаясь с ним.

— Мда, кого-кого, — стеснительно замялся он, — меня общество упросило...

И не договорив, он ловко юркнул в дверь, пряча самодовольную и хитрую улыбку в маслянистой, кучерявой бороде.

---



# Люди в скалах.

(Горная Чечня).

**Павел Максимов.**

Трудно поверить, но в нашем лоскутно-пестром Союзе еще есть уголки, где люди ходят в звериных шкурах, живут почти первобытной жизнью. Но и в этих дебрях есть советская власть, а с нею сюда проник и ее неизменный, скромный, но великий спутник — букварь, проник, может быть, впервые за тысячелетия. Удивительная жизнь...

* * *

Наш путь лежал в Итумкале, селение в глубине Чечни, за Шатоем, в 75 верстах от Грозного; на старой военной карте-десятиверстке оно обозначено как укрепление Евдокимовское. Двое суток тряслись мы в злосчастной чеченской арбе по высеченной в скалах горной дороге, по камням и ухабам, двое суток от этой немилосердной тряски голова болталась как на веревочке.

Наконец прибыли. Сойдя с арбы, я размял затекшие ноги. Я чувствовал себя изломанным, истерзанным — казалось, растряслись, соскочили друг с друга позвонки, разошлись суставы, и вот сейчас рассыплются кости.

Едва взглянув на Итумкале, я решил, что делать здесь особенно нечего: горсть каменных саклей, стекающих по скату бурой горы к пересохшему руслу речки Чэнты-арк, — вот и весь центр Итумкалинского округа. Издали — развалины, кучка мусора, не более. С парой местных совучреждений можно управиться в полчаса. Стоит ли забиваться дальше?.. Одним аулом больше, одним меньше... К тому же, все они похожи друг на друга.

Между тем, мой подводчик завтра же возвращался в город. Я заказал ему заехать утром за мной, чтобы ехать обратно в Грозный.

---

Поздно вечером сижу на квартире Альтемирова-Мурзы, временного председателя окрисполкома, беседуем об итумкалинских делах. Он девять месяцев учился на краевых юридических курсах в Ростове, довольно прилично говорит по-русски, одет тоже по-городскому — галифе, толстовка. Пришел и секретарь Ахматханов, красивый брюнет в кожанке и с усиками «а-ля-англиэз». Этот говорит по-русски безукоризненно; окончил среднюю школу в Шатое, жил в городах. Оба — обычного типа советские работники-националы. Об условиях работы в глуши оба говорят с какой-то привычной горечью:

— Работы — непочатый край... Русские товарищи едут в Чечню неохотно, а своих культурных сил у нас — раз-два, и обчелся. В округе —

тринадцать сельсоветов — и ни одного грамотного председателя, секретари умеют только кое-как проставить свою подпись...

Трудно Альтемирову и Ахматханову работать в таких условиях. К слову сказать, только двое они не ходят в мечеть (хотя секретарь беспартийный). Но все же они тащут советский возок — может быть медленно, выбиваясь иногда из сил, но везут, пока подрастет своя чеченская смена и сразу двинет вперед дело культуры среди отсталого народа.

— Жаль, жаль, что уезжаете так скоро, — говорил Ахматханов на прощанье — в Итумкале, конечно, ничего особенного, но если бы вы проехали в Майсты, то увидали бы много интересного. Там есть старые каменные могильники и в них — много черепов и костей. Что за народ строил эти могильники, кто в них похоронен — никто не знает, но чеченцы никогда такими могильниками не пользовались. Говорят, некоторые кости имеют до аршина и больше длины: судя по этому, люди эти были великаны. Не знаю, насколько это верно — о величине костей — сам я там не был...

Таинственной стариной повеяло от рассказа секретаря. Но усталость была сильнее любопытства.

— А на самой вершине горы, почти в недоступных скалах — живут люди — продолжал секретарь тем же бесстрастным тоном. — Никакой грамотности, ни даже муллы. Дикий народ. Скота нет, урожая нет, ничего нет. Характерный случай. Лет пять-шесть тому назад в Майсты поехала какая-то ученая экспедиция. По прибытии на место выяснилось, что в Итумкале были забыты некоторые инструменты, не хватило провизии и папирос. Послали в Итумкале гонца-майстинца, сказали ему на словах, вдобавок дали ему записку. Майстинец явился в лавку, подал записку, молча ждет, пока его спросят. Приказчик, между тем, достал с полок что надо, подает гонцу сверток. А у того — глаза на лбу от изумления.

— Откуда ты узнал, что мне надо, ведь я тебе ничего не сказал? — говорит он почти со страхом.

— А я прочитал в записке, — говорит приказчик.

— Но разве бумага может говорить?

— Вот какой младенческий народ! — вздыхает Ахматханов. На губах его — слабая улыбка, а в глазах — грусть. — Вы понимаете, что перед таким народом можно выдать себя хоть за бога и какой-нибудь грамотный авантюрист мог бы повести их за собой на что угодно. Месяц тому назад мы послали туда ликвидатора неграмотности, он знает новый чеченский алфавит (латинский), приехал с плоскости — здесь никого такого грамотного нет. Мы платим ему 47 рублей в месяц, но боимся, что он убежит. Там хоть 100 рублей давай — не будет жить никто.

— Грязные люди, рваные и бедные-бедные... — вторит и Альтемиров, как бы в чем-то оправдываясь. Кушают — не дай бог. И на лицо они какие-то черные; впусти одного в кучу чеченцев — сразу узнаешь майстинца. В неделю один раз моются, и то без мыла. В 35 лет — все они уже старики, сгорбленные и кривоногие, оттого что всю жизнь им приходится таскать дрова на гору. Но вот, понимаешь, женщины у них — очень красивые...

— Все они, майстинцы, — покалеченные! — добавляет и зашедший местный учитель Сельцов, молодой самарский парень, — я ездил к ним на перепись, видел; у того носа нет, у того рука или нога сломана, тот ходит боком — все от падений. Ну, что вы хотите, когда они даже, как только стемнеет — из сакли в саклю друг к другу не ходят, потому что чуть оступился — и поминай как звали, полетел в пропасть... Мы на ноги специальные подковы с шипами надевали. В эту зиму, когда горы покрылись льдом, с Майстами три недели не было никакого сообщения.

Тем не менее узнаю,— и в Майстах имеется сельсовет, председатель Ханукаев Точо, местный но неграмотный, и секретарь Чупалаев Исмаил — грамотный, но не местный... бывший мулла.

— Что поделаешь на безлюдьи? — разводит руками Ахматханов, — впрочем, он давно уже выбросил из головы религиозную дурь. Когда-нибудь дождемся секретаря и из местных...

— Может быть есть в Майстах и коммунисты?

— Они — все коммунисты, в своем роде: собственного мула — ни у кого, один мул на четыре семьи. У самого богатого — $^1/_4$ десятины земли, да и какая земля — скалы!..

— Очень, очень бедный народ, — говорил, шагая по комнате, Альтемиров.

В прошлую осень он впервые ездил в Майсты — сделать доклад о 10-й годовщине Октябрьской революции. До него туда из властей ни одна живая душа не ездила. Да и он сильно артачился, отговариваясь незнанием дороги, но комиссия настояла на этом — «по злобе что я — кандидат партии: раз ты кандидат партии — езжай куда тебя посылают без разговоров».

— Посмотрел я на их жизнь — тяжело стало. Сделал собрание, сказал доклад. Потом говорю: «Зачем вы тут живете! Теперь у нас советская власть, она дает бедным чеченцам землю на плоскости, помогает строить дома, дает инвентарь, машины. Идите на низ, довольно вам мучиться!»

«Нет говорят, мы здесь привыкли, на низу нет такой воды, как здесь, и мы без такой воды помрем».

Вода там действительно хорошая, бежит из камня и в летнее время холодная, как лед, чистая...

— Высокая эта гора, на которой расположены Майсты? Выше этой?— показываю я на соседнюю высокую гору.

— В три раза выше, — отвечает Альтемиров.

Они, председатель и секретарь, рассказывали спокойно, флегматично, как о чем-то печально-курьезном и надоевшем. Но... бес любопытства опять проснулся во мне. Какая невероятная жизнь! Забиться за тысячу верст и не заехать в такой уголок, как Майсты, когда это «так близко, так возможно»... Усталость? Что ж, будет день, когда все это станет прошлым.

— Где же эти Майсты, далеко ли, сколько верст до них? И не опасно ли?

— Верст — нет, их никто не мерял — говорит секретарь. — Но верхом к вечеру доберетесь. Видите тот снежный хребет? Майсты — за тремя такими хребтами. Насчет опасностей — как сказать... Подъем в Майсты — почти вертикальный, тропинка — всего шириной в четверть, идет лестницей, временами нужно пробираться по карнизу, влипая в стену; малейшая неосторожность — и вы полетите в пропасть. Года два тому назад, как раз под Майстами, был убит московский исследователь Бальшин — его убил Атобай Шамилев, бандит из шайки Имама Гоцинского.

Несмотря на опасность, (а может быть именно поэтому), решаю ехать.

* * *

Весеннее теплое утро. Над саклями селения Мэгмэрки, прилепившегося в поднебесьи к скату горы, вьется из труб дымок.

Из Учкалоя, сделав порядочный крюк, подъехал подводчик, чтобы по уговору везти меня в Грозный. Одновременно Идыш Дудушев, проводник-переводчик, пожилой чеченец, подал оседланных лошадей — ехать в Майсты.

— А ты посоветовался со мной, с кем в Майсты ехать? — сказал мне Альтемиров с непонятным раздражением. — Ну, езжай...— добавил он мрачно, — но за последствия мы не ручаемся...

Час от часу не легче! Ну, будь что будет, — все равно я не могу не поехать. Я дал подводчику оступного, мы с Идышем вскочили на коней и помчались в синее Аргунское ущелье.

Дорога шла над берегом мутного, темно-глинистого Чэнты-Аргуна — то у самой воды, то взбираясь на многосаженные откосы, по самому их краю, и тогда Аргун бурлил глубоко внизу. Умные лошади, косясь под обрыв, осторожно и мелко-мелко перебирали ногами. Много раз мы переезжали Аргун вброд.

Аргунское ущелье врезывается в горы зигзагами. Справа и слева в него то-и-дело впадают другие ущелья, по ним в Аргун с шумом бегут то мутные, то чистые потоки.

У Бечикхоя, через ревущий Аргун, — шаткий мостик на двух бревнах. Пришлось слезть и осторожно перевести лошадей.

Чем дальше, тем больше старинных башен, похожих на четыреугольные заводские трубы. Они торчат на отвесных выступах справа и слева, охраняя, подобно стражам, вход в ущелье. Враг, показавшийся в ущельи, был виден с башни как на ладони. Стрела или пуля, пущенная сквозь щель бойницы, на выбор поражала врага.

У селения Босхой увидели в скале пещеру с ржавыми подтеками по камню. Это — нарзанный источник «Муж» («кислый и теплый»). Вначале нарзан пили только олени и звери, потом стали пить и люди, «когда у кого заболит живот», как объяснил Дудушев. Я пробрался в пещеру и напился: вода была кисленькая... Здесь много таких пещер.

Чем дальше тем меньше людей и признаков жилья. Встретили только лохматого, заросшего человека, мастерившего мостик через ручей — рубаха на человеке была черная, как земля. Идыш отдал ему свой хлеб и даже крошки, я дал вареное яйцо, и человек ел с жадностью. Еще встретили человека с винтовкой и с бляхой — это ветеринарный стражник: он смотрит, чтоб сюда не спускались баранта и скот из Хевсуретии.

Мы давно уже бросили Чэнты-Аргун, свернув влево по реке Майсты-арк. Хаотически насыпанные глыбы камня преградили нам дорогу. Это обвалилась гора и завалила ущелье и реку. Мы перебрались через камень и поехали лесом. И лес и горы были еще голые, но уже было тепло, и чувствовалось, что в земле уже бродят теплые весенние соки. Уже висели кое-где на ветвях пушистые сережки, и среди кустарника голубели на земле фиалки и выглядывали первые весенние желтые цветочки.

Проводник ехал медленнее и медленее. О чем думает Идыш? На всякий случай, я нащупал в кармане револьвер.

— Тебе ничего не говорил обо мне председатель? — спрашивает Дудушев.

Я сказал.

— Он всем говорит обо мне самое плохое... потому что он хотел, чтобы ты взял лошадь у него или у его родственников. Теперь мне от него житья не будет. Смотри, какой я плохой человек.

И Идыш подает мне свои бумаги. Это — удостоверение, что Идыш является проводником от Краеведческого бюро: отзывы о нем, как о знающем и честном человеке — от различных экспедиций, комиссий и профессоров-исследователей.

Ну, что ж, есть и у Альтемирова своя маленькая слабость.

Я спрятал свой револьвер подальше.

И вот — обрывистая гора, и над головой — опять развалины старых крепостных стен, башен.

Таща за уздечки лошадей, приступом карабкаемся на гору, — камни сыпятся из-под ног лошадей. Отдохнув на площадке, обогнули выступ, и вот перед нами ущелье : блестящей полоской ручья внизу, и мы видим, что ручей бежит из-под сползшего в лощину ледника. Гора спускается к ручью наклонной стеной, издали она кажется удивительно гладкой, срезанной, подобно тому как можно наискось срезать ножом сливочное масло. Но, в действительности, из среза всюду торчат обломанные черные плиты графита, и вот вижу — к каменной стене, к торчащему плитняку лепятся, как ласточкины гнезда, каменные хибарки, одноэтажные и двухэтажные крытые такими же каменными плитами. Тропинка вьется между хибарками и путляясь взбирается все выше и выше. А на вершине горы на фоне неба и ледников — сакли, похожие на слепые каменные амбары и над ними — башня. Это — Майсты.

В каждой хибарке — окошко. Внутри — кучи черепов и костей, на полу и на каменных полках полуистлевшее тряпье, мусор. Кости — нормальных размеров, все, что рассказывают о великанах — это миф. На обратном пути мальчишка из Майсты достал мне из могильника деревянный корец (для передачи Краевому музею).

Подъем был невероятно труден, но обстановка была так необычна, что вначале я преодолевал его легко. Я скакал, устав прыгать, со ступеньки на ступеньку. Но лошади тяжело дышали, часто останавливались, ноги у них дрожали — умные животные обнюхивали землю и оглядывались на нас с таким видом, будто говорили: «Ну куда вы нас тащите? Стоит ли? Сил больше нет...»

Грудь ходила ходуном, собственное дыхание жгло огнем, губы пересохли, сердце хотело выпрыгнуть из груди, рубаха на спине стала мокрая, хоть выжми. У проводника, пожилого человека, нестерпимо болит поясница, он недавно надорвался, подымая тяжесть.

— Ой, какой дурной народ, куда забрался!.. — ругается он, тоскливо глядя вверх на башню, — мучают себя и людей... По этой тропинке подымался профессор Воскресенский. Мы думали, что он помрет, а он со своим костылем прыгал как козел, всех обогнал. Мы все удивлялись, ей-бох, — что за человек!..

Ведя под уздцы лошадей, мы приближаемся к саклям. Народ, все население этого горного гнезда — мужчины в грязных овчинных полушубках, женщины и детвора стоят на галлерее крайней сакли, смотрят на нас — молча неподвижно изумленно. Так, вероятно, в старину встречали завоевателей...

Мы отдали повода проворным мальчуганам (у каждого из них — кинжал за поясом в убогой деревянной самодельной оправе), седобородый старик выходит нам навстречу с глубоким поклоном. Вслед за ним из толпы продвигается чеченец, похожий на горожанина, приветливо подает руку, пытаясь говорить по-русски. Он заметно выделяется на местном овчинном фоне: черный сухолицый в суконной зимней черкеске. Это Махмерзоев Увейс, учитель, сам он с плоскости из Шали.

Старик и учитель ведут меня на галлерею, деликатно поддерживая под локти, чтоб дорогой гость не свалился в пропасть (она тут же в полуаршине).

На галлерее садимся на низких трехногих скамейках, осматриваемся. Десятка два мальчуганов смотрят на нас во все глаза. У каждого из них — книжка в руках, тетрадка, карандаш. Это школьники, они занимаются в соседней половине этой же сакли.

Беру у одного школьника его книжку. Главполитпросвет «Noxciw abat», «Букварь для взрослых», составленный М. Сальмурзаевым, отпечатанный в типографии чеченского издательства «Серло» («Свет»).

Текст — латинский, много картинок из чеченского быта. В конце — такое знакомое: Internacional. И еще — две статейки: «Что такое коммунистическая партия», «Что дает коммунистическая партия».

Этот скромный тощий букварь — великое достижение ЧечОНО: в Шатое мы видели, чеченская детвора учится по архирусскому букварю «Новая деревня», ничего не понимая в чуждых ей картинках русского быта средней полосы России. Там, например, есть картинка с изображением свиньи, по понятиям чеченцев-мусульман — нечистого животного. «Зачем такой грязный дело?» — спрашивают школьники. Свинья внушает им омерзение, но никто этого не учел, посылая букварь в Чечню.

Я узнаю, что аул, в котором мы находимся, называется Цэкел, в нем тринадцать дворов и семьдесят душ обоего пола. Здесь есть еще два таких же аула — Поуого и Тоуого, один из них я еле различаю по ту сторону ущелья, в половине горы, в лесу, в скалах; другого не видно, он там, за вершиной; все вместе они, в числе сорока девяти дворов, составляют майстинский сельсовет, находящийся здесь, в Цэкеле. Первоначально учеников было двадцать, теперь двадцать три, учитель говорит, что еще прибавится.

Постепенно сакля набивается народом, сидят на корточках, смотрят на редкого гостя.

Что думают они о цели моего приезда? Чувствую, что надо объясниться. Но знают ли они, что такое газета, разъездной корреспондент?

— Скажите им,— говорю я переводчику, — что я приехал из России посмотреть как они живут, я напишу об этом книгу, чтоб книгу прочитали много людей и узнали, как живут люди в горах.

Приветливые улыбки, одобрительное покачивание головами: «Спасибо, спасибо, мы очень рады гостю, благодарим, что он нас проведал».

— Бывают ли у вас представители власти из округа с плоскости?

— Никого не видали, не слышали, только Альтемиров приезжал осенью, в первый раз за три года.

— Как живете, чем кормитесь?

Смех. Понять этот смех можно так: «сами удивляемся, что живем, но вот — живем».

— Овцы есть мало-мало. Кукурузу возим из Итумкале или из Шатоя, а когда там нет, возим с плоскости (это верст за пятьдесят). Продал овцу, купил кукурузы — вот и весь расход за год. Мануфактуру берем в Итумкале, в лавке кооперации, а когда там нет, делаем сукно и белье сами, из шерсти.

— Видишь — земля? Когда кладем на нее навоз — родит мало-мало.

Смотрю на эту «землю». Это просто мелкая щебенка по скату горы, с кучками навоза. Что может расти и уродиться на этой земле — непостижимо. Альтемиров говорил мне, что родится ячмень. На плоскости ячменем кормят лошадей, а здесь им кормят скот и едят его сами.

— Один-двое имеют коров.

— Осел есть...

Это тот самый знаменитый «коммунальный» осел, который обслуживает чуть ли не все селение. Этот осел — гордость аула, он расценивается тут на вес золота: в таких селениях мул стоит столько же, сколько стоят восемь коров, а корова в Итумкале стоит 60 рублей.

У кого есть 10—15 овец и 5—6 телят — того здесь считают богатым. Этот старик Музугов Джокали — страшный богач, местный буржуй:

у него 3—4 головы рогатого скота, 20—30 овец и 1/4 десятины так называемой «земли». Семьи у него пятнадцать едоков (сыновья, внуки), сам шестнадцатый. Было два вола; одного продал, купил хлеба, остался один вол — пахать нечем...

А у этого богатыря — Точиева Омаха, нет и загона земли («загон» — меньше 1/4 десятины), а семья — восемь душ.

Да, житьишко!..

— Скажите им — прошу переводчика, — что я много ездил по Кавказу, много людей видал, смотрел, как живут разные люди, но такой бедности — скажите им — я еще нигде не видал. Спросите у них, — скажите, что я спрашиваю, — зачем они не идут на плоскость?

Лохматая шапка на старике — как клок волос. В его светлых, детски ясных глазах — смущение, растерянность. Он сидит на корточках, разводит руками, широко осклабился, — видны желтые зубы, седая бородка торчит клином.

— Не знаем, ей-бох, не знаем... — пищит он тоненьким беспомощным голосом.

— Я им толкую уже сколько времени — «идите на плоскость, теперь можно, зачем сидите тут и голодаете?», — нет, ничего не выходит, — говорит учитель.

---

Зовут к председателю. Его сакля там, где башня. На дворе уже темно, меня ведут под руки, потому что в полуаршине — черная бездна, пропасть.

Седой старик в овчине, очень похожий на Музугова (это был его двоюродный брат), почтительно встречает нас на пороге и, толкнув узенькую дверь (без петель, на деревянных шипах), приглашает первыми войти в саклю.

— Селям алейкюм! — приветствую старика.

— Алейкум селям.

Та же обстановка, на стене висят бараньи курдюки, бурки, сыромятные кожи. Но на другой стене, над тахтой — такие знакомые и такие необычные здесь плакаты. «Октябрь на Северном Кавказе» (портреты Микояна, Гикало, Шибобы), «Заем укрепления крестьянского хозяйства» (Калинин, Рыков, Брюханов), воззвание крайисполкома — «Товарищи крестьяне, казаки, горцы!» (о том же займе). На полке — «Известия крайисполкома», но Ханакаев Точо, председатель, этот самый восьмидесятилетний старик, неграмотен.

Едва я присел на тахту, как сын старика, великан Омаха, став на колено, принялся тащить с меня сапог. Было неловко, я отмахивался, но Дудушев толкнул в бок: «Не обижай хозяев, неудобно, такой обычай».

Красивая молодая женщина, в длинном синем и прямом платье без талии (цзабар), внесла вязанку дров, набила ими железную печку.

— Сколько членов в совете? — спрашиваю для начала беседы.

— Чнели? — хрипит старик, — восемь «чнелов» из всех трех аулов.

— Значит, чтобы попасть сюда на заседание совета, им приходится спускаться из своих аулов на дно ущелья и потом вновь подниматься? Или, если кому нужна справка в совете, — тому тоже приходится пробираться таким способом? Ну, тут не разведешь бюрократизма.

— Это им нипочем, они привыкли лазить по скалам, — говорит переводчик. — Вот этот Омахà третьего дня такое бревно приволок снизу, что парой быков не втащишь.

— Случаи падений — бывают? С детьми, например?

— Человек несколько пропало... и дети, — переводит Дудушев.— На-днях, где мы шли, сорвался камень, убил одного, — похоронили... Баран хороший свалился вчера, а недавно серый мул издох — с кручи упал. Коровы падают... У снохи председателя кумган с плеч сорвался, когда несла воду — нашли на дне несколько черепков. Волк много грабит баранов. Тут много медведей, есть черные туры, дикий козел, лисицы, но стрелять нечем. Много пропадает сена,—такой бывает ветер, что уносит целые копны.

— Знают ли майстинцы о спиртных напитках?

— Да, знают, варят араку из кукурузы.

— Но ведь пьяному ничего не стоит разбиться...

Дружно смеются, будто удачной остроте, прыскают как малые дети (видимо, есть такой грешок насчет выпивки).

— Зачем пьяному бродить? Пьяный спит дома...

Никакой больницы в Цэкеле, конечно, нет.

— А если кто заболеет? Помирает без помощи?

— Конечно, — отвечает проводник равнодушно, — фельдшерица из Итумкале не приезжала сюда ни разу.

Та же красивая молодица вносит низенький трехногий столик (лэйнт) и ставит его перед нами. Богатырь Омаха, ее муж, появляется с большим деревянным блюдом (тэк), полным дымящихся кусков вареного мяса, — для нас, оказывается, только что зарезали молодого барашка.

— Скажи, Идыш, как здесь женятся, откуда эта женщина?

— Это моя двоюродная сестра, она из Люнкихоя, Хэлдихороевского общества. Один год в Цэкеле было трудно зимовать, сена не было, и Омахà ушел с барантой в хутор Хагэчу. Там они встретились, полюбились и стали жить (просто!). Вообще же, берут жен тут же, женятся между собой.

Стол был густо заставлен яствами. Рядом с бараниной стояло блюдо с галушками из кукурузы (но без начинки), блюдо с курятиной и крынки с бульоном. Мясо и галушки макали, вместе с пальцами, в миску с рассолом. Принесли овечий сыр (нэхч), твердый, как камень, ноздреватый, очень соленый и вкусный.

— Кушай наша чеченский халва (дэттаг)!

Это была похожая на замазку смесь ячменной муки со сливочным маслом — такая вязкая, что трудно было глотать.

— Араки не хочешь?

— Нет, спасибо, — непьющий.

Подали чай в стаканах, — сахар крошили железными плотничьими щипцами.

Обед кончился, мужчины вынули кисеты, табак был просто сухие листья этого растения. Но Дудушев угостил всех дешевым сортом «Нашей марки» (если б знали рабочие ДГТФ, куда проникает их продукция!). Старик не взял папиросы — не курит с детства. Он прикурнул на полу у печки и не спускал с меня детски-ясных, голубых глаз.

— Как жаль, что я «без языка», что мы не можем поговорить! — сказал я старику при помощи отчаянной жестикуляции. Старик улыбнулся детски-доброй улыбкой и ласково похлопал меня по плечу. Потом полез за пазуху и доверчиво показал мне... облигацию займа укрепления крестьянского хозяйства, стоимостью в два с полтиной.

В дверь сакли проскользнул босой человек в рваном полушубке и несмело сел на полу у дверей, поджав ноги. В руках у него — «атхуе-пупондар», чеченская скрипка: круглый инструмент (по форме — как половинка арбуза), сделанный из пузыря или из тонкой кожи, с двумя дырками и

с грифом. Смычок — просто согнутый, в виде лука, прутик. Вместо струн — конский волос (за струнами в город ехать не надо).

И он заиграл — нечто очень грустное и однообразное, как жужжание роя больших синих мух, и немного похожее на игру слепцов на ярмарке, на бандуре. Только один звук был высокий, плачущий, — он звучал тоном жалобы, покорной, убеждающей мольбы.

— Это — «Дзиккер», — пояснил Дудушев, — вроде как молитва, Шэмил молится.

Пастухи слушали молитву в глубоком молчании, склонив головы. Музыкант перестроил лады и запиликал нечто столь же печальное. Скрипка плакала, но слушатели уже почему-то смеялись.

— Лойли-яла-ла... — завыл под музыку Дудушев. — Лойли-яла-ла...

— Это песня для танцев,— сказал он, — слов у песни нет, — это как у русских; та-ра-ра-там-та...

Да, пожалуй, под эту музыку танцовать можно.

— Его зовут Алхастов Ити, — чистый бедняк, совершенно ничего не имеет и у него семьи — шесть едоков, — говорит Дудушев о музыканте,— сегодня пойдет работать к одному, завтра к другому — этим и живет. Ни одной овечки, ничего...

— Батрак?

— Совершенный батрак.

Я попросил Алхастова спеть что-нибудь. Он очень стеснялся, долго отнекивался, потом хрипло запел речитативом нечто невыразимо-грустное; последний слог он растягивал, как плач, получалось совершенно похожее на причитание деревенских баб по покойнику.

«Жил на свете догмеер Вар (догмеер — отчаянный, храбрый), защитник бедноты, не позволявший пить кровь бедных нохчи [1]). И вот ехал однажды Вар по Чеченской земле и в Старых Атагах заехал на ночлег к своему верному другу Гага...»

Я записал эту песню. В ней рассказывается, как доблестный Вар пал жертвою вероломства. Предатель Гага накормил его и уложил спать «на пух и перо», а сам, между тем, побежал к русскому генералу «и бросил свой длинный язык к порогу генерала». — «Как вор попадается собакам, так Вар попался в мои руки». Генерал осыпал предателя золотом, офицеры и солдаты окружили Вара тройным кольцом. «Пятнадцать пуль попало в лошадь, пять — в Вара». Он лег на траву и застонал — «лег умирать». Но, как рассказывается в конце песни, Вар потом поправился чудесным образом.

«Дай же, боже, чтобы и с нами кончилось так же», — закончил певец торжественно. Увы, только в песне предательство кончается для Вара (одного действительно жившего шамилевского мюрида) благополучно. В действительности же, благодаря доносу чеберлоевского наиба Мидара-Гуданата, Вар был окружен драгунами из укрепления Воздвиженского (Чах-Кери). Во время трехчасового неравного боя мюрид все время не переставал петь зикристские гимны. Будучи уже ранен, он бросился с шашкой в руке и с пением предсмертного ясына (молитвы) в гущу атакующих и был изрублен ими в куски.

---

Слушатели сидели долго в глубоком молчании. Может быть, в их душах шевельнулись недобрые чувства ко мне, русскому? Нет, в глазах

[1]) Чеченцы сами себя называют «нохчи» («народ»). «Нохчи-м'эрки», это — чеченцы, живущие на плоскости: ч'энты-м'эрки» — живущие в горах. Аргун в верхней своей части, в горах, носит местное название Чэнты-Аргун.

стариков попрежнему — доброта и снисходительная ласковость. Старики удивительно похожи на седобородых добродушных хохлов, у Омахи — усы кубанца (на пальце широкий серебряный перстень с печаткой), а музыкант по виду — тот же батрак из станицы. Может быть, это даже и не чеченцы, а какое-нибудь особое заброшенное в скалы племя? Они голубоглазы и светловолосы и Дудушев говорит, что их язык во многом отличается от чеченского. Смотрю на учителя из Шали — он черен, как жук, сухощав и узколиц, в нем сразу узнаешь чечена.

— Смирный народ, добрый,— делюсь своим впечатлением с Дудушевым, — на плоскости народ другой.

— На плоскости народ меньше трудится, любит погулять, а здесь все в заботах о хлебе, некогда думать.

Набожный проводник принялся (в который уже раз!) совершать «ла̀маз» (омовение). «Бисмилла рахманирхим...» — забормотал он («прости нам грехи вольные и невольные»). Но майстинцы не молились при мне ни разу, не знаю: может быть, у них нет никакой религии.

За стеной заплакал грудной ребенок. Захотелось посмотреть женскую половину — меня одели в бурку, надели на голову папаху — «чтоб не испугались дети». За перегородкой в сакле ярко пылали и трещали дрова в печке, устроенной в виде камина; в котле, подвешенном на цепи, варилось что-то. Женщины сидели у костра. Старухи и дети на грудах овчин и тряпья спали вповалку. Цыганский табор. Молодые женщины и дети — очень красивые, большеглазые.

А за порогом, под ногами — чернильная пропасть и плавающие облака.

Жизнь!..

---

Утром я делал зарисовки, а толпа подростков ходила следом, смотрела через плечо, с изумлением следила за каждым движением карандаша. Некоторые щупали мой прорезиненный плащ, качали головами, трогали за пуговицу...

Вниз, под километровый обрыв жутко взглянуть — стынут ноги... Ледник сполз к самой голове ущелья, навис ледяным клином. Из-подо льда серебристой лентой бежит, блестит в страшной глубине Цэкель-арк, скачет водопадами, теряется в Майсты-арке.

Дальнее ущелье синея уходит в глубину снежного хребта.

— Далеко ли отсюда до Хевсуретии, Идыш?

— Один переход — и будешь в Хевсуретии, в городе Шатиль, знаменитом коврами. А Аргун берет начало еще дальше.

— Какое глухое место, — говорю Идышу,— пожалуй, какой-нибудь бандит или дезертир мог бы года три здесь отсиживаться?

— Ну, нет, не те времена,— говорит Дудушев, — видал плакаты в сакле? Председатель есть, секретарь есть, учитель есть, карандаш, бумага есть, — видали они когда-нибудь это раньше? Нет, все наша горская жизнь теперь переделывается.

Захватив кумган, хочу умыться у ручья, поблизости от селения.

Точо Ханакаев, старик, на минуту задержал меня за рукав и, засуетившись, говорит что-то невестке. Та направляется к окованному жестью сундучку-ларцу на полке, — я знаю от Дудушева, что в ларце хранятся «драгоценности», как он сказал, — чашки, сахар, мыло, деньги и т. п. Невестка подает что-то старику, и вот старый Точо отечески сует

мне в руку засохший, твердый, как камень, кусок умывального мыла и ласково треплет по плечу.

Внуки Точо выгоняли из нижнего этажа башни стадо, — овцы и низкорослые, шершавые коровенки побрели вверх, на гору. Старуха, в легких сыромятных чувяках, жена музыканта, спускаясь вниз, прыгала с камня на камень с изумительной легкостью — как балерина...

Я умывался у холодного, кристального ручья, падающего рукавом из камня.

А кругом — все те же бесстрастные горы, синие ледники и вечные снега.

И — тишина, тишина...

---

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

## Литературные заметки.

### Д. Тальников.

«Писатель болен». — Робинзонада «эстетизма». — «Святая блудница цыганских романсов». — «Мне нечего сказать современности». — В поисках «сладостной легенды». — Мера нашего времени.

I.

Вдумчивому наблюдателю нашей литературной жизни сегодняшнего дня должна броситься в глаза одна черта, может быть, еще не осмысленная во всей своей глубине, не раскрытая во всей своей ясности, не вынесенная из «тайного тайных» на суждение и писателя и общественности, но несомненно существующая и по временам о себе заявляющая то в случайных общественных выступлениях, то в литературном творчестве: писатель наш, преимущественно попутчик, одолеваем какими-то сомнениями, мучительными для него как писателя, он уперся в какой-то художественно-идеологический тупик, перед ним вырос вопрос о дальнейших путях его работы.

Последние выступления ряда критиков вокруг проблем о творчестве, попытки, делаемые современниками, построения научной эстетики — все говорит, что мы имеем дело с актуальным вопросом. «Писатель болен!» — с «тревогой» диагносцировала М. Шагинян в прошлом году писательское состояние духа. «Писатель болен»... что это означает? По существу таково хроническое состояние всякого творческого духа, покуда он творит: писатель болен «муками» творчества, — это значит: он испытывает некое состояние «специфического» обострения всех нормальных процессов восприятия, начиная с момента творческой «тоски», творческого «зачатия» — замысла, через «муки» внутреннего роста этого замысла, «болезнь роста», — «муки слова», которыми проклят был человек на заре своего творчества («в муках родишь ты!»), — вплоть до разрешения от своего долгого творческого бремени. И чем крупнее и оригинальнее художник, тем тяжелее его творческие переживания развития и оформления замысла. Часто бывает, что творческий плод родится раньше времени, раньше тех положенных ему «девяти месяцев», о которых говорил Гейне, — и тогда получается литературный «выкидыш», преждевременный продукт искусства, на себе носящий все черты этой преждевременности. Бойтесь преждевременных родов, бойтесь «абортивного» творчества — таков урок писателям, вытекающий из нашей метафоры, урок, далеко не претендующий на какую-либо оригинальность новизны...

Но здесь сейчас я хотел бы говорить не об этой почти нормальной «болезни» художественного творчества, об этом процессе, который в силу

своего хронического состояния становится привычной физиологической и психологической нормой творческого духа писателя. Задача моя — остановиться на отклонениях от этой творческой нормы, на «извращениях» нормального творческого процесса, которые поэтому можно будет назвать патологическими, на «уклонах» от творческой нормы в ту или иную сторону.

В. Мейерхольд, выступая недавно в Ленинграде с докладом о «Новых боях на театральном фронте», очень правильно, по нашему мнению, взял основным исходным пунктом своих суждений положение о неотделимости содержания от формы, кажется, завоевывающее в наши дни общее признание. «Отсюда у Мейерхольда — отрицание самостоятельного значения тематики и призыв к отыскиванию новой революционной формы театра» («Красная газета» 9/I 1929 г.). Подчеркнутое нами положение правильно, как нам думается, передает смысл высказываний, которые сами по себе и не нуждаются в подтверждении такими «упорно повторенными» (по передаче ленинградской газеты) Мейерхольдом фактами, что «революционная тематика современного спектакля зачастую только прикрывает реакционную сущность зрелища». «Искусство, — правильно прибавил докладчик, — должно воздействовать средствами, одному ему присущими». Ленинградский критик имеет некоторые основания для беспокойства, когда он, вспоминая о той «форме» в ее «оголенном» и «самоцельном виде», какая встречалась в некоторых прежних постановках Мейерхольда, спрашивает: «декларируя поиски формы, не забывает ли Мейерхольд своего собственного credo относительно неотделимости формы от содержания?». Нам, однако, думается, что особых причин для беспокойства из факта высказывания талантливым представителем новейшей театральной культуры вышеприведенных положений не имеется налицо. Принимая тематику не в ее «самостоятельном», «самоцельном» значении, как это делают некоторые сценические деятели, совмещающие с ней «реакционную сущность» мировоззрения, и призывая одновременно к отысканию «новой революционной формы», Мейерхольд, нужно думать, мыслит именно только о гармоническом единстве формы и содержания, о художественно-полноценном оформлении социального, — и уклоном в эстетизм со стороны Мейерхольда эти высказывания, конечно, не нужно считать, как, видимо, склонен в своем естественном беспокойстве признать их ленинградский критик.

Но этот «уклон», если бы он был, мы по принятой выше схеме и могли бы принять как выражение той «болезни», которой больны некоторые группы современных художников. На приведенном примере с докладом Мейерхольда и возникающими спорами вокруг него, нам кажется, яснее всего определяется наша метафора о «больном» писателе.

Если для нас в анализе художественного произведения считается установленным исходным моментом момент органической слитности и единства формы и содержания, где форма есть выражение известного поэтического содержания произведения, его идеи, — то отклонения от творческой нормы и гармонии, те «извращения» и «уклоны» от этой нормы, о которых мы говорили выше, пойдут в двух основных направлениях, характеризуемых разрывом «двуединой ипостаси» — разрывом неотделимых моментов формы и содержания, отрывом первой от второй, грубым механическим нарушением внутренней органической слитности, спаянности составных элементов, т. е. или в исключительном преобладании формы над тематическим и идеологическим содержанием или в примате содержания над формой. И те и другие «уклоны» от единого гармонического творческого процесса являются в пределах принятой нами

нормы выражением творческой «болезни» писателя, и об этих «болезнях» нам и нужно говорить, если мы хотим оздоровить литературу, придать ее голосу то действенное и длительное глубокое значение могучего общественного фактора, на которое она вправе рассчитывать.

Остановлюсь здесь в первую очередь на одном из этих «уклонов» — «правом»,—решительная борьба с которым является необходимостью литературно-общественного дня.

---

У М. Шагинян шла речь о старом писателе — эстете эпохи предреволюционной, вошедшем в революцию и ощутившем «окончание того идейного цикла», который его питал. Это был писатель «рафинированной интеллигенции», наслаждавшейся «цветением большой эпохи, земля для которой была давно вспахана, унавожена, взлелеяна», — «баловавшейся» духовным интернационализмом Анри де Ренье, Реми де Гурмона, Рихарда Демеля и др. Естественно, что революции эта «рафинированность» эстетского искусства, эта «тонкость», «игра в кружево», проблемы «декаданса» оказались «ни на чорта не нужны». Писатель-символист, хотя он и находился как будто в оппозиции к «буржуа» и мечтал об уничтожении «мещанства» (потому-то Шагинян твердо считает его и по сию пору левым и передовым элементом дореволюционной литературы, а «бытописателей»-реалистов считает «консервативным элементом в искусстве», — своеобразная абберация эстетизма!), — этот писатель, в сущности, был, как это в свое время показала боровшаяся с ним марксистская критика в сборниках «Литературный распад», порождением самой буржуазии; Плеханов остро отметил эту черту разлада так называемых романтиков, западных «декадентов» и парнасцев с окружающим их буржуазным обществом, в разладе этом не было, однако, «ничего опасного» для буржуазных общественных отношений. Они ничего не имели против этих отношений по существу, но их утонченные души возмущали «грязь, скука и пошлость буржуазного существования» в ту пору развития буржуазии, когда ее жизнь уже не согревалась более огнем освободительной борьбы». Такому «эпатированию» буржуазии (однозначаще было и выступление Маринетти и европейских футуристов) грош была цена в социальном смысле. Русскому декадентству, в большой степени подражательному, не органическому (именно ввиду экономической отсталости России), конечно, его отрицание «мещанства» далось легче, — оно было поверхностнее, случайнее, менее обусловлено, питалось (как Шагинян сама же отмечает) эстетическим богатством Европы. О «простом заимствовании декадентства с Запада», как известно, говорил и Плеханов. Шагинян сама отмечает «богемную, хаотическую деклассированность нашего декадентства», его «случайность», — многие «здоровые мужики» (как Чехов называл декадентов) усвоили себе декадентское мировоззрение, просто «попав в полосу торжествующего декаданса и заразившись модой».

Естественна была растерянность этого российского эстета, привыкшего к «оформлению через символ», к «просвечиванию вещей», к «утончению декаданса», — и вдруг очутившегося в новых условиях измененных революцией взаимоотношений, нового содержания жизни. Ему оставалось «ковырять землю картонной лопатой»... И только сейчас Шагинян осознала безыдейную пустоту этого искусства, одним из участников которого она сама была в свое время, — лишь сейчас она поняла, что не должно быть бесцельного бездейственного искусства, что великая русская литература «всегда имела цели вполне конкретные, боролась за реальные вещи, частью звала к революции, частью шла против нее, учила, действовала, проповедывала» и что беспочвенному эстетизму, очутившемуся

перед лицом наших дней, необходимо найти тоже «действенные слова», если он хочет выздороветь. Об этих «целях» говорил очень хорошо Чехов. Перед больным писателем «нет цели», нет «проекции будущего»; писательница в «тревоге» раскрывает его идеологию: вокруг нас жизнь поставила «новую породу людей», они совершили «социальный переворот», они — «победители»; мы же ведем себя «Робинзонами на необитаемом острове, мы не сделали ни одного шагу в современность», мы даже не знаем до сих пор, что такое «марксизм». Производя правильный анализ явления, Шагинян, однако, от имени этих писателей протестует против слишком пылких «напостовце », рекомендующих писателю или «преобразиться в 24 часа или удалиться в 24 часа»; она честно ищет выхода иного, не хочет быть «прекрасным Иосифом», боящимся соблазна, хочет постепенно «чужую надстройку приобщить и сделать своей, полюбив ее и исповедуя ее».

Писатель-эстет, из крайностей своего уединенного эстетства, приглашаемый М. Шагинян к честной «попутнической» службе новому обществу, был «больным» в сущности и до революции; таким его считала в свое время передовая общественность, и не он определял литературу вчерашнего дня в ее общественных течениях. Но ощущение растерянности писателя, которое так наболело у Шагинян, характерно и не для одного писателя-декадента, и вот почему мы остановились на брошюре Шагинян, вышедшей в прошлом году («Писатель болен», 1927 г.). В широком разрезе здесь идет речь о непрекращающейся за все эти годы «болезни» писателя-попутчика вообще — не одного только «эстета». Вопрос здесь стоит, если его отвлечь от узких рамок «декадентства» и символизма, — в широкой плоскости задач художественного творчества вообще. Вокруг этих вопросов и подымается «тревога» писательская, которая наблюдается в последнее время.

## II.

Писатель наш на переломе, в видимом творческом разброде, в видимых каких-то, им самим еще недостаточно осознанных «уклонах». Я думаю, что это в известной мере должно относиться и к писателю пролетарскому, не только к попутчику, поскольку и те и другие честно подходят к своему делу, «ремеслу», как сказали бы формалисты, мучимы творческим смятением художников. Эти творческие сомнения стягчаются идейными у попутчика — в таком смысле по крайней мере звучат его высказывания — он ощущает себя часто между Сциллой и Харибдой — Сциллой искусства и Харибдой общественности, и ему трудно найти определяющую гармоническую и здоровую линию своего творческого пути.

Те уверенные требования прямолинейной, «утилитарной» дидактики, которые предъявляла писателю современность, перестали удовлетворять художественным «исканиям» и растущего нового писателя, и старого писателя-попутчика, и он не находит часто иного выхода, как удариться в противоположную, реакционную крайность самодовлеющего искусства, «аполитичного» и асоциального. Таков так называемый «формализм», особенно в первые годы — «опоязовские» — его возникновения (в лице Шкловского и др., правда, пытающихся ныне перейти на рельсы формально-социологического метода), отрывавший явления искусства, его тематику и его методологию от социальных корней, объяснявший развитие и применение известных приемов искусства и его жанров исключительно внутренней обусловленностью материала. Искусство по этой теории всегда является только творчеством самодовлеющих «чистых» форм, форма — сущность поэзии, слово — самоценное («самовитое») достижение искусства. «Искусство всегда было вольно от жизни,

витое» достижение искусства. «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города» — заявлял в свое время Шкловский, а Р. Якобсон обосновывал «безыдейность» такого «вольного» искусства следующим образом: «инкриминировать поэту идеи, чувствования так же абсурдно, как поведение средневековой публики, избивавшей актера, игравшего Иуду»...

И когда это писалось и говорилось, когда писатель в эпоху революции находил свое состояние духа пригодным, чтобы создавать «сладостные легенды» какой-нибудь изощренной эротики, выпускаемой в ограниченном количестве «нумерованных» экземпляров для «тонких» эстетов-любителей (А. Эфрос, «Эротические сонеты»), или когда художник воскрешал эпоху, столь любимую избалованным читателем Анри де Ренье, эпоху «маркиз» и самодовлеющей «любви» (художественное издание антологии XVIII века «Le livre de la marquise» с эротическими рисунками А. Сомова, помеченное Петербургом 1918 г.), — то это все продолжалась только линия того «больного» эстетизмом писателя эпохи общественной реакции, о котором пишет Шагинян, писателя «рафинированной интеллигенции», «проблем декаданса», «игры в кружево»... Эти литературные и художественные настроения тлели, не покончили своего существования с революцией, хотя они ей и оказались «ни на чорта не нужны». Но они только тлели... «Больной» писатель-эстет казался агонизирующим.

Сейчас в наши дни одновременно с нарастанием «правых» настроений необуржуазного толка в общественной жизни — как будто опять замечается оживление этих тенденций и что симптоматичнее всего — не только в среде уцелевших символистов и «эстетов» старой формации. Вот статьи О. Мандельштама «О поэзии», — иного и нельзя было ожидать от него. — утверждающие самоцельность литературы, примат слова; его же проза — «Египетская марка», в которой утверждена тончайшая и изысканнейшая культура слова, но — при предельной бессюжетности этой прозы — приведшая эту культуру к самодовлеющему принципу, к полной бесцельности эстетизма. «Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку, от скуки, от неуменья и как бы во сне..: На полях черновиков возникают арабески и живут своей с а м о с т о я т е л ь н о й, прелестной и коварной жизнью». [1])

Основная линия фабулы исчезает. Получается какой-то предельный «петербургский инфлуэнцный бред». Я уже не говорю о более мелких, но характерных проявлениях эстетства, на которые указывалось уже в критике, например о романе А. Лугина «Джиаде или трагические похождения индивидуалиста» с воскрешением реакционной мистики и декадентски-религиозных утонченностей, ангеологии Фомы Аквинского, Сведенборга, розановщины и пр. — «внемлите величественному и, если можно так выразиться, благовествующему реву Апокалипсиса», — «романе ни о чем», как гласит его подзаголовок, — вот ясная формула этого разрыва единства формы и содержания, формула резкого отбрасывания «содержания», поэтической идеи во имя самоограниченности эстетской «извращенной» формы. Или вот «Козлиная песнь» К. Вагинова, где читатель предупрежден уже самим предисловием о специфическом тлене сологубовских приемов, о литературной «некрофилии»: оказывается, автор — «гробовщик», любит постукивать в «гробики», возиться с «покойничками» — «и не думайте, что с ц е л ь ю какой-нибудь гробик он изготовляет, —

[1]) Насколько значительнее его же новеллы-очерки «Шум времени», в которых есть определенное содержание, сюжетная связь и идеи, и где намечается очень тонкими, высоко-художественными чертами социально-психологический образ 90-х и 900 годов минувшей эпохи... Но стиль «Египетской марки» — более характерен для писателя-эстета и для всей этой эстетской литературы наших дней.

просто страсть у него такая. Поведет носиком — трупом пахнет,» и т. д. Милое бесцельное «эстетское» занятие...

Самая манера письма Вазикова с этими «междусловиями», интермедиями, лирическими туманностями, утонченностями, эстетскими изощренностями, с его иронической усмешечкой, прищуренной философией «созерцателя» жизни, мистикой, эротикой, пряной символикой — все говорит о том, что перед нами попытки воскрешения сологубовщины. А тематика? Герои романа — букет кокаинистов, сумасшедших поэтов, эротоманов, грязных циников, жизнь которых начинается в ночные часы. Одни собирают порнографические коллекции, другие развращают девушек, третьи разводят высокую эстетическую и «гуманистическую» философию и пишут соответствующие стихи. Девушки — совсем как в «Мелком бесе» и «Навьих чарах» — ведут занимательные разговоры о «девственниках», ходят на вечеринки, где их спаивают, насилуют и передают для того же дела своим товарищам. Один из насильников цинично хвастает тем, что он любит «откупоривать» девушек, другой — своим уменьем ловкого приспособления к действительности: «Хвалю пролетарскую литературу — пишу, что ее расцвет не только будет, но уже есть. За это деньги платят. Я теперь со всей пролетарской литературой на «ты», присяжным критиком считаюсь». Зато другие не считают нужным и приспособляться: «Мне нечего сказать современности...» — откровенно декларирует «неизвестный поэт». В годы 1918—1920 он сказал себе: «Пусть бегут все, пусть смерть, но он здесь останется, и высокий храм Аполлона сохранит». Поэзия для него — «особое» занятие: «возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть... из-под колпачков слов новый смысл вытягивать...» И лозунг их: «За утонченное искусство!..»

Но эти эстетские попытки подхода к жизни и игнорирования современности наблюдаются и в иных общественных группах, в иной писательской среде — реалистической. Возрождение мещанских настроений проявляется и в отходе к чисто-эстетической разработке лирических «личных» тем, таких, например, поэтов, как Иван Молчанов, Александр Жаров. Известное общественно-симптоматическое явление представляет нашумевшее, хоть и бездарное, стихотворение последнего, напечатанное в «Журнале для всех» (с тиражем около 100.000 экземпляров, — т. е. для весьма широкого читателя), — в том самом журнале, который устами своего критика недавно еще только требовал борьбы с «необуржуазной» идеологией и спутниками ее: «увлечением физиологией, привнесением в нашу литературу всякого непривлекательного мусора» (как будто есть «привлекательный» мусор!)... Темой стихотворения Жарова служат весьма пошлые и с поэтической стороны (не только с идеологической) восторги пролетарского поэта перед образом Марии Магдалины в Казанском соборе. Не то плохо, что художественное полотно с архаическим для современности сюжетом останавливает на себе внимание поэта: искусство всегда и везде ценно. Плохо то мироощущение, с которым подходит поэт к образу искусства. Он его опошляет, снижает в самых натуралистических комбинациях. Это тот культ голой «бабы», который внушал такое отвращение Гл. Успенскому в Лувре перед бесчисленными Венерами, «сияющими до чресел наготой», и который так чужд был «социально-психологическому комплексу» его чистых переживаний перед Венерой Милосской. Жаров пишет скверными виршами дешевых цыганских романсов:

К тебе я полон нежной страсти,
Любовью дорогой,
Но эта страсть моя невинна,
Любовь моя чиста.

Хороши «невинность» и «чистота», когда поэт на протяжении всего стихотворения воспевает

Лицо святой блудницы,
Любовницы моей.

и не одно лицо, а «гибкий стан» и «нежную святую девическую грудь», которую «увидеть и мельком» довольно, чтобы «презирать» потом «ложь пустую» (какую? чего?), — и «точеные колени» этой самой «святой блудницы» и, наконец, «божественные бедра» ее, лицезрения которых достаточно поэту для того, чтобы «остаться бодрым, наверно, долгий срок». Так вот где источник «бодрости» современного поэта, мечтающего о «свободной» любви, о попирании «гнилого закона», об экстатической «святой» эротике типа хлыстовских радений исступленных «братьев и сестер во Христе». В сущности, как видит читатель, и эротический эстетизм весьма «заинтересованно», «служебно» смотрит на искусство.

Эстетизм идет рядом с аполитизмом. Венчает в художественном смысле все эти настроения образ так чутко отмеченного Фединым аполитического героя, деятеля искусства Карева в романе «Братья», о котором мы достаточно подробно говорили в свое время и о чем позже говорил в таком же разрезе в своем докладе П. Керженцев. Мы имеем налицо тенденцию возрождения былой теории «искусства для искусства», реакционнейшей теории общественно-реакционных эпох, теории ухода искусства в мир «сладостной творимой легенды»...

## III.

В терминологическом использовании этой старой сологубовской формулы неправ, между прочим, Д. Горбов, подымающий в своем докладе «В поисках Галатеи» значительный вопрос, которым, как мы видим, болеет современный писатель, — о пределах искусства и об отношении его к действительности. Старая затрепанная сологубовская формула идеалистической эстетики, ассоциировавшаяся вдобавок в нашем представлении с романом, который явился развитием ее, романом извращенной эротики, не может быть наполнена новым здоровым содержанием, не должна быть положена «в основу художественного воспитания нашей пролетарской литературы», как, б. м. демонстративно-педагогически, предлагает критик. В том-то и дело, что «легенда» эстетизма не имеет никакого подобия с жизненной правдой, что она ни в коем случае не художественно-правдоподобна. В мифах древности, народных «легендах» исследователь может найти отголоски исторического мировоззрения эпохи, там — в условиях элементарного творчества первобытного коллективного человека — отражался преломленный через его космическое мировоззрение уголок жизни. «Легенда» эстетизма характеризуется именно сугубой, принципиальной оторванностью от жизни. Когда Сологуб говорит, что он «берет кусок жизни грубой и бедной и творит из нее сладостную легенду, ибо он — «поэт», то это надо понимать совсем иначе: «поэт», в идеалистическом толковании Сологуба — человек, творящий из «ничего», оторванный от всяких социальных корней, занятый «игрой» своей для «игры», ибо жизнь для его экспериментов с его высот кажется ему слишком недостойной, убогой и «бедной». Никакой «грубой и бедной» жизни не берет Сологуб, не будем обольщаться; прав был В. Воровский, когда, проанализировав «суздальскую мазню» Сологуба, выдаваемую автором за «социал-демократический» роман, приходил к заключению, что было бы правильнее написать: «беру кусок бумаги, гладкой и белой, и пишу на ней, что взбредет в голову», т. е. осуществляю

эту самую эстетскую «игру в кружево», о которой говорит Шагинян. Этот ли реакционный метод творчества стоит усваивать молодому писателю наших дней, этот ли идеал «самодовлеющего искусства»?

Конечно, творчество — акт специфический, особого «вожделения», особого «пламени», который «по жилам» художника пробегает. Конечно, мастерство художника имеет свои законы; «нетоспливый, постепенный резец с богини сокровенной кору снимает за корой» — покуда не настанет миг блаженный завершения и

> ...с предугаданной, с желанной
> Покров последний не падет.

Но эти законы творчества тоже обусловлены организующим их «социально-психологическим комплексом», всем «строем переживаний» определенной общественной группы в определенный момент ее развития, как бы ни открещивался от какой-либо обусловленности замкнутый в своем творческом мире, в своей тематической или интонационно-синтаксической системе «мудрец»-художник.

> Глубокий взор вперив на камень,
> Художник Нимфу в нем прозрел, —

именно «Нимфу», а не, скажем, работницу какую-либо или более близкого эпохе Баратынского крепостного мужика. Для Баратынского, чью эстетическую исповедь мы сейчас цитировали, весь смысл творчества сводится к «победе неги», к «ответному взору» Галатеи, к оживлению в камне мертвом отблесков живой «страсти». Конечно, холодный материал может и должен в искусстве ожить только отраженным блеском «живых» страстей, преображенных страстей. Искусство есть преображение жизни. Но, вообще говоря, холодная «Галатея», белая, как «молоко», пена морская Нереиды — образ, символизирующий холодное парнасское «эстетское» искусство. Этот образ, как и образ сологубовской «легенды»,— неудачный образ для социально-эстетического искусства. «Галатея» Баратынского — тоже неудачная терминологически формула, которая может повести только к затемнению важного вопроса, ибо она — типичная формула идеалистической эстетики самодовлеющей формы. Белинский, восхищаясь исключительным поэтическим даром Баратынского, восставал горячо против аналогично выраженных поэтом в другом стихотворении (под характерным названием «Последний поэт») воззрений его на поэзию, как на «младенческие сны», исчезнувшие «при свете просвещения» нашего железного века, «отчетливо» и «бесстыдно» занятого «насущным и полезным».

> Последний сын аттической природы —
> Возник Поэт: идет он и поет.

Это «возникновение» поэта вовсе не так просто, как оно кажется на первый взгляд: «идет он и поет»...

## IV.

Во всяком случае самый факт воскрешения в наши дни споров вокруг этих сданных, казалось бы, в глубокий архив истории образов весьма симптоматичен. Общественный смысл его, как известно, превосходно вскрыл в свое время Плеханов в анализе, не потерявшем своей глубины и в наши дни: «если художники данной страны в данное время чуждаются «житейского волнения и битв», а в другое время, наоборот, жадно стре-

мятся и к битвам и к неизбежно связанному с ними волнению, то это происходит не оттого, что кто-то посторонний предписывает им различные обязанности («должны») в различные эпохи, а оттого, что при одних общественных условиях ими овладевает одно настроение, а при других—другое».

Воскрешение поверженных, казалось бы, во прах тенденций аполитической самодовлеющей эстетики есть выражение известных соотношений писателя с бытием, известных общественных явлений. На примере Пушкина, из которого Николай I и Бенкендорф «хотели сделать певца существующего порядка вещей», поставив себе задачей «направить его прежде буйную музу на путь официальной нравственности», Плеханов показывает, как «прежде буйный» поэт естественно должен был проникнуться «отвращением» ко всей той «выгоде», которую может принести искусство, и воскликнуть по адресу советников и покровителей:

Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас?..

Пушкин, — писал я уже однажды, — жил в обществе равнодушно-чужом, одиночка будущего, без опоры в общественном строе, без «разделения». И. Беспалов в «Революции и культуре» считает такое мое утверждение почему-то воскрешением народнической легенды об одиночках, стоящих над классом: «без разделения». Конечно, это очевидная нелепость. Плеханов как раз посвятил прекрасные страницы именно этому одиночеству Пушкина, «чуткого и умного человека», которому «тяжело было жить в таком обществе» среди «пошлости» окружающих его, — обществе, где «кругом глушь, молчание, все было безответно, бесчеловечно, безнадежно и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко». Пушкин страдал, — «одиночка», без опоры в своем классе, который он перерос; в такие периоды художественное творчество «помогает художнику подняться выше окуружающей среды».

Пушкину вполне естественно было сделаться, по крайней мере теоретически, сторонником теории «искусства для искусства», той известной формулы своего поэтического «credo», которую сейчас любопытно прочитать вдумчиво, осмысленно, не «автоматически», как мы всегда читаем знакомые нам с школьных лет строки, и в которой заложено, несмотря на весь внешний эстетизм ее, зерно углубленного понимания процессов художественного творчества.

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв, —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Или другой формулы самодовлеющей эстетики: «Ты царь: живи один: дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». В действительности и дорога у поэта и ум его, его творческая психика не свободны, а обусловлены той общественной группой, переживаниями которой он живет. Ему только кажутся они «свободными», и в этих пределах относительной «свободы» творчества, поэт, конечно, должен повиноваться «самому себе», как «высшему суду», своему «влечению», своему «подвигу благородному», которым является всякое «бескорыстное» творчество, не находящее отклика в обществе. Формулу «социального заказа» необходимо понимать не по-лефовски, вульгарно и примитивно, — а в ее глубоком марксистском смысле классовой обусловленности, социальной направленности.

И вот почему мы должны характеризовать, как социально «правый», этот отмеченный нами современный уклон некоторых групп в самодовлеющий эстетизм, — это самое, как будто лишенное социальных и политических

установок «искусство для искусства» Никиты Карева. Искусство, выражая через психику своего творца известную психику общественных классов, выполняет тем самым незримый «социальный заказ», незримую социальную волю, хотя бы оно и заявляло во всеуслышание — и субъективно вполне искренно и добросовестно — о своей полной «аполитичности» и старательно выкорчевывало идеалы всякой политики из своего творчества: уже самым этим фактом отрицания социальной природы искусства оно в высшей степени показательно. Писатель, даже изолирующий себя от общественности в «башне» [1]) высокого «усовершенствования плодов любимых дум», — есть явление (отрицательное!) социального порядка, как и эти самые его «думы». Известный вывод Плеханова и здесь путеводная нить анализа, вскрывающего существо вопроса: «Склонность художников к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой, «разлада с господствующим порядком», который они не принимают, но который они бессильны изменить, — выражение отказа от борьбы с средой, ухода от нее и самозамыкания. Рецидив тенденций самодовлеющей эстетики и аполитичности в искусстве наших дней есть выражение этого разлада части наших «попутчиков» с действительностью, неприятия ее, замыкания и ухода от нее: это та-же — только негативная — «политичность», политика на другой лад — идеология необуржуазного человека, того правого мещанина наших дней, с которым жизнь призывает к борьбе. «Нам нет дела до политики, мы не управляем, мы отставлены аот управления, но мы ведь и при каком-угодно режиме были бы з няты или науками или искусствами»... — говорит откровенно один из героев «Козлиной песни». И «формализм», конечно, тоже имел свой скрытый социальный смысл: «Мы хотели о б ш у т и т ь современность!» выражает его один из героев романа В. Каверина о «формалистах» «Скандалисты, или вечера на Васильевском острове» [2]). Естественно, почему эта эстетская «болезнь» писателя прежде всего обращает на себя наше внимание, требует какого-то разрешения. Уйти от «социального» писателю безнаказанно нельзя, — это означает уйти в антисоциальное, в «реакцию»: перед писателем угроза творческих мук, разрывов и катастроф творческого вырождения. Нельзя забывать того, что «социальное» есть «мера нашего времени и ритм будущего» (Гаузенштейн), определяющие наше мышление. Писатель, пытающийся очутиться вне этой «меры» нашего времени и вне этого «ритма», обрекает себя на творчество, питающееся самим собой («из ничего»), т. е. на бесплодие творческое, на умирание. Писатель должен быть современным не потому, что кто-то «приказывает» или это выгодно: «Барские замашки в наше время бросить надо... Не хотите постоять за современность, не хотите деньги получать...» — цинически укоряет своих товарищей один из приспособившихся в «пролетарские критики» гнусов «Козлиной песни»... — но потому, что современность — субстрат творчества, тот «грубый кусок жизни», из которого художник лепит искусство по образу и подобию этой жизни. Писатель должен перестать быть «Робинзоном на необитаемом острове», если он хочет жить в творчестве.

---

[1]) Эту старую «башню» символистов (Бальмонта, Брюсова и др.) воскрешает ныне, и герой К. Вагинова: «Мы все находимся в высокой башне; мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока». «Оттуда» они пытаются «созерцать и понять эпоху».

[2]) Не является ли аналогичной же попыткой «обшутить» современность и издание молодым поэтом И. Сельвинским своих «гимназических стихов» IV, V-го, VI и VIII классов» под самоуважительным заголовком «Ранний Сельвинский»,— издание, предупредительно осуществленное Гиз'ом в дни бумажного кризиса...

## V.

Но процессы художественного творчества знают опасности и других «уклонов», обратно-полярных уклону в «эстетизм». Революция должна была вызвать к жизни нового писателя. В русской литературе, как и в жизни политической, пришел на смену старому писателю писатель новых классов, пролетарский писатель. Выражение великих общественных сдвигов эпохи — пролетарская литература, насыщенная идеологическим содержанием наших дней, стоит сейчас перед важнейшим вопросом своего литературного бытия, своей литературной действенности: это вопрос о художественном оформлении нового социального содержания, о действительно поэтическом выполнении своего «социального заказа», своего призвания, вопрос о литературном «монизме», о том слиянии формы с содержанием в одно неразрывное гармоническое целое искусства, «воздействующего средствами, одному ему присущими», — о котором говорил, как мы знаем, Мейерхольд в предвидении новых театральных «боев». Эти бои должны быть и будут и на литературном фронте. Они будут вестись под лозунгом борьбы за качество. Недаром вопросам мастерства, художественного метода, стилевых принципов, т. е. вообще «эстетики» литературного дела, было так много уделено внимания на последнем пленуме пролетарских писателей. У нас есть отдельные выдающиеся достижения пролетарской художественной литературы (Фадеев, например), но это явление — не общее, и это говорит о необходимости пригвоздить внимание молодых писателей именно к этому циклу вопросов.

Задачи построения художественной пролетарской литературы, ее о х у д о ж е с т в л е н и я — вот задачи литературного дня.

На этом пути — самом тяжелом и решающем для художника — пути творческом — ждет писателя много литературных опасностей. Об этих опасностях — совсем иного порядка, чем выше охарактеризованные, — о роли публицистики в художественном творчестве, о специфических особенностях искусства, — наконец, о формуле художественного построения «политического (в широком смысле) искусства», которую выдвинул в своей эстетике Плеханов, — об этих вопросах насущного литературного дня необходимо поговорить особо.

---

# В двух планах.

(О творчестве Пушкина.)

**В. Вересаев.**

I.

В «Невском альманахе» на 1829 г. было помещено несколько картинок к шумевшему в то время «Евгению Онегину». Одна картинка изображала Татьяну за письмом к Онегину. Дебелая девица с лицом коровницы сидит на стуле, в одной кисейно-прозрачной рубашке, и держит в руке кусок бумаги. Пушкин написал на эту картинку эпиграмму. Непечатать ее целиком не разрешила бы самая снисходительная цензура. Вот она с соответственными пропусками:

Пупок чернеет сквозь рубашку,
Наружу ......, — милый вид!
Татьяна мнет в руке бумажку,
Зане — живот у ней болит.
Она ....... поутру встала
При бледных месяца лучах
И на ........ изорвала,
Конечно, «Невский альманах».

Я не представляю себе человека, который бы рассмеялся, прочитав эту заборную эпиграмму. Как-никак, — тут задевается не только плохая картинка, но и сама Татьяна, — один из самых прекрасных и целомудренных образов в нашей литературе. Это совсем то же, что для верующего, например, читать эпиграмму, где, по поводу плохого образа богоматери, в вульгарно-цинических выражениях описывалось бы тело и разные интимные отправления богоматери.

Читаешь эту эпиграмму на Татьяну, и в негодовании хочется воскликнуть:

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля;
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародней бесчестит Алигьери!

Но сейчас же приходит в голову: да ведь эпиграмму-то написал сам Пушкин, — создатель образа Татьяны! Что же это? Рафаэль с озорною улыбкою пририсовывает парикмахерские усы к прекраснейшей из своих мадонн, Данте на мотив похабной уличной песенки напевает суровые терцины вступления к «Аду»! И недоумевающая неловкость овладевает душой.

А потом еще соображаешь вот что: по какому случаю говорится у Пушкина о Рафаэле, Данте и презренных фиглярах? Вы помните? Моцарт шел к Сальери и, проходя мимо трактира, услышал, как слепой скрипач

разыгрывает арию Моцарта. Потащил с собою старика к Сальери и приказывает ему сыграть что-нибудь из Моцарта. Старик играет, Моцарт хохочет. Сальери с негодованием спрашивает: «И ты смеяться можешь?» А Моцарт ему: «Ах, Сальери! Ужель и сам ты не смеешься?» Вот тут-то Сальери и говорит о негодных малярах и фиглярах презренных. Сейчас же вслед за этим Моцарт играет Сальери недавно сочиненную им пьесу. Сальери слушает, пораженный.

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя!

Это, значит, не случайно было у Пушкина, он это рисует в Моцарте, как нечто и для того характерное. Художник — «недостоин сам себя», недостоин тех высоких произведений, которые он создает. В жизни он — один, в творчестве — совсем другой. Пушкин настойчиво и упорно отмечает эту характерную двойственность, отличающую поэта.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол...

И так далее. В «Египетских ночах» Чарский посещает в трактирном номере итальянца-импровизатора. Сейчас этот итальянец — вдохновенный поэт с гордо поднятою головою, изумляющий и трогающий. И сейчас же вслед за этим — мелкий, жадный торгаш, вызывающий отвращение своею дикою жадностью. И эпиграф к этой главе: «Я царь, я раб, я червь, я бог».

Конечно, так уверенно утверждая это положение о двух ипостасях — поэта — жизненной и художественной, — Пушкин черпал его из собственного опыта. Действительно, его изучая, мы, как от очков с разными стеклами, все время видим какой-то двоящийся образ, от которого режет в глазах и ломит в висках. Как слить в одно этот двойной образ?

## II.

Уот Уитмен говорит:

«В твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты зол или пошл, это не укроется ни от кого. Если ты любишь, чтоб во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или низменно смотришь на женщину, это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь».

В общем это, несомненно, верно, — и верно, конечно, обо всяком художнике не только о художнике слова. Его характер, темперамент, вся его внутренняя сущность полностью отражаются в его художественном творчестве. Папа Лев X, например, говорил об одном крупном художнике Возрождения: «я боюсь его, он ужасен, он нагоняет на людей страх, его совершенно нельзя выдержать!» Нам совсем не нужно знать, каков был Микель-Анджело в жизни, — на основании одних его произведений мы с полною уверенностью говорим, что Лев X имеет в виду Микель-Анджело.

Достоевский в одном письме пишет о современном ему беллетристе: «джентльмен с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого бог, будто на-смех, одарил блестящим талантом». Не приходится гадать, кого тут имеет в виду Достоевский, не нужно знать ничьей биографии, чтобы, на основании одних лишь художественных произведений писателя, сказать с тою же уверенностью: речь идет, конечно, о Гончарове. Непосредственно из их произведений перед нами живьем встают и мягкий, безвольный, фатоватый Тургенев, и резонерствующий, полный черноземной силищи Лев Толстой, и бледноликий Достоевский с горящими глазами, с распадающейся на части душою.

И совсем слова Уитмена неприложимы к Пушкину. Уже современники Пушкина отмечали это странное отсутствие его личности в художественных его произведениях. Гоголь писал в «Выборных местах из переписки с друзьями» (XXXI): «При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личности его самого... Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди, улови его характер как человека?»

И правда. Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы об его личности самое неправильное и фантастическое представление.

В поэзии Пушкина: какая гармоническая уравновешенность, какое отсутствие всякой бурности и страстности, какая просветленная, величавая «атараксия»!

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей.

Если бы мы заранее не знали жизни Пушкина, мы были бы изумлены, узнав, что в жизни это был человек, совершенно лишенный способности стать выше страсти, что страсти крутили и трепали его душу, как вихрь — легкую соломинку. Непосредственного отражения этого бурного кипения страстей мы нигде не находим в поэзии Пушкина.

Последние полгода его жизни. Пушкин захлебывается в волнах непрерывного бешенства, злобы, ревности, отчаяния. Никаких не видно выходов, зверь затравлен, и впереди только одно — замаскированное самоубийство. И никакого отражения этого состояния мы не находим в поэзии Пушкина того времени. «Молитва», «Когда за городом задумчив я брожу», «Памятник», «На статуи», «19 октября 1836 г.», «Пора, мой друг, пора» — все спокойные, величавые произведения, полные душевной тишины или светлой печали. Можно себе представить, как бы прорвалось душевное состояние, подобное пушкинскому, у поэта однопланного, у которого поэзия является непосредственным отражением его душевных переживаний, — у Архилоха, например, или Байрона! Друг обманул Архилоха, совершил по отношению к нему какое-то предательство. И вот как Архилох:

Пускай близ Салмидесса ночью темною
Взяли б фракийцы его
Чубатые, — у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя!
Пусть взяли бы его, — закоченевшего,
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, ляскал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал, —
Он, мой товарищ былой!

У Пушкина прямо поражает бьющее в глаза несоответствие между его жизненными переживаниями и отражениями их в его поэзии. Какие настроения владели поэтом в такую-то эпоху его жизни? Казалось бы, чего проще? Изучить поэтические его произведения за эту эпоху, — и мы будем иметь полную картину его жизненных переживаний. Таким простым путем (к сожалению, и до сих пор многие пушкинисты ходят этим путем) мы никогда не придем к познанию подлинных переживаний и настроений Пушкина в жизни. Внимательные исследователи и наблюдатели постоянно отмечают это несовпадение жизненных и поэтических настроений Пушкина, эту его «двухпланность».

П. В. Анненков пишет о бешеном кишиневском периоде жизни Пушкина: «Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданным им с 1821 по 1823 г., то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов, «Sturm und Drang», какой немногие изживали на веку своем» [1]. Н. М. Смирнов сообщает о годах ссыльной жизни Пушкина в селе Михайловском: «В эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных произведений, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния» [2].

Или вот — осень 1830 г. Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в нижегородскую свою деревню Болдино для устройства имущественных своих дел. Думал пробыть месяц, — пробыл три; разразилась холера, карантины отрезали его от Москвы. Письма от невесты приходят неправильно, «дражайший» папаша сообщает сплетни, что она выходит за другого. Пушкин волнуется, мечется, три раза пытается прорваться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной производительности. И во всех многочисленных этих произведениях — никакого отражения тех чувств, которые так напряженно и ярко кипят в его письмах того времени! Как будто и нет никакой Гончаровой, нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, ни порываний. Мало того. Перед Пушкиным неотступно стоит обольстительный призрак какой-то давно умершей его возлюбленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом и воспевает ее в целом ряде стихотворений («Заклинание», «Для берегов отчизны»).

В своей статье «Об автобиографичности Пушкина» [3]) я привел много фактов, показывающих, что в ж и з н и нередко данное лицо или событие вызывали у Пушкина впечатление, диаметрально-противоположное тому, какое он отображал позднее в поэтической переработке. Отсылая интересующегося читателя к указанной статье, приведу здесь только два-три примера.

В письме к Дельвигу, описывая свое посещение Бахчисарайского фонтана, Пушкин рассказывает, что он приехал в Бахчисарай больной лихорадкою, испытал большую досаду при виде небрежения, в котором истлевает ханский дворец, а прославленный фонтан описывает так: «вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода». В своем же стихотворении к фонтану Бахчисарайского дворца Пушкин описывает «немолчный говор» этого фонтана, сообщает, что его серебряная пыль кропила его «росою хладной» и что он внимал его журчанию с большой отрадой.

В июле 1825 г. Пушкин виделся в Тригорском с Анной Петровной Керн. Это была веселая барынька не весьма строгих нравов. И до этой

[1]) «Пушкин в Александровскую эпоху», 212.
[2]) «Русский архив», 1882, II, 231.
[3]) «Печать и революция», 1925, кн. V—VI.

встречи, в письмах к ее сожителю Родзянке, Пушкин отзывался о г-же Керн весьма игриво, и после встречи писал ей письма самого домогательно-страстного характера и в письмах к друзьям называл ее «вавилонскою блудницею». А во время этой встречи Пушкин вручил ей знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье», где эту самую «вавилонскую блудницу» восторженно величал «гением чистой красоты».

В сентябре 1835 г. Пушкин писал жене из Михайловского: «Около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уж не пляшу». А в стихотворении «Опять на родине» впечатление от этой же молодой поросли — знаменитое приветствование идущей на смену молодой жизни: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!..»

Рядом с «бесстрастием» пушкинской поэзии идет столь же для нее характерная чистота. Имею в виду зрелые его произведения, после «Бахчисарайского фонтана». Ни одной, самой легкой фривольности. В очаровании высокой целомудренности и чистоты стоит перед нами созданный Пушкиным образ Татьяны. Пушкин пишет такие удивительные вещи, как «Когда в объятия мои» и особенно «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем». В них, в сущности, — голое, почти физиологическое описание половых актов. А между тем читаешь — и изумляешься: «какое произошло волшебство, что голая физиология претворилась в такую красоту? Как же должен быть чист человек, сумевший так подойти к такой рискованной теме!

А между тем вот что писал Пушкин своей приятельнице Е. М. Хитрово: «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, — это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Хотите, чтоб я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские» [1]). Тут есть, может быть, некоторое озорное преувеличение. Однако все, знавшие Пушкина, дружно свидетельствуют об исключительном цинизме, отличавшем его отношение к женщинам, — цинизме, поражавшем даже в то достаточно циничное время.

Молодой приятель Пушкина, Алексей Вульф, пишет в своем дневнике: «Молодую красавицу вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля (Пушкина), надо ее воображение занять сладострастными картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, кто им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности»[2]). Это относится к середине двадцатых годов. Весною 1829 г. С. Т. Аксаков писал С. П. Шевыреву: «С неделю назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй — прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что Мицкевич два раза принужден был сказать: «господа! Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!» [3]). А вот рассказ кн. Павла Вяземского, относящийся уже к 1836 г., т. е. последнему году жизни Пушкина; Вяземскому было тогда 16 лет. «В это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол

[1]) Письма Пушкина к Е. М. Хитрово, Ленинград 1927, изд. Академии наук СССР, стр. 139.
[2]) «Пушкин и его современники», XXI–XXII, стр. 141.
[3]) «Русский архив», 1878, II, 50.

и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а итти вперед нагло, без оглядки, чтоб заставить женщин уважать вас»[1]).

И таков Пушкин во всех проявлениях. В жизни — суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до безумия ослепляемый страстью. В поэзии — серьезный, несравненно-мудрый и ослепительно-светлый, — «весь выше мира и страстей».

Это поразительное несоответствие между живою личностью поэта и ее отражением в его творчестве, эта странная двойственность Пушкина отмечалась уже давно и не раз. В 1880 г., во время открытия памятника Пушкину в Москве, Ив. С. Аксаков говорил в своей речи: «Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко-трагическое сочетание двух самых противоположных типов, как человека и как художника: знойный африканский темперамент и чисто-русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавшееся; страстность природы и воздержность колорита в поэзии; самообладание мастера, неизменно-строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, ветреность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни и, в то же время, серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства. Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двойственность (стихотворение: «Пока не требует поэта»). Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих, божественных даров в те минуты, когда сознавал свое «ничтожество»? [2]).

Это все верно. Мне только кажется, что Аксаков ошибается, думая, будто Пушкин трагически переживал разлад между жизнью и поэзией. В дальнейшем изложении мы увидим, что для Пушкина тут не было решительно никакой трагедии. И более прав Владимир Соловьев, говоря так: «Возвращаясь к жизни, Пушкин сейчас же переставал верить в пережитое озарение. Те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такою бессвязностью, такою непроходимою пропастью между поэзией и житейскою практикою... Он с полною ясностью отмечал противоречие, но как-то легко с ним мирился. Резкий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорбляя его нравственного слуха... Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзии, а для самой текущей жизни, для житейской практики, оставались только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом. Такое раздвоение между поэзией, т. е. жизнью, творчески просветленною, и жизнью действительною или практическою иногда бывает поразительно у Пушкина» [3]).

## III.

Насчет одного, кажется, все согласны. — Это насчет удивительной душевной гармоничности и жизнерадостности Пушкина. В. Д. Спасович пишет: «Пушкин был по преимуществу веселый человек, весь — жизнь,

[1]) Собрание сочинений, 546.
[2]) «Русский архив», 1880, II, 478.
[3]) «Судьба Пушкина». Владимир Соловьев, Собр. соч. т. VIII, стр. 34 36, 32.

весь — радость» [1]). Д. Н. Овсянико-Куликовский: «Пушкин — один из самых жизнерадостных поэтов мира», он обладал «природой, неодолимой жизнерадостностью» [2]). Д. С. Мережковский говорит о «необычайной бодрости, ясности его духа, никогда не изменявшей ему жизнерадостности... Пушкин — самый светлый, самый жизнерадостный из новых гениев» [3]). И так дальше без конца.

Нет ничего ошибочнее такого взгляда на Пушкина. Все, знавшие его, отмечают его закатистый, веселый, заражающий смех. Художник Брюллов отзывался: «какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны!» Но знаменитый смех Пушкина — это того рода смех, о котором Ницше сказал: «Человек страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное, — по справедливости, и самое веселое».

Л. Н. Павлищев сообщает со слов своей матери, сестры Пушкина: «Переходы от порывов веселья к припадкам, подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обусловливалось, по словам его сестры, нервною раздражительностью в высшей степени. Нервы его ходили всегда как на шарнирах» [4]). Барон Е. Ф. Розен пишет: «Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти; чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему не надобно было причины, нужна была только придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и как будто бы ему самому при этом невесело на душе» [5]). В этом отношении очень ценно сообщение Ксенофонта Полевого, — оно внушает особенное доверие потому, что автор приводит мнение о себе Пушкина с большим недоумением и решительно с ним не соглашается. «Я сказал Пушкину, — рассказывает Полевой, — что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его — грустный, меланхолический, и если иногда он бывает в веселом расположении, то редко и ненадолго. Мне кажется и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер». [6])

Так определял Пушкин свой характер не только в беседе с Кс. Полевым. В письме к В. П. Зубкову от 1 декабря 1826 г. он пишет: «Мой нрав — неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый». В другом письме Пушкин пишет: «я мнителен и хандрлив (каково словечко?)». Пересмотрите с этой точки зрения письма Пушкина. Вечный, неизменный лейтмотив: скука; скука, тоска, тоска... «Я сегодня зол». «Если бы знал ты, как часто бываю я подвержен так называемой хандре». «Скучно, моя радость, — вот припев моей жизни». Скучно на юге, скучно в Михайловском. Тоска в Петербурге, тоска в Москве. Цитировать можно до бесконечности. И рядом с этим — пара бессменных «жизнерадостных» цитат, удостоверяющих несокрушимое жизнелюбие Пушкина: письмо его к Плетневу от 22 июля 1831 г.: «Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры...» и письмо к Нащокину в октябре 1835 г. о том, как хорошо жить не холостяком, окруженным шумящею молодою порослью.

---

[1]) В. Д. Спасович, Сочинения, т. I., Спб. 1889, Речь о Пушкине 31 января 1887 г., стр. 210.

[2]) Собр. соч., IV, 134, 135.

[3]) Полн. собр. соч., 1914, т. XVIII, 100, 103.

[4]) «Воспоминания о Пушкине», 156.

[5]) «Ссылка на мертвых». «Сын отечества», 1847, кн. 6, отд. III, стр. 27.

[6]) «Записки» Кс. Полевого, 276.

Возражают: эти нерадостные настроения Пушкина вызывались тяжелыми обстоятельствами, в которых он находился. Но жизнерадостность не в том, чтобы радоваться жизни в моменты счастья. В жизни самого несчастливого человека бывают дни и недели, когда вдруг судьба осыплет его радостью, окружит блеском солнца, сверкающею зеленью, влюбленными девичьими улыбками. В эти минуты быть жизнерадостным не мудрено: таковы у Пушкина были, например, недели, проведенные осенью 1820 г. в Гурзуфе. Жизнерадостность — в том, чтобы силою своею жизненности одолевать всякое горе, всякую тоску и скуку, чтобы ударам судьбы противопоставлять ту «могучую стойкость», которою были сильны древние эллины и выразители их духа — Гомер и Архилох. Архилох говорит:

Но и от зол неизбывных богами нам послано средство.
Стойкость могучая, друг, — вот этот божеский дар.
То одного, то другого судьба поражает. Сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде.
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.

Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова, отражающего истинно-жизнелюбивую душу самого Толстого: пленный Пьер «испытывал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек. И именно в это самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде... Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни... В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом. Но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину, — он узнал, что на свете нет ничего страшного».

Вот — истинное жизнелюбие, силою своею жизненности преодолевающее все страхи, тяготы и мелочи жизни, умеющее прозревать радостное существо жизни сквозь толщу всех ее уродств и неустройств. У Пушкина этого не было. Он беспомощно бился в захлестывавших его мелочах, эти мелочи заслоняли от него жизнь и растрепывали душу, он вечно мечется, вечно раздражен и растерян. «У меня голова кругом идет», — выражение, то и дело встречающееся в письмах. Жуковский писал после смерти Пушкина: «Жизнь Пушкина была мучительная, — тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные». Нигде в жизни Пушкина мы не видим и не чувствуем веяния живой жизни, торжествующего биения силы жизни, умиряющей и гармонизирующей кипящий вокруг человека жизненный хаос.

Так было у Пушкина в жизни. Но и в художестве его мы встречаем очень мало жизнерадостности. И здесь еще страннее слышать эти вечные характеристики Пушкина как поэта легкой и светлой радости жизни.

«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» «Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я». «День каждый, каждую годину привык я думой провожать, грядущей смерти годовщину меж них стараясь угадать». «Жизни мышья беготня...» «Холодный ключ забвенья, — он слаще всех жар сердце утолит». «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет», и так дальше до бесконечности. И в противовес этому опять-таки — две-

три бессменно-дежурных цитатки, знаменующих жизнелюбие Пушкина. В конце шестой песни «Евгения Онегина»:

так и быть, простимся дружно,
О, юность легкая моя!
Благодарю тебя. Тобою
Среди тревог и в тишине
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

Это — в последних строфах шестой песни. Но уже в начале седьмой песни, всего через два-три месяца после написания приведенных жизнелюбивых строк, поэт спрашивал:

Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье.
На душу, мертвую давно,
И все ей кажется темно?

Потом еще, конечно, — «я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Вот, кажется, и все, что говорит о несокрушимом жизнелюбии Пушкина. Какие затруднения приходится преодолевать критику, конструирующему «жизнерадостность» Пушкина, показывает курьезная статья Р. И. Иванова-Разумника об «Евгение Онегине». Это — не случайная газетная статейка, — она помещена в виде введения к «Онегину» в фундаментальном издании Пушкина Брокгауза-Ефрона и перепечатана автором в собрании его сочинений.

«Мир должен быть принят нами во всей его полноте, — пишет Иванов-Разумник. — Выше всего стоит, над всем царит ясная, солнечная, радостная жизнь, не имеющая объективного смысла, но великая в своей субъективной ценности: вот постоянный «пафос» поэзии Пушкина, ее вечная сущность» [1]. Статья Иванова-Разумника представляет любопытный образчик чисто гипнотического способа убеждения читателя. Доказательства, им приводимые, поразительно неубедительны, но автор настойчиво повторяет и повторяет: «В Пушкине победила сама жизнь, радостное чувство красоты ее, признание не ценности в ней, а ценности ее самой по себе». «Полнота бытия и его напряженность — величайшая субъективная цель жизни человека: вот глубокая стихийная мудрость Пушкина, вот бессознательная философия «Евгения Онегина», и т. д. И от этого назойливого повторения у читателя наконец начинает складываться впечатление, что Пушкин, действительно, горел в своей поэзии этим «пафосом жизни». Если, однако, не поддаваясь внушению автора, мы вглядимся в его доводы, то будем поражены их убожеством. Чего-чего он ни выколупывает из Пушкина, чтоб только обосновать свое утверждение! Одним из краеугольных камней воздвигаемого им здания являются стихи, которые Ленский пишет перед дуэлью:

Прав судьбы закон.
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.

---

[1]) Сочинения, V, 106.

«В такие формы, — замечает Иванов-Разумник, — вылилось ясное, простое и величавое в своей простоте отношение поэта к «мировому злу»; это была не надуманная теория, это было врожденное мировосчувствование, стихийная мудрость ясного эллинского отношения к миру». Да, вот именно, — «в такие формы»! «Так он писал, т е м н о и в я л о», — отзывается Пушкин о стихах Ленского. И в этих-то «темных и вялых» стихах Пушкин и вылил свое задушевнейшее и глубочайшее мироотношение! Не нашел более подходящего случая, где его высказать!

Впрочем, это еще что! Слушайте дальше.

«Быть может, лучшей характеристикой сущности всей стихийной мудрости Пушкина является одна из строк довольно слабой переделки Ф. Клюшниковым [1]) стихотворения «26 мая 1828 года»:

Жизнь для жизни мне дана...»

Вот. Строка третьестепенного поэта из слабой переделки пушкинского стихотворения, — служащая лучшею характеристикою всей стихийной мудрости Пушкина! Стишок Нестора Кукольника, резюмирующий Шекспира, фраза из романа Михайлова-Шеллера, подводящая итоги Достоевскому!

Иванов-Разумник спешит прибавить:

«И сам Пушкин почти буквально этими же словами высказал свою мысль в послании «К вельможе»:

Ты понял жизни цель; счастливый человек,
Для жизни ты живешь...»

Если «почти буквально», — так отчего было просто не привести самого Пушкина, зачем было в первую голову тревожить жиденькую тень Ивана Клюшникова? Оттого, что слова Пушкина в последней цитате имеют очень узкий смысл. Это сразу стало бы очевидным, если бы автор продолжил цитату:

Свой долгий, ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил...
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.
И т. д.

Словом — легковесная философия анакреонтизма и вульгарного эпикурейства, характеризующая душевный строй вельможи, сына восемнадцатого века. Вот почему и пришлось нашему критику на первом месте поставить стишок Клюшникова.

Помните ли вы далее глубоко пессимистические заключительные строфы «Онегина» о счастье того, кто рано оставил праздник жизни? Настроение, чрезвычайно характерное для упадочного человека. Подпольный человек Достоевского пишет: «Дольше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет». И Иван Карамазов говорит: «уж как припал я к кубку жизни, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду... сам не знаю, куда». В том-то и сказывается настоящий «пафос жизни», настоящая «полнота бытия», что человек не рассчитывает боязливо своих сил на короткий срок, что во всех стадиях своей жизни умеет находить красоту

[1]) Почему Ф. Клюшниковым? Стихотворения свои Клюшников подписывал буквой фитой, но звали его Иван Петрович.

и полноту. И эту-то глубоко-жизнеотрицательную заключительную строфу «Онегина» Р. И. Иванов-Разумник ухитряется использовать также в качестве доказательства солнечного жизнелюбия Пушкина.

«Исполненные прозрачной грусти последние строки романа заключают созвучным аккордом эту стихийную мудрость поэта. Не в объективных целях бога или природы смысл жизни, не в продолжительности переживаний цель человека, а в полноте и яркости этих переживаний, в их силе, разнообразии, стройности; и не тот мудр и счастлив, кто, подобно гончаровскому Штольцу (и самому Гончарову), считает нормальным назначением человека «прожить... четыре возраста и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно», а тот, кто жил всеми сторонами души, всей полнотой бытия — и не дожил до ужасной старости Штольца-Гончарова; тот счастлив и блажен

кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим...» [1]).

Но ведь есть не только старость Штольца и Гончарова. Есть старость летописца Пимена, старого цыгана из «Цыган», старость Льва Толстого Гете. Гете писал Гегелю: «Я всегда радуюсь вашему расположению ко мне, как одному из прекраснейших цветов все более развивающейся весны моей души». Гете в это время было семьдесят пять лет. В 1898 г. Лев Толстой записывает в дневнике: «Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это — не воображение, а ясно сознаваемая, как тепло, холод, перемена души, переход от путаницы, страдания, к ясности и спокойствию. Как будто выросли крылья».

Вот как воспринимается старость истинным жизнелюбием, вот как и сама старость может увеличивать и углублять истинную «полноту бытия».

## IV.

Пушкин пишет в одном письме: «Чорт меня догадал думать о счастье, — как будто я для него создан!»

Однако было одно счастье, несомненное и прочное, которое Пушкин знал хорошо и о котором он с удивительным постоянством, нигде себе не противореча, твердит с юных лет до смерти. Это счастье — с ч а с т ь е у х о д а о т ж и в о й ж и з н и в м и р с в е т л о й м е ч т ы. Уже пятнадцати-шестнадцати лет он пишет, обращаясь к фантазии: «Что было бы со мною, богиня, без тебя?» («К сестре», 1814). И взывает ко сну: «Веди меня ко щастию забвения тропой!» («Городок», 1814).

Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом.
(«Мечтателю», 1815.)

В мечтах все радости земные,
Судьбы всемощнее поэт.
(«Послание к Юдину», 1815.)

Где мир, одной мечте послушный?
Мне настоящий опустел.
(«Окно», 1816.)

---

[1]) Сочинения, т. V, 113.

Так было в отрочестве. И так всю жизнь. В эпилоге к «Руслану» Пушкин пишет:

Я пел — и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной...

Очень характерно черновое стихотворение 1821 г. «Не тем горжусь»: поэт гордится не силою своего таланта и действием его на людей, не общественными своими заслугами в борьбе со злобою и тиранами, не славою своею:

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена:
Самолюбивых дум отрада,
Мечтанье суетного сна.

Вариант:

До гроба щастие отныне —
Мечтанья неземного сна.

В 1829 г.:

О, нет, мне жизнь не надоела...
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья...

«Вы, признак жизни неземной, вы, сны поэзии святой...» Самое в них ценное, — что они дают забвение окружающей реальной жизни. «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем...» «Я с вами знал все, что завидно для поэта; забвенье жизни в бурях света...» В «Египетских ночах» Пушкин рассказывает про поэта Чарского, образу которого им придан ярко-выраженный автобиографический характер: «Чарский признавался искренним своим друзьям, что только во время писания он и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь».

Творчество, искусство — это для Пушкина единственная сила, способная питать душу поэта и не дать ей задохнуться в грубой, пошлой и по самому своему существу чуждой поэтому стихии жизни:

А ты, младое вдохновенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Князь П. А. Вяземский рассказывает про Пушкина: «При нем, в нем глубоко таилась охранительная и спасительная сила. Эта сила была любовь к труду, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался» [1]). И. П. Анненков сообщает: «Трудно себе и представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина чистое творчество, указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался

[1]) Полное собр. соч., II, 372.

нравственно, когда приступал к созданию своих произведений. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности» [1]. «Только в искусстве, — говорит он же в другом месте, — находил Пушкин благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собою и сознавал себя в высоком нравственном значении» [2].

О таком действии творчества на его душу сам Пушкин рассказывает в черновых набросках, служащих продолжением «Трех сосен»:

Я был ожесточен...
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Прощение святое осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня...

## V.

Ницше говорит: «Что кто-нибудь представляет из себя по существу,— начинает обнаруживаться, когда его талант убывает, — когда человек перестает показывать, что он м о ж е т. Талант — тоже наряд; наряд — тоже прикрытие». Если мы представим себе других наших крупных художников лишенными таланта, то у большинства из них останется и еще что-то, что выделяло бы их из обывательской толпы. Мы легко можем представить себе Лермонтова, родись он лет на десять раньше, неслучайным декабристом, Гоголя можем представить себе фанатическим монахом-аскетом, Толстого — религиозным сектантом вроде Сютаева, Достоевского — старцем-схимником типа Амвросия. Но что являл бы из себя в таком случае Пушкин? Всего вероятнее вот что:

Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей...

Для большинства других наших художников искусство не было ценностью, стоящею неизмеримо выше всяких других ценностей. Толстой и Гоголь отрекались под конец жизни от художества; мы легко можем представить себе, что за настоящую, детски-чистую веру в бога Достоевский с радостью отказался бы от писательства. Глеб Успенский свой чудесный талант размотал на публицистику, Короленко из-за общественности остался великим писателем без великих произведений, Некрасов вправе был сказать о себе:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Мне поэзия мешала быть бойцом.

Но Пушкин — Пушкин своего права художественного творчества не отдал бы н и з а ч т о — ни за бога, ни за народ, ни за какие блага мира.

---

[1]) «Пушкин в Александровскую эпоху», 211.
[2]) «Материалы для биографии Пушкина», 2-е изд., стр. 179.

Но если подлинная жизнь, подлинное горение души возможно только в творчестве, в поэзии, в уходе в мир светлой мечты, — то какое же другое может быть отношение к реальной жизни, как не пренебрежительное и глубоко равнодушное?

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии. Но нет, тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

Это пренебрежение к «низкой жизни», в понимании Пушкина, лежит в самом существе художника. И этим объясняется «двупланность» Пушкина, его двойственность, поразительное несовпадение его творчества с его жизнью, и вопреки мнению Ивана Аксакова полное отсутствие всякого трагизма от этого несовпадения. Вся жизнь, живая жизнь, — где-то там, глубоко внизу, и как смеет она требовать какого-то вмешательства в себя от этих головокружительных высот искусства?

Моцарт у Пушкина говорит: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». И чувствуется, что и для самого Пушкина — это несомненнейшая аксиома. Но почему гений и злодейство несовместимы? Будем даже говорить об одних художественных гениях, которых, конечно, тут преимущественно имеет в виду Пушкин. Почему художественный гений не может совершить злодейства? Мы легко можем представить себе злодеями Архилоха, например, или Бенвенуто-Челлини. Легенда настойчиво приписывает Достоевскому одно мрачное злодейство, и мы никак не можем сказать, чтоб оно совершенно было несовместимо с его гением. Почему же Пушкин так непоколебимо уверен, что гений и злодейство несовместимы? Не потому, как обычно толкуют, что гений обязательно соединяется в человеке с нравственной высотой, — это совершенно неверно, и гений нередко бывает в жизни форменным дрянцом. Несовместимы для Пушкина две указанные стихии потому, что злодейство тоже есть ж и з н е н н о е т в о р ч е с т в о. М. П. Погодин приводит в своем дневнике такие слова Пушкина: «Разве на злодеях нет печати силы, воли, крепости, которые отличают их от обыкновенных преступников?»[1]). Вот в чем дело. На «пакости» (как Пушкин сам называл некоторые свои стихотворные выходки), — на пакости гений способен сколько угодно. Но на злодейство он неспособен потому, что для этого потребна энергия, внимание к жизни, вкладывание в нее своих сил, одним словом — забота «о нуждах низкой жизни». Но раз это так, то может быть... гений и п о д в и г — тоже две вещи несовместные? Сальери не гений, потому что способен на злодейство. Но, может быть, и Рылеев не гений потому, что способен — на подвиг? Конечно.

Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

---

[1]) «Пушкин и его современники», XIX–XX, 92.

Все житейские волнения, — и корысти, и битвы, и злодейства, и подвиги, — все это одинаково только подметание сора, до которого поэту нет никакого дела.

Поэт тоже знает «волнение», — но это волнение совсем другого рода:

И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье...

Пушкин пишет слепцу-поэту Козлову:

Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
О, милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им.
Чудесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь и летаешь,
И вновь живешь...

Такой «новый мир», полный «светлых привидений», непрерывно творит и сам Пушкин в своей поэзии. Необычный, своеобразный мир. Все в нем как будто просто, обыкновенно, — как будто наш обычный земной мир: весь реальный Пушкин тут, лирика такая автобиографическая, все его знакомые, друзья и возлюбленные, все местности, которые легко найти на географической карте. Все как будто то — и в то же время совсем не то. «Перед этими картинами жизни и природы бледна и жизнь, и природа», — замечает Белинский. И Гоголь говорит: «не вошла туда нагишом растрепанная действительность. Чистота и безыскусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною».

Пушкин хватает жизнь, в творческом порыве выносит ее в другой план и там все — радость и скорбь, прозу и грязь — преображает в божественную красоту. И «вавилонская блудница» Керн превращается в «гения чистой красоты», лисица — Филарет — в серафима, арфе которого внемлет поэт в священном ужасе, — в подлиннейшем священном ужасе. И брюзгливое раздражение при виде молодой сосновой поросли преображается в светлое приветствование молодой жизни, идущей на смену старой. И вся темная, низменная жизнь с ее скукою, уныnием и безнадежностью озаряется солнечным светом, и все становится одинаково прекрасным. «Мне грустно и легко; печаль моя светла». Самые безнадежные настроения начинают светиться этим светом, — и вот люди начинают говорить о «солнечном жизнелюбии» Пушкина, о приятии им всех темных сторон жизни...

## VI.

Чрезвычайно интересно наблюдение процесса пушкинского творчества. Поэт с жизненных низин, как по ступенькам, с каждой стадией своей работы поднимается все выше и выше на эти вершины благородства, целомудрия и ясности духа.

П. И. Бартенев пишет по поводу стихотворения Пушкина на смерть Наполеона (1821 г.): «Можно смело утверждать, что нигде в Европе, ни тогда, ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего лучшего и благороднейшего. Надо припомнить, что Пушкину в этом случае предстояла особенная трудность. Кто ни писал о Наполеоне, кто ни клял его

памяти?» [1]). Изучение черновика этого стихотворения дает вот что. «В первоначальной редакции, — пишет П. О. Морозов, — еще обильно рассеяны укоризненные эпитеты: «губитель», «преступник», «страшилище вселенной», «безумец» и пр., так часто повторявшиеся в произведениях русских стихотворцев 10-х годов минувшего века; но тут же внесены уже и смягчающие поправки: «страшилище» заменено «изгнанником»; «гордый», «грозный» ум обратился в «дивный»; наконец, укор развенчанной тени объявляется «безумным малодушием»: «он пал, — умолкни, глас укора! Велик и падший великан». С каждой новой строфой, с каждой новой поправкой риторическое осуждение уступает место примирению, — и в окончательной редакции из всех порицательных выражений остаются только «надменный» и «тиран» да указанье на презрение Наполеона к человечеству» [2]).

И заканчивается стихотворение так:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Еще более интересна история постепенного углубления и облагорожения темы в процессе творческой работы, которую мы наблюдаем в черновиках стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» [3]). Первоначально это было длинное стихотворение, где рассказывалось о том, как рыцарь влюбился в изображение Девы Марии и стал равнодушен ко всем женщинам, как перестал молиться отцу, сыну и святому духу и целые ночи проводил перед образом богоматери, как отправился в Палестину:

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он, будто заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он.
Между тем, как он кончался,
Бес лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Утащить он в свой предел.
Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в Царство вечно
Паладина своего.

Своеобразная история полового извращения, известного под именем фетишизма, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического средневековья. И своеобразное освещение этой истории; выдержанное Пушкиным совершенно в духе того же средневековья. Такова была тема и таково исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря все больше растет, светлеет, облаго-

---

[1]) «Пушкин в южной России», 2-е изд., стр. 88.

[2]) Академич. изд. соч. Пушкина, т. III, примечания, стр. 353.

[3]) См. «Неизданный Пушкин», изд. «Атеней», 1922, стр. 113 и сл. — «Творческая история» под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1927. — Г. Н. Фрид, История романса Пушкина о бедном рыцаре, стр. 92 и сл.

раживается, болезненные извращения отпадают, и в окончательной редакции перед нами — восторженный и смелый духом мечтатель, «полный чистою любовью, верный сладостной мечте».

В черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов мы иногда наталкиваемся на странные низины, на стоячие темные болотца, совершенно неожиданные для Пушкина и говорящие, что первоначальные, так сказать, жизненные его настроения, соответствовавшие начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроений вполне упадочного характера.

В одном черновом наброске, относящемся к 1823 г. [1]), поэт пишет:

Придет ужасный миг, — твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой...
Лампада бледная твой бледный труп осветит...
Коснусь я хладных ног, к себе (обняв) их на колени
Сложу и буду ждать... Чего?
Чтоб силою мечтанья моего
У ног твоих...

До жути странные, совершенно некрофильские настроения. И это не единичное место. В 1826 г. Пушкин пишет монолог князя, идущего лунною ночью на свидание с русалкою, — может быть, первоначальный набросок «Русалки» [2]):

Дыханья нет из бледных уст, — но сколь
Пронзительно сих влажных, синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья —
Томительно и сладко — в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается — тогда
Какой-то хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томленьем и любовью замирая,
И в этот миг я рад оставить жизнь —
Хочу стонать и пить ее лобзанья...

Совершенно бодлэровские настроения... И нет, конечно, никакого сомнения, что, не брось Пушкин этих первоначальных замыслов, возьмись он за их дальнейшую обработку, — и не осталось бы следа от всего этого декаденства, и перед нами были бы стихотворения, полные обычной для Пушкина ясности духа и нетревожной целомудренности.

## VII.

Подлинная, глубокая и ясная жизнь — в этом мире светлой красоты, высокого душевного благородства и незатемняемого страстью сознания. И вдруг откуда-то далеко снизу, из того, другого плана, назойливые, требовательные вопросы:

---

1) Академич. изд. соч. Пушкина, т. III, примечания, стр. 353.
2) Академич. изд. соч. Пушкина, т. IV, стр. 221.

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит, чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

Как дико, как чуждо должны звучать эти вопросы для «сына небес», окруженного беспредельною, сверкающею стихией красоты, упоенно внимающего «хору светлых привидений».

Цель? Польза? Причем тут цель? Какой тут может быть разговор о пользе? «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?» «Чадам праха», лишенным счастья жить на высотах, этот светлый мир может только «волновать, мучить сердца», возмущать душу «бескрылым желаньем». Учить их? Давать им «смелые уроки»? Это совсем не дело поэта. А вот его дело «глаголом жги сердца людей!» [1]).

Все это делает вполне понятным и заслуживающим полнейшего доверия столь часто встречающееся у Пушкина утверждение, что пишет он исключительно для самого себя.

На это скажут мне с улыбкою неверной:
«Смотрите, — вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите. Вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете?» — Я для себя! — «За что же
Печатаете вы?» — Для денег. — «Ах, мой боже!
Как стыдно!» — Почему ж?..

И это все время упорно твердит Пушкин. «Твой труд тебе награда, им ты дышишь, а плод его бросаешь ты толпе, рабыне суеты». «Ты царь. Живи один» и т. д., и т. д. Что поклонение, всеобщее признание, слава, всевозможные памятники, рукотворные и нерукотворные?

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена:
До гроба щастие отныне —
Мечтанья неземного сна.

Это, конечно, вовсе не значит, что Пушкин в жизни относился к славе и поклонению с полнейшим равнодушием,—он мог раздражаться на отрицательные о себе отзывы, мог самолюбиво замыкаться в себе, наблюдая всеобщее охлаждение читательской публики. Но все это происходило там, в низшем плане, в плане реальной жизни. В верхнем плане, в плане творчества, это был «смешной и суетный» вздор, на который и взгляда-то не хотелось бросить со своих высот.

Мир «светлых привидений», в котором живет поэт, как будто является отрицанием нашего низменного, земного мира. Однако он в то же время весь целиком коренится именно в этом нашем мире, — совсем так же, как жизнь эллинских божеств.

Перед нами не какой-нибудь романтический потусторонний мир, обесценивающий нашу землю, как, например, у Лермонтова: «И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Нет, это наш мир, земной мир, но только

[1]) См. мою статью: «Пушкин и польза искусства», «Новый мир», 1928, № 2.

уярченный, просветленный, облегченный, — та гомеровская «легчайшая жизнь» — «rheiste biotê», — которою живут эллинские боги. Она-то грезится Пушкину, она властно постулируется его сознанием, как необходимая принадлежность самого бессмертия.

Конечно, дух бессмертен мой!
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенства бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя?
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...
Любви! Но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой, —
Что без нее душа моя? (1822 г.)

И там, за могилой, поэту нужен этот, земной мир, — и вот даже до каких мелочей: «Мой дух к Юрзуфу прилетит». И Пушкин заключает это стихотворение, — в черновом своем виде гораздо более глубокое и интимное, чем в напечатанном при его жизни «отрывке», — так:

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы!
Зачем не верить вам, поэты?

Поэт пристально вглядывается в жизнь и сквозь грубую ее оболочку как будто прозревает уточненную ее сущность, лишенную «несовершенств бытия». Есть у Пушкина черновой набросок: «Лишь розы увядают, амброзией дыша...» Основной черновик набросан Пушкиным на французском языке, и он гораздо тоньше и художественнее, чем последующий русский набросок. Беспорядочно написаны стихи и отдельные слова (набросок опубликован в академическом издании сочинений Пушкина, т. IV, примечания, стр. 284). Привожу их в размещении Брюсова (Соч. Пушкина под ред. Брюсова, Гос. изд., 1920, стр. 255) с поправками и дополнениями по тексту академического издания:

Quand la rose soudain a terminé sa vie
Au front du convive, au banquet...
Soudain se détachant de sa tige natale,
Comme un leger soupir, sa douce âme s'exhale
Dans les aires... voltige...
Aux rives d'Elysée ses manes parfumés
Fleurissent...
Charment du doux Léthé les bords inanimés...

(Когда роза внезапно оканчивает свою жизнь на челе гостя, на пиршестве... Внезапно, отделяясь от родного стебля, как легкий вздох, испаряется ее нежная душа... Порхает в воздухе... На берегах Элисия ее благоуханная тень цветет... чарует безжизненные берега Леты...)

Своеобразный мир «светлых привидений», светящихся «теней», включающих в себе тончайший экстракт жизни. М. О. Гершензон в своей статье «Тень Пушкина» указывает, как часто употребляет Пушкин это

слово «тень», какой реальный, объективный смысл он вкладывает в это слово. Гершензон думает, что Пушкин, умозаключая из данных опыта, отрицал загробную жизнь, но, умозаключая из потребностей воли, признавал ее, — и именно в виде существования «тени», тесно связанной с существом нашей земной жизни. Эти выводы Гершензона недоказательны и совершенно произвольны. У нас нет решительно никаких данных, чтобы утверждать что-нибудь о подлинной вере Пушкина в его «тени». Однако пускай нет веры в их реальность. Творческим сознанием поэта они все время ощущаются, перед глазами поэта все время — эта просветленная, невыразимо прекрасная жизнь, —

Где чистый пламень сожигает
Несовершенство бытия, —

такая как будто наша, земная, и в то же время так непохожая на темную нашу жизнь.

И что должен был испытывать поэт, спускаясь с этих «таинственных вершин» в низины реальной жизни, наблюдая себя и всех кругом в их отталкивающей, темной конкретности?

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью...

В этом стихотворении «Воспоминание» обычно видят какой-то «покаянный псалом», выражение морального какого-то раскаяния. Но это совсем не так. Стихи эти — тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то проступок с неба на темную землю и рвущегося мечтой к лучезарной своей родине (см. мою статью «Стихи неясные мои», Заметки о Пушкине, «Новый мир, 1928, № 2).

## VIII.

В этом верхнем плане, в этом мире «светлых привидений», творимом для себя художником, все — благо, все — красота и свет. И чем больше в нем переживается разнообразнейших чувств, тем этот мир разнообразнее, многоцветнее. Любимое название Пушкину в критических статьях было — Протей: мифическое божество, каждую минуту принимавшее новый вид, совсем непохожий на прежний. И шевелится вопрос: да случайность ли это, что мы до сих пор не можем найти у Пушкина центра, основного нерва его жизнеотношения? Случайность ли, что каждый исследователь может найти у Пушкина решительно все, чего ему хочется? Был ли у Пушкина этот центр?

Куда ж нам плыть? Какие берега
Мы посетим? Египет колоссальный,
Скалы Шотландии иль вечные снега?

Не все ли равно? В том, верхнем плане все чувства, все переживания одинаково светозарны и одинаково приемлемы для души. Повторять ли умиленно с отцами-пустынниками и женами непорочными православную молитву Ефрема Сирина, метаться ли с протестантским «Странником» в неизбывном ужасе перед своею греховностью, созерцать ли с Данте в католическом аду муки грешников, увенчиваться ли розами на эллинском пиру вместе с Ксенофаном, — какая разница? Все одинаково ярко

и сильно переживается творческою душою поэта в том, верхнем, творческом плане. Но переживалось ли это вправду и человеком в нашем, жизненном плане?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутые виденья,
Души неясный идеал?

И что тут вообще не минутно? Замечу кстати, что сам Пушкин непременным признаком истинного вдохновения считал «движение минутного, вольного чувства» (рецензия на Делорма, 1831 г.). И в «Египетских ночах» он рассказывает: «Пылкие стихи — выражение мгновенного чувства — стройно излетали из уст его».

Настойчиво и страстно Пушкин всю жизнь отстаивал свободу поэта:

ветру и орлу,
И сердцу девы нет закона.
Гордись! Таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет.
Глупец кричит: «куда? куда?
Дорога здесь!», но ты не слышишь.
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд —
Тебе награда, им ты дышишь...

Мы теперь как будто давно уже отказались от роли этих глупцов, указывающих дорогу художнику; мы не так узки, чтобы непременно требовать от поэта непосредственного гражданского служения. Но мы не в состоянии себе представить, как можно не требовать от художника выявления его мирочувствования, выявления правды жизни, которою он живет. А Пушкин, может быть, и на эти наши требования ответит: «Подите прочь! Я поэт, и для меня нет закона. Предоставьте мне отзываться на впечатления жизни самым фантастическим образом, как того требует мой своенравный гений, и не ждите от меня какой-то правды жизни. Может быть, ее у меня совсем нет, а может быть и есть, — да не про вас!»

Моя точка зрения на творчество Пушкина в некоторых существенных пунктах совпадает со взглядом на его творчество Белинского в его «пушкинских статьях». Белинский пишет:

«Пафос, разлитый в полноте творческой деятельности поэта, есть ключ к его личности и к его поэзии. Первой задачей критика должна быть разгадка, в чем состоит пафос произведений поэта». И пафос пушкинской поэзии Белинский определяет так: «Пушкин созерцал природу и действительность под особенным углом зрения, и этот угол был исключительно поэтический... Он не знал мук и блаженства, какие бывают последствием страстно-деятельного (а не только созерцательного) увлечения живой, могучей мысли, в жертву которой приносится и жизнь и талант. В истории, как и в природе, он видел только мотивы для своих творческих концепций... Чем совершеннее становился Пушкин как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний... Пафос его поэзии был чисто артистический, художнический... Пушкин был по преимуществу поэт-художник и больше ничем не мог быть по своей натуре» (пятая статья).

Ницше в своей книге «О происхождении трагедии» вот что говорит о жизнечувствовании древних эллинов. Древний эллин, по мнению Ницше, всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия, ему всегда была близка страшная мудрость о преимуществе небытия перед бытием. Как согла-

суется светлый мир олимпийских божеств с этою зловещею мудростью? Так же, как восхитительные видения истязуемого мученика — с его страданиями. Чтобы вообще быть в состоянии жить, эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художественным миром — лучезарными призраками олимпийцев. Та «гармония» древнего эллина, на которую мы смотрим с такою завистью, вовсе не была простою цельностью и уравновешенностью духа. Гармония гомеровского эллина обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, она — цветок, выросший из мрачной пропасти.

Ницшевское истолкование мирочувствования древнего эллина глубоко неверно. Силою, обусловливавшею приятие жизни и жизнерадостность древнего (до-трагического) эллина, была не сила иллюзий, не сила художественного творчества, а сила жизни (подробно об этом см. мою книгу: «Апполлон и Дионис. О Ницше», «Живая жизнь», часть вторая). Но ницшевское изображение своеобразного процесса художественного «приятия жизни», симулирующего здоровую жизнерадостность и бодрость духа, удивительно приложимо в отношении к Пушкину. У Пушкина мы наблюдаем не жадную влюбленность в грубую, реальную живую жизнь, как у Гомера и вообще до-трагического эллина, как у Гете, Льва Толстого, Рабиндраната Тагора, Уота Уитмэна. Пушкин не умел жить среди живой жизни и любить ее, он от нее спасался в мир «светлых привидений». Гармония Пушкина именно обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, поэзия его именно была цветком, выросшим из мрачной пропасти [1].

Такое понимание поэзии Пушкина окажется более согласующимся и с социальными корнями его творчества.

---

[1]) Очень интересен и своеобразен взгляд на Пушкина недавно умершего Ф. К. Сологуба. Незадолго до смерти, 8 сентября 1927 г., он писал мне о Пушкине: «Быть может, нам еще рано разделываться с блистательным, но лживым гением, лукаво совершавшим большое, но пародийное дело: попытка создать легенду об императорско-помещичьей России, которую он сам ненавидел, и покрыть лживым блеском природу и жизнь, которые были для него безнадежно-пусты, но о которых он находил такие превосходные слова».

# КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## СРЕДИ СТИХОВ.

**Виссарион Саянов,** Комсомольские стихи, изд. «Московский рабочий»; **С. Обрадович,** О молодости, Гиз; **Г. Санников,** На память океану, изд. «Закнига»; **А. Жаров,** Стихи и поэмы, том I, «Молодая гвардия».

1928 год — урожайный год пролетарской поэзии. Пролетарская поэзия растет не только количественно. Несомненен постепенный здоровый рост не только тематики, но и художественной формы. Поэты, вошедшие в литературу всего три-четыре года назад, в своих новых сборниках обнаруживают признаки зрелости дарования (Светлов, Саянов). Обратимся к примерам.

* * *

«Комсомольские стихи» — первая зрелая книга Виссариона Саянова (от «Фартовых годов» во многом веяло ученичеством). Поэт владеет культурой слова, прошел асеевскую школу ритмики, обнаруживает новаторство в образе, рифме. Темы стихов родственны военному этапу революции — «годам, верным грозе и литью». Правда, тематический каталог составляется равно как из воспоминаний о гражданской войне («На подступах Азии», «Песня», «Побег шахтера Гурия под Клинцами»), так и из характеристик настоящего дня как результата героических усилий («Братишке», «Возвращение», «Современники»), но мотивы современности автор обычно разрабатывает приемами сопоставления с батальными днями, стихи его о гражданской войне полновесней. Наиболее характерно в смысле подхода к материалу современности стихотворение «Новые песни»; песням бульваров, хулиганству той человеческой накипи, которая зашевелилась с первыми днями свободной торговли, и чей день блестяще запротоколен строфой:

> Так беспрерывно пьешь и пьешь,
> Гражданам прохода не даешь,
> По трамваям ты скакаешь,
> Рысаков перегоняешь
> И без фонарей домой не идешь,

поэт может противопоставить свою «верность боям, годам упорства и славы». Пафос строительства, пафос «мелочей» нашего сегодня не осознан Саяновым как достойный объект вдохновения, характеристика мирного этапа революции по сборнику «Комсомольские стихи» далеко не исчерпывающа. Небольшой цикл дорожных стихов «Ленинград — Балхаш» говорит лишь о благих намерениях поэта.

Стихи о гражданской войне оформлены разнообразно — в плане лирики («Шлем», «Предчувствие») и сюжетного эпоса («Побег шахтера Гурия под Клинцами», «Смерть матроса со «Святого Пантелеймона» в 1905 году»). Наиболее характерна для манеры Саянова — и здесь он вновь выступает продолжателем асеевской традиции — лиро-эпическая поэма «На подступах Азии». Материал гражданской войны в ней увязан присутствием автора в роли героя поэмы, типические картины лет военного коммунизма (примерно: «Вшивые толпы, рты посинели, голос трубы грубей, но под полою грязной шинели, сердце, о ребра бей») составляют выразительный фон к любовной интриге. Саянов нашел чеканные слова для формулировки творческого приятия жизни рабочим классом, его «любви к крутым — житейским — перебранкам, грохоту моторов и летящим поездам», — любви, не остывающей от печали по любимой девушке, товарищу или вождю.

В стихах почти всех молодых ленинградских поэтов (Б. Соловьева, Панфилова) ощущаются следы влияния А. Блока. В. Саянов также прекрасно проштудировал творчество автора «Стихов о прекрас-

ной даме». Он готов употребить эпитет «дальний» («И легкий сумрак тает на дальнем берегу», стр. 70), нарушающий реалистический стиль сборника; в стихотворении о «Прожитом дне» — стихотворении впечатлений поэта за дорожный день — он вставляет строки:

Девушка, что пела у заставы,
Может быть, сегодня умерла,

совсем по подобию блоковских:

Та, что нынче читала стихи,
Та монахиня, верно, умрет.

Мотивы символистов, вторгающиеся в реалистическую ткань! Художественная бестактность для зрелого поэта непростительная.

* * *

«О молодости» — сборник лирических стихов. Каноны классической лирики, святость которых была нерушима для Есенина, смело нарушается Обрадовичем. Его стих — мужественный, насухо выжатый от тавтологизмов, повторов, динамический. Характерным показателем динамичности является постоянное опущение сказуемого в предложениях (фигура эллипсиса): «Плетью рельс — вокзалы, хрипя» или: «Старый черный тополь у сарая — в дрожь». Насыщенности стиха действием помогает прием рисовать картины двумя-тремя бросками штрихами. Примеры: «Обычный день: пыль, солнце и гудки»; «Вновь листопад: лохмотья, язвы, кости». Обрадович совершенно не употребляет кольцевую форму строения стиха, он редко пользуется фигурой восклицания — обычным атрибутом классической лирики. Его стихи незнакомы с эмоционально-действующим эпитетом; эпитет лирики Обрадовича конкретен, как в сюжетном эпосе.

Формальная оригинальность лирики Обрадовича усложняет для читателя ее восприятие. Такова судьба всех новаторов. Но оно — восприятие — упрощается революционной устремленностью тематики, классовой выдержанностью идейного содержания. Основная тема стихов «О молодости» заключена в четверостишии:

А молодость — она рядком,
И не почуешь, как подхватит;
И молодостью влеком —
Вдруг позабудешь о закате.

Вариации темы разнообразны. Отцовская гордость от «хозяйского взгляда на улицу» подрастающего сына, воспоминания о развеянной по ветру семье (стихотворение «Глаза»), счастливая ночь, выковавшая решение не допустить «обокрасть тело матери» («Ночь»). Во многих стихотворениях под молодостью разумеется юношеский стаж страны Советов, строящийся «мир наших подвигов и усилий».

Отдельные стихотворения выпадают из тематической целеустремленности сборника, их немного. Таково в первую очередь «Нет отклика. И лепет лиры тихой». Помечено оно 1926 г. и является откликом на недоброжелательное отношение к стихам, характерное для издательств в 1925—1926 гг. Выпадает из общего стиля стихотворение «Хулиганская»; написанное, очевидно, к кампании, оно переживет ее на много лет как документ, раскрывающий «тайное тайных» юноши, променявшего «станки на тупики».

Как наиболее удавшиеся автору стихи, хочется выделить: «Грузчик», «Марьина роща», «О сыне», «Зрелость», «Ночь», «О молодости».

* * *

В сборнике «На память океану» автор дает интересное обещание:

Не капитаны движут судно.
Довольно песен капитанам!
Я буду петь о жизни трудной,
Про кочегаров в океане.

Обещание направлено против определенных литературных традиций («у капитанов есть поэты — певцы Колумбов, Лаперузов») и этим вдвойне ценно. К сожалению, стремление «петь о жизни трудной» значится лишь в проспекте, — из пятнадцати стихотворений всего одно посвящено героям многих рассказов и повестей Новикова-Прибоя. Остальные же четырнадцать передают чувства и мысли Санникова — путешественника, вводят читателя в интимный мир его переживаний. Мир этот создавался в груди поэта-общественника: «Мы все — сыны эпохи вздыбленной». Действенность, готовность к борьбе — лейтмотив стихотворений:

И если где-то в Атлантическом
Вдруг ураган в двенадцать баллов

Потушит наше электричество
И украдет у нас штурвалы, —
Мы и тогда в руках у гибели,
Как никогда, крепки и дружны,
Лицо отчаяньем не выбелим
И всем материкам окружным,
Поверженным в смятение,
Спокойно крикнем: рвитесь в дали!

Многие стихотворения связаны с историческими событиями войн на море — «кровавой датой четырнадцать», с географическими пунктами плавания по Атлантическому океану — «чугунным бастионом Гибралтар», Сирокко, испанским портом. Автор умело включает элементы фольклора в лирические излияния.

Лирика Санникова канонична (повторы, восклицания, эмоциональный эпитет, иногда кольцевая форма строения стиха). Но каталог образов оригинален своей жесткой конкретностью: «как волчья шкура, даль сера»; «разошлось, разгулялось Северное, так и мечет тяжелые глыбы» и другие.

* * *

Первый том стихов и поэм Жарова — сборник избранных произведений. В предисловии автор пишет: «Сюда сознательно не включены произведения раннего ученического периода, многие из стихов газетного типа, имевших узко-злободневное значение, и работы, которые, с моей точки зрения, не могут прибавить что-либо к характеристике творческих путей и мотивов, намеченных в этом томе». Автор не был жестоким, — многие стихотворения, имеющие (пользуясь термином Жарова) узко-злободневное значение, все-таки вошли в первый том («Песня о червонце», «В Румынии», «Песня о металле», «В отпуск», «Селькор»); вошли в него также поэмы «Комсомолец», «Ленинград», ученические попытки создания больших вещей.

Первый том стихов и поэм Жарова удостоверяет расширение творческого диапазона поэта главным образом в области тематики. Достаточно перечислить циклы сборника, чтобы уяснить: поэзия Жарова откликается на явления современности (вопросы быта — цикл «За тебя я песню подниял»; о грядущей войне — «Свинец и терпение»; о смычке с деревней — «У околиц» и т. д.). Все разговоры поэтому о тематическом кризисе Безыменского, Жарова — лишние: когда каждый уходящий день оставляет ряд заданий дню наступающему, нельзя представить, что поэтам не о чем будет писать. Но первый том Жарова (так же, как и «Человечье сердце» Безыменского) утверждает повышение мастерства, — рост культуры стиха не поспевает за расширением тематических каталогов. Стихи 1926—1927 гг. оформляются теми же приемами, как в 1923—1924 гг., наблюдается ранняя стандартность поэтики; переход к эпическому жанру от лирики, проведенный в тематических целях, почти не был подготовлен предварительной учебой. Появляются традиции, вытекающие из особенного бытового положения поэта, «постигшего возвышенный удел». В «Стихотворении от бессонницы» делается признание:

Я вспоминаю все свои ошибки,
Но для того, чтоб с н о в а  п о в т о р и т ь...

В стихотворении «О садовнике и о плодах» возвещается (без объяснений!!): «но сегодня у меня в строках п о ч е м у - т о засверкала песня».

Стихи и поэмы Жарова, собранные в одну книгу, настойчиво указывают на крепкие крестьянские корни в его поэзии. Такие образы и сравнения, как «набегают на праздник будни, как колеса на кочки и пни»; «молотит сердце так легко»; «тучке с ветром баловаться любо», выпуклые характеристики представителей деревни,— все это говорит о родственности (психологической при пролетарской идеологии) Жарова крестьянской стихии. Образы завода («Мартэн») и рабочих («Мастер Яков») художественно незрелы.

Сборнику предпослано предисловие (анонимное). Автор предисловия понял свою задачу как необходимость стопроцентно бить в литавры. А. Жаров объявляется «самым комсомольским» (в смысле популярности), «ищущим и находящим темы там, где их не найдет и не увидит другой писатель» из всех молодых наших поэтов. (Куда же пропал Безыменский, Уткин? — **В. К.**) «Гармонь» превосходно сделана по форме, — а критика писала о риторичности вступления и заключения, плохом качестве частушек. Стиль предисловия выше всяких похвал: «И те, кто по соб-

ственному убеждению казались созданными «для звуков сладких и молитв», озверело рычали и заливались истерическим лаем». «Творчество пролетарских поэтов... отмечено безудержным пафосом героической борьбы»; «много спорят об излишней «оптимистичности» творчества А. Жарова. Эти разговоры несерьезны». Такое предисловие не только возмутительно, но и позорно!

**Виктор Красильников.**

**Демьян Бедный**, Собрание сочинений, ред., примеч. и заключ. статья. **А. Ефремина**, т. XIII (с алфавитным указателем ко всем 13 томам), Гиз, М. и Л. 1929, стр. 351, ц. 1 р. 75 к., тир. 10 000 экз.

В этом последнем, 13-м, томе собраны главным образом самые последние стихи, вплоть до мая 1928 г., но есть и раньше 1927 г., отдельные — даже от 1919 и 1916 гг. (глядя по содержанию). Благодаря, может быть, этой особой близости к нашему моменту здесь бросается в глаза то именно характернейшее свойство поэта, что его «лирика», его «сатира» не только не является отражением чисто личных переживаний и даже не просто революционного самочувствия широких масс в каждый данный момент развития нашей революции. Нет, поэт светит массам своим факелом, ведет их за собой. Он именно «поэт-трибун», а не просто «певец», хотя бы и «гражданской скорби» или радости.

Возьмем хотя бы первое стихотворение — большой сатирический «трактат» «Всерьез и ненадолго или Советская женитьба» — по поводу проекта Наркомюста о браке, семье и опеке. Здесь — при шуточной форме и «сочиненных» иллюстрациях, кое-где — вложено столько вдумчивости, глубокого знания фактов жизни масс и пр., что критика проекта получается весьма сильная и серьезная, как со стороны своего рода эксперта по вопросу. Тем самым вопрос толкается к разрешению во вполне определенном смысле — против признания «фактического» брака равносильным юридическому. И в то же время — не только изложено «ребенку понятно», но и (ежедневное чудо поэта!) речь, образ, чувство, бьющие ключом из этой лирики, — все от самой же массы. А выясняющаяся общая идея — «потеря перспективы» в проекте, «крайне-левый жест» его составителей — идея подлинно-партийная, большевистская. Т. е. незаметно массовые читатели поднимаются на наибольшую высоту классового самосознания... Вождь и сильнейший лирик за раз!

Я вовсе не хочу сказать, чтобы поэт был всегда равен самому себе, — нет, проскакивают и у него какие-то как бы «усталости», либо спешные недоделки, особенно в коротких стихотворениях, вроде экспромтов или импровизаций. Пример хотя бы:

Висят на лестницах, пускают
«голубей»,
А голоножие — «пригоночка
к Парижу»!.. и т. д.

(«Советское искусство в московском камерном театре»).

Разумеется, кое-что здесь поясняется в обычной у Демьяна Бедного ремарке перед стихами — прозой. Но все же малость «беспонятно». Есть и целые порядочных размеров вещи, как-то нарочито-неясно написанные: скажем, «Сахарная частушка», с нередкою какою-то неточностью слов, около цели попадающих. Таково и большое стихотворение «Долой самодержавие», где самая тема — о нравах при самодержавии, об актрисах в частности — взята как-то лишь около задания, хотя могла бы конечно быть взятой и вполне «в точку».

Но это лишь редкие шероховатости. Подавляющее большинство стихов XIII тома метки, сильны, ярки, «массовы» в лучшем смысле слова — и всегда энергично ведут массу ко все высшему революционному развитию, на конкретных примерах из неисчерпаемого богатства текущих событий вне и внутри Союза. Есть же и настоящие перлы Демьяновой лирики, как по необычайно-зорко выхваченному содержанию, так и по вдохновенно-напевному творчеству. Как перл своего рода отметим: «Картонный кооператив», где картинка мужицкого разочарования и негодования по поводу картонной подметки «ботов»

из кооператива «Пролетарская сила» передана с подлинным ясновидением, даже с тоном рассказа — будто слышишь жалобу из уст потерпевшей деревни. Не говорю о «морали»: «Смычка тоже может оказаться картонной» (это опять — от настоящего трибуна). Что касается выдающейся напевности, то надо прочитать две вещи: «Арбуз подносят» и особенно неподражаемо-восточную «Утерянный женский рай». Первая — образец, чего можно достичь с Демьяновой формой «сказа», когда она сжата до предела и звучит за раз и всем «натуральным», неровным ритмом разговорной речи, и в нем журчащей, полускрытой гармонией народной песни. А «восточная» — с ее удивительно-характерным, заунывным припевом «а-а-а-ай!»..., с ее богатой, как шитый ковер, восточной стилизацией — верх искусства, соединяющего первобытную легенду и вековой женский протест Востока с нашей революцией и освобождением трудящихся женщин всего мира.

Замечателен «Алфавитный указатель» на 17 страницах, как свидетельство 20-летнего труда, равного подвигу!

**А. Дивильковский.**

**Николай Берендгоф,** Бег, изд. Московского цеха поэтов, 1928, стр. 48, ц. 75 к.

Если бы автор к названию своей книги добавил еще одно слово, можно было бы не писать рецензий, потому что заголовок «Бег на месте» целиком определяет как настоящую книгу, так и все творчество Н. Берендгофа (5 отдельных изданий и стихи в журналах). Поэзия Берендгофа родилась вместе с Октябрем, но никакого отношения к нему не имеет. Революция, заставившая заговорить своим языком даже таких поэтов зажиточной деревни, как Клюев и Есенин, только усилила тот процесс разложения, который происходил уже давно среди деклассированных групп городской богемы. Лучшее из того, что было в этой среде, пошло с революцией (Леф), остальные продолжали учинять «бурю в стакане воды», пародируя темперамент нашей эпохи своей мышиной возней по закоулкам различнейших «измов», до сих пор не учтенных до конца никакими архивами.

Книга Берендгофа продолжает эти «славные» традиции эстетствующих юношей, которые из любой темы делают повод для словесного смакования. Тут все традиционные темы дореволюционной лирики: «Зима», «Осень», «Весна», «Сад», «Ветер», «Дождь», «Захолустье». Ничего нового в освещении этих тем кроме указанного уже словесного гурманства, которое собственно одно является постоянной внутренней темой поэтических упражнений Берендгофа.

Гражданские темы ничего не изменяют в сделанной оценке. На первом плане и здесь не столько сама тема, сколько ее оформление. Такое, например, стихотворение, как «Английским горнякам», ничуть не разнится от обычного описания пейзажа у Берендгофа, который вообще не чувствует и не умеет изображать людей, оттесненных в его стихах вещами:

Когда засыпают,  
И ночь трепещет,  
По комнате громко  
Падают вещи.

Для тех, кого могут смутить гражданские и рабочие темы Берендгофа, приведу отрывок из стихотворения, рисующего Октябрьскую революцию:

СТРЕЛЯЮТ.

Дрожит ружье в руке;  
Точно шары гоняют в крокет,  
Ахает за снарядом снаряд.  
Дым замерзает,  
А ветви дымят.  
Что это? Стихло.  
Неделя прошла.  
Падают ружья, вздымается флаг.  
Разоружаются юнкера.

Что это, как не ощущение обывателя, который, спрятавшись за гардиной, именно так, со стороны наблюдает видимый кусочек революции?

**С. Малахов.**

**Ив. Новиков,** В гостях у себя, изд-во «Федерация», Москва, 1929, стр. 254, ц. 1 р. 80 к., переплет 20 к.

В сборнике Новикова — одна драма и несколько рассказов.

Содержание драмы «В гостях у себя» — несложно и сюжетно примитивно. Некий

инженер Мак-Ойланд, в действительности русский, бывший помещик, под видом американца приезжает в СССР, на завод земледельческих машин, где живет его жена, за время разлуки успевшая выйти замуж за директора завода, коммуниста Усольцева. Попытки Мак-Ойланда убедить жену уехать с ним в Америку оканчиваются неудачей: его бывшая жена крепко спаялась с новой жизнью, любит коммуниста Усольцева, а Мак-Ойланду предлагает остаться на родине в качестве советского гражданина: «нам нужны инженеры». Мак-Ойланд чувствует себя чужим в СССР. Финал драмы — самоубийство Мак-Ойланда. «В морали моей, в мироздании, — говорит он, — трещина, и в трещину эту проваливаюсь».

Несомненно, что беспомощная пьеса Ив. Новикова интересна только как пример маскировки образа, широко практикующийся нашими правыми писателями. В шаблонную сюжетную оболочку автор вкладывает свое заветное и тайное.

Ив. Новиков недаром выбрал форму драмы, где, стоя за спиной действующих лиц, можно спрятаться и занять как будто нейтральную позицию. Ему хочется остаться «ни в тех ни в сех», соблюсти невероятную и невозможную в данном случае объективность, и он даже не отступает перед художественной и психологической фальшью, рекомендуя своего героя как бывшего русского подданного, находящегося «под охраной законов Соединенных штатов», но не эмигранта.

Этот несколько лукавый литературный прием, имеющий целью расширить смысл данной драмы, как драмы не только эмигранта, но и всякого русского, обнажается в процессе психологического развития драмы. Мак-Ойланд с первого до последнего своего выступления — типичный эмигрант с его «тоской до самоубийства», растерянностью перед лицом величайших перемен и сдвигов в народе, неприятием СССР. Хотя другой инженер — Павлинцев — честный специалист, и рассуждает о том, что СССР «светит всему миру» и внушает к себе уважение, «вопреки туче врагов», но пьеса Новикова «убеждает» не через Павлинцева, а через Мак-Ойланда.

Мимоходом брошенные детали из советского быта настраивают на определенный лад. Рабочие и сам директор завода даны беспомощными дикарями-младенцами, не умеющими даже сохранить секрет важного для страны технического изобретения. В тон этим характеристикам и в соответствии с замаскированной тенденцией инженер Грибунин иронизирует насчет советского изобретателя, который «ходит от главка до главка, из комиссии в комиссию, покуда не изобретает себе хорошего выхода с четвертого этажа — в пролет между главками и комиссиями».

Если к этому присоединить пьяного советского гражданина, который кричит: «сто тебе не Америка», представителей женской молодежи, выписывающих из Сейфуллиной неприличные слова, советских «толстых» и «тонких» дам, «всесоюзную выставку обезьян» и проект насчет обезьян, которые должны заменить женщин, — то симпатии автора обнажатся.

Самый заголовок «В гостях у себя» получает какой-то скрытно-иронический смысл, как будто автор задался целью развить в целую драму случайное признание Есенина: «в своей стране я словно иностранец».

Самочувствие героев Новикова — самочувствие «иностранцев» в своей стране, и как-то интимно звучит признание Мак-Ойланда: «все, все переменилось... переменилось настолько, как будто бы дома всю мебель переставили. Сделаешь шаг — и натыкаешься»...

Герои рассказов Новикова — все «в гостях у себя». Недаром действие рассказов развивается в пути или в необычайной кавказской обстановке.

Им всегда не нравятся «тесные наши дни», не нравится московская толкучка, «жуткое совзначное время», о котором вспоминает маниловски-мечтательный и слащавый до приторности помощник бухгалтера в рассказе «Хромая любовь», фантазирующий о тургеневской девушке с косой.

Все они не переносят современной действительности и живут «сновидениями» прошлого, а «за сновидения мы не преследуем».

«Конечно, великое время... что говорить! — иронически рассуждает герой рассказа «Хромая любовь», — но почему же любовь разменялась на... на совзнаки?»

Находит настоящие слова писатель, когда вспоминает любовь на старинный

лад «со свиданьями, вздохами, с мукой и обожанием», — с подчеркнуто-сентиментальной идеализацией прошлого в образе девушки в платье и с льняною косой, как «на старых картинках».

Самый стиль рассказов — слащаво-приторный до безвкусия. Здесь и «розовая» девушка с косой — «Душенька-Дуня-Дунечка», и платье, напоминающее «лепестки распустившихся роз», и «мостик, ведущий к любви», и даже древний пастушок, играющий на рожке любовную песню. Одним словом, сплошной «сахарный горошек».

Весь сборник носит отпечаток какого-то не только идейного, но и художественного бессилия, — того «незримого склероза», о котором автор меланхолически размышляет в рассказе «Камни».

**В. Глебов.**

**Василий Андреев**, Преступления Аквилонова, Изд-во писателей в Ленинграде, 1929 г., стр. 149, ц. 1 р. 15 к., тир. 4 000 экз.

С одной стороны — описания больных, патологических переживаний и поступков отдельных персонажей, с другой — изображение мира хулиганствующей молодежи, детей улицы. Вот что нашло свое выражение в двух рассказах В. Андреева, напечатанных издательством писателей в Ленинграде.

Начнем с первого: «Преступления Аквилонова». Его фабульный остов несложен. С самого детства Аквилонов томился «одиноким страданием» и с каким-то садизмом мучил свою мать. С годами его «странности» росли. Добился Наточкиной любви, сразу сделалось «скучно», и «девичьи письма в голубеньких конвертиках» выбросил он за окно, на панель. Позднее мучает он другую «непонятно-нежную, восторженную, неумную» женщину. Затем он, Аквилонов, кассир Ленинградского треста, совершает растрату. Новая бессмысленная жертва — Елизавета Александровна Сенчукова. Ее отравляет Аквилонов и забирает у нее растраченные три тысячи, которые она и без того, очевидно, отдала бы ему. На этом кончаются «сознательные» преступления Аквилонова. Томимый одиночеством, едет он к приятелю в Москву. В ресторане, с целью или случайно (для читателя непонятно) оставляет он своему спившемуся товарищу флакончик с ядом. Приятель, кстати тоже растратчик, отравился этим ядом. А Аквилонов? Прочел об этом в газете. «Улыбнулся. Пошел быстрее»...

На этом обрывается повествование об «одиноком» Аквилонове. 72 страницы небольшого формата крупной печати, — и сколько ужасов! Тут и угроза самоубийства ядом, и действительное самоубийство, и отравление. Но чтоб запугать читателя окончательно и не дать ему времени опомниться от всех этих кошмаров, в промежутках между преступлениями Аквилонова вставляет автор сюжетно мало связанные эпизоды с похоронами и гробами. В один из «неспокойных дней» бродит Аквилонов по Васильевскому острову, и навстречу — погребальные дроги. И затем следует подробное писание «вечерних похорон». На обратном пути из Москвы Аквилонову снится символический сон с тремя гробами на огромном катафалке.

Мало кого может устрашить в наши дни советский Андреев. Это ничем неоправданное нагромождение патологических действий героя и второстепенных персонажей может вызвать у читателя только недоумение. Кому нужен в наши дни рассказ, лишенный какой бы то ни было социальной значимости, об «одиноком» герое, у которого «мозговые извилины, может, не такие были, как у прочих людей»? Рассказ настолько ущербен в социальном отношении, что только по косвенным уликам, как, например, упоминание о «Ленинградском тресте» и газете «Известия» можно догадаться, что большая часть действия протекает в послереволюционные годы.

Еще более слаб во всех отношениях второй рассказ В. Андреева: «Боецкий путь». Идеализация хулиганства, упивание дикими играми, кулачными боями — таков основной фон рассказа. Хулиганство как предварительная революционная закалка, хулиганская «шатия» как форма организации социальных инстинктов подрастающей молодежи, улич-

ные драки как путь, «необходимый каждому пройти», «сознательное хулиганство» (стр. 122) — вот что пропагандирует автор.

Характерное для В. Андреева пристрастие к изображению патологических типов сказывается и здесь. Играя на нездоровых вкусах мещанского читателя, с подробностями рассказывает он, как упитанный красавчик, поваренок Павлик, щекочет до изнеможения «слабосильного» Кольку.

Со стороны сюжетной второй рассказ еще менее удачен, чем первый. Внезапный перелом героя рассказа — Васьки Пловца — ни психологически, ни сюжетно не оправдан. И после этого перелома автор не знает, что сделать дальше со своим героем. Васька не то убит, не то тяжело ранен случайной пулей бандита. Рассказ в целом лишен сюжета.

Рецензируемая книга далеко не первый литературный опыт автора. Нам известно несколько книг рассказов и повестей В. Андреева.

Приходится недоумевать, что заставляет издательства печатать и даже переиздавать ряд произведений В. Андреева. Так, напр., «Боецкий путь», не только слабый, но и вредный рассказ переиздан в т р е т и й р а з. Причем второе издание рассказа принадлежит Госиздату.

Не мешает нашим издательствам внимательнее и осторожнее подходить к оценке книг, в особенности при их переиздании.

**Л. Поляк.**

**Летописи марксизма.** (Записки Института К. Маркса и Ф. Энгельса). тт. V и VI. Государственное Издательство. Москва — Ленинград, 1928 г., стр. 160 и 176.

Исторический журнал, издаваемый Институтом Маркса и Энгельса, представляет значительный интерес. Здесь публикуются свежие, нередко весьма ценные материалы по истории общественного и революционного движения, причем особое место уделено всему, что связано с жизнью, деятельностью и учением основоположников научного социализма. «Летописи марксизма» являются учеными записками Института, отображающими на своих страницах широко разворачивающуюся деятельность этого крупного научно-исследовательского учреждения.

Пятая и шестая книги «Летописей», вышедшие в 1928 г., свидетельствуют о постепенном успешном росте журнала, освободившегося от налета некоторой случайности первых номеров. Рассматриваемые книги содержат немало любопытного и примечательного материала. Самая форма небольших по объему сообщений и соответствующих опубликований материалов (иногда, впрочем, краткость может быть и досадной) представляет возможность дать обильное и насыщенное содержание отдельным книжкам журнала. Открывается пятая книжка сообщением директора Института Д. Б. Рязанова о деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса и его ближайших задачах. Здесь выпукло и отчетливо подводятся итоги проделанной работы и намечается перспектива дальнейшей деятельности. Особенно подчеркнуты т. Рязановым новые задачи, возложенные на Институт юбилейной сессией ЦИК СССР, а именно — всестороннее изучение истории пролетариата и его классовой борьбы.

Из впервые публикуемых рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса интерес вызывают их письма к П. Л. Лаврову, обнаруженные Д. Б. Рязановым в Академии наук и изданные им с обстоятельным предисловием в пятой книжке «Летописей». Письма эти имеют значение для отдельных моментов биографии корреспондентов, а также рисуют некоторые любопытные подробности взаимоотношений Маркса, Энгельса и Лаврова, выявляющие те или иные особенности их умонастроений и идеологии. В шестой книжке журнала напечатана нигде ранее не опубликованная статья Карла Маркса — «Памфлеты Бруно Бауэра о русском конфликте». Эта статья (записи в черновой тетради) подвергает суровой критике писания Бруно Бауэра, выступавшего с апологией царской России. Любопытны опубликованные И. Лупполом данные о переписке К. Маркса с М. М. Ковалевским. От этой переписки до нас дошло всего два письма Ковалевского и одно письмо Маркса. Остальные письма Маркса к Ковалевскому были уничтожены в семье проф. Иванюкова из страха перед обыском. И. Луппол дает общий очерк взаи-

моотношений Маркса и известного русского ученого, внося хронологические поправки в воспоминания М. Ковалевского. М. М. Ковалевский в двух статьях вспоминает о своих встречах с Марксом, но в обоих случаях довольно кратко и неполно. Пишущему эти строки приходилось слышать от Максима Ковалевского, что он предполагал подробно рассказать о своем знакомстве с Марксом и Энгельсом в своих больших мемуарах. Весьма примечательна упоминаемая в переписке фигура В. И. Танеева, передового адвоката, великолепного знатока социалистических учений и социологии; Маркс был о нем очень высокого мнения.

Из других опубликованных материалов следует особенно отметить вызвавшую сенсацию переписку Лассаля с Бисмарком. Если и прежде имелись данные о не совсем лестных для германского рабочего вождя заигрываниях с Бисмарком, то теперь изданная с интересным предисловием Д. Рязанова переписка окончательно устанавливает игру Бисмарка в своего рода «цезаристский социализм», причем железный канцлер определенно брал верх над зарвавшимся и запутавшимся Лассалем. Письма последнего с достаточно униженными просьбами о защите от прогрессистских бургомистров, прокуроров и т. д. производят тягостное впечатление. Тов. Рязанов совершенно прав, говоря: «Каждое такое письмо компрометировало бы навсегда «вождя» не только рабочей, но мало-мальски уважающей себя демократической партии».

Из мемуаров, помещенных в журнале, несомненный интерес представляют воспоминания о «Группе освобождения труда» П. Б. Аксельрода, дающие ряд новых штрихов. Заслуживает внимания статья Г. Бакалова «Г. В. Плеханов в Болгарии», знакомящая (по личным воспоминаниям автора) с тем, как распространялись и пропагандировались в Болгарии сочинения видного русского марксиста. Воспоминания Раппопорта об Энгельсе слишком беглы и эскизны. Письма М. А. Бакунина к Коссиловскому, опубликованные Ю. Стекловым, представляют некоторые дополнительные данные для характеристики воззрений Бакунина на польский вопрос. Из статейного материала упомянем о небольшом этюде Д. Рязанова «Новые данные о русских приятелях Маркса и Энгельса» и о статье Ю. Стеклова о «Западных влияниях на мировоззрение Н. Г. Чернышевского».

Большое место в журнале уделено критике и библиографии. В отделе «Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса» обращают внимание обзоры двух выставок («Великая французская революция» и «Маркс и Энгельс»), мастерски организованных Институтом.

Внешне журнал издается опрятно и цена его умеренна.

**И. Бороздин.**

---

# Список книг, полученных редакцией на отзыв с 1 января по 1 февраля.

**Госиздат.**

*Достоевский Ф. М.*, Письма, т. I, 1832—1867, под редакцией и с примечаниями А. С. Долина, 1929, стр. 560, ц. 5 руб.

*Сельвинский И.*, Ранний Сельвинский, стихи, 1929, стр. 249, ц. 2 р. 25 к., пер. 50 к.

*Джавахишвили Мих.*, Хизаны Джако, роман, пер. с грузинского Егорашвили Д. Д., 1929, стр. 173, ц. 1 р. 25 к.

*Луначарский А. В.*, Н. Г. Чернышевский, статьи, 1928, стр. 112, ц. 30 к.

*Маньковский Л.*, О пролетарской морали, 1928, стр. 115, ц. 30 к.

*Бронский М.*, Проблемы экономической политики СССР, «Библиотека социально-экономических знаний», 1929, стр. 164, ц. 75 к.

**«Земля и фабрика».**

*Франс Анатоль*, Полное собрание сочинений, т. IV, Преступление Сильвестра Боннара, Тощий кот, под редакцией и с предисловием Луначарского, с портретом автора, пер. с французского Мандельштама И. Б., стр. 272, ц. 1 р. 25 к.

*То же*, т. XIV, Жизнь Жанны д'Арк, кн. 1-я, стр. 463, ц. 2 р. 60 к.

*Эренбург Илья*, Хулио Хуренито, роман, стр. 324, ц. 2 р.

*Серия «Лики звериные»*, под ред. Попова Вл. А., Необычайные рассказы из жизни орлов, стр. 181, ц. 70 к.

*То же*, Моржи, Необычайные рассказы из жизни ластоногих, стр. 139, ц. 70 к.

*Свирский А. И.*, Записки рабочего, Полное собрание сочинений, т. I, 1929, стр. 327, ц. 2 р. 50 к.
*Скотт Вальтер*, Антикварий, роман, 1929, стр. 448, ц. 2 р.
*Его же*, Астролог, роман, Собрание сочинений, т. XIII, 1929, стр. 423, ц. 2 р.
*Его же*, Тори и виги, роман, 1929, стр. 446, ц. 2 р.
*Дементьев П.*, Душа на колодке, повесть, стр. 211, ц. 1 р. 65 к.
*Елпатьевский С.*, Крутые горы, рассказы о прошлом, 1929, стр. 279, ц. 2 р. 30 к.
*Белоруков А.*, В непогоду, повесть-хроника, 1929, стр. 265, ц. 1 р. 90 к.
*Марич М.*, Северное сияние, роман из эпохи декабристов, 1929, стр. 366, ц. 1 р. 80 к.
*Акульшин Р.*, Первые и последние, «Библиотека батрака», стр. 63, ц. 12 к.
*Зорский А.*, Пастухи, «Библиотека батрака», стр. 86, ц. 15 к.
*Шелгунов Н. В.*, Избранные литературно-критические статьи, 1928, «Библиотека критики и искусствоведения», стр. 172, ц. 1 р. 50 к.

**Федерация.**

*Дрожжин С. Д.*, Пути-дороги, 1848—1929, избранные песни, 1929, стр. 110, ц. 1 р. 50 к., папка 15 к.
*Акульшин Р.*, Любимый песенник, 1929, стр. 144, ц. 35 к.
*Обрадович С.*, Город, стихи и поэмы, 1929, стр. 141, ц. 1 р. 80 к., папка 15 к.
*Жув П.*, Госпиталь, перевод с французского Крицкой В. Н., 1929, стр. 171, ц. 1 р. 20 к., папка 15 к.
*Клычков С.*, Сахарный немец, роман, «Новости русской литературы», 1929, стр. 400, ц. 3 р., пер. 20 к.
*Никулин Лев*, Высшая мера, повести и рассказы, 1929, стр. 171, ц. 1 р. 20 к., папка 15 к.
*Грибоедов А. С.*, В воспоминаниях современников, редакция и предисловие Н. К. Пиксанова, комментарии И. С. Зильберштейна, 1929, стр. 342, ц. 3 р., папка 25 к.
*Огнев Н.*, Собрание сочинений, т. IV, Исход Никпетожа, 1929, стр. 257, ц., 1 р. 50 к., пер. 30 к.

**«Московский рабочий».**

*Кокорин Н.*, Военная работа партийной ячейки (партийное строительство), 1928, стр. 160, ц. 50 к.
*Богомазов М. М.*, Связь депутата с избирателем, «В помощь члену секции горсовета». 1918, стр. 101, ц. 45 к.
*Жига И.*, Новые рабочие, 1928, стр. 63, ц. 1 р.
*Шолохов Мих.*, Тихий Дон, роман, книга 4-я, «Новинки пролетарской литературы», 1929, стр. 447, ц. 2 р. 75 к.

**«Прибой».**

*Штейнман Зел.*, Литературные эпизоды, 1928, стр. 223, ц. 1 р. 50 к.
Тютчевский альманах «*Урания*», под редакцией Казанович Е. П., вступительная статья Пумпянского Л. В., 1929, стр. 285, ц. 3 р., пер. 25 к.
*Савич О.*, Воображаемый собеседник, роман, 1929, стр. 327, ц. 2 р. 35 к., папка 15 к.
*Персиц Р.*, Порядок на книжной полке (об устройстве домашней библиотеки), 1928, стр. 64, ц. 25 к.

**«Красная газета».**

*Уралов С. Г.* (Ленинградский Истпарт), Моисей Урицкий, библиографический очерк, 1929, стр. 137, ц. 85 к.
*Штейн В.*, Сборник «За новый быт», 1929, стр. 195, ц. 1 р. 20 к.
*Крючков А.*, Работы из фанеры, Популярная библиотека журнала «Наука и техника», вып. 72, 1929, стр. 32, ц. 15 к.
*Шишков В.*, Чортова карусель, «Веселая библиотека», 1929, стр. 40, ц. 10 к.
*Степняк-Кравчинский С. М.*, Андрей Кожухов, роман, перевод с английского. Степняк Ф. М. Собр. соч., том I, 1929, стр. 192.
*Потапенко И. Н.*, Мертвое море, роман, 1929, стр. 188, ц. 1 р.
*Гелсуорси Джон*, Член палаты Мильтоун, перевод с английского Пименовой Э. К., под ред. Горлина А. Н., стр. 211 (приложение к газете).
*Манизер*, Чем юность богата, повесть последних лет прошлого века, стр. 152 (приложение к газете).
*Вассерман Яков*, Руф, роман, перевод с немецкого Мандельштама И. Б., 1929, стр. 282, ц. 1 р. 50 к.
*Войнич Э.*, Овод, перевод с английского Венгеровой З. А., под ред. Горлина А. Н., 1929, стр. 260 (приложение к газете).

**Редакционная коллегия:** Вл. Васильевский. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников. В. Фриче.

**Издатель:** Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

# СОДЕРЖАНИЕ.



## От земли и городов



## Литературные края



## Критика и библиография